

БСП

БИБЛИОТЕКА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРОЗЫ

Е. Хамар-
Дабанов

Проделки на Кавказе



Текст «Проделок на Кавказе» печатается без сокращений по фотокопии жернаковского издания (Спб, 1844) Кроме приведения современным нормам, орфографии и пунктуации, исправлены очевидные типографские ошибки.

Е. Хамар-Дабанов

**ПРОДЕЛКИ
НА
КАВКАЗЕ**

«В этой книге что строка, то правда»

1

В 1842 году в журнале «Библиотека для чтения» был напечатан под заголовком «Закубанский харамзаде» отрывок из романа Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе». В примечании от редакции, написанном известным в ту пору писателем и критиком Осипом Сенковским, выступавшим под псевдонимом «Барон Брамбеус», сообщалось, что этот отрывок принадлежит перу «одной даровитой русской дамы». И далее говорилось; «Эта занимательная и разнообразная картина особенных нравов, необыкновенных характеров и чудесных происшествий, освещенная лучом тонкого, проницательного взгляда русской женщины, обещает нам чрезвычайно интересный роман, который вскоре явится в свет под заглавием «Кавказские проделки».

«Закубанский харамзаде» был замечен и В. Г. Белинским, который в обзоре русской литературы за 1842 год нашел его «не лишенным некоторого интереса».

И вот в 1844 году роман «Проделки на Кавказе» появился на прилавках книжных магазинов и расхodziлся неплохо: за полтора месяца было раскуплено около трехсот экземпляров книги.

Роман попал на стол и к высшим сановникам империи, включая и самого Николая Первого. По свидетельству современников,

император пришел в ужас от этой книги. Автор посвятил большую часть своего труда Кавказской войне, причем показал ее закулисные стороны. В беседе с военным министром, князем Чернышевым, император указал ему: «Мы ничего не знаем о Кавказе, а эта дама открывает нам глаза!»

Военный министр, в свою очередь, обратил внимание начальника штаба Отдельного корпуса жандармов Л. В. Дубельта на «Проделки на Кавказе», заметив, что «книга эта тем вреднее, что в ней что строка, то правда!»

И начинает крутиться машина реакции. Л. В. Дубельт пишет министру народного просвещения С. С. Уварову: «Милостивый государь, Сергей Семенович!

В типографии К. Жернакова отпечатана книга под названием «Проделки на Кавказе», сочинение Хамар-Дабанова. Как в этом сочинении является много сомнительных мест, которые не должны бы быть передаваемы читающей публике, и как книга сия поступила уже в продажу, сколько известно III отделению собственной его императорского величества канцелярии, в С.-Петербурге в книжных магазинах Ольхина и у многих книгопродавцев в Москве, то я считаю обязанностию донести о сем до сведения Вашего высокопревосходительства с тем, что не признаете ли Вы, милостивый государь, необходимым обратить особенное внимание на это сочинение?»¹

Министр обратил внимание и уже через три дня направил

¹ Цит. по кн. Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России (1825—1904 гг.). М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962. о. 40—41.

официальное отношение попечителю Московского учебного округа графу С. Г. Строганову, в котором потребовал изъять из продажи крамольное сочинение, которое вышло в свет по недосмотру московской цензуры.

Жандармы бросились к книгопродавцам и успели изъять 906 экземпляров из 1200. Остальные, к великому сожалению царских чиновников, успели разойтись.

Министр народного просвещения С. С. Уваров потребовал от графа С. Г. Строганова прислать для объяснения в Петербург профессора Московского университета Н. И. Крылова, который был цензором этой книги и пропустил ее в свет. Было предписано привести профессора под конвоем жандармов, что само по себе было глубоким унижением личного достоинства.

А. И. Герцен в дневнике за 8 августа 1844 года записал по этому поводу: «...Корш рассказывал, что по делу о книжке «Кавказские проделки» граф Строганов получил бумагу от графа Орлова с повелением прислать Крылова с жандармом в Петербург. Строганов, не показывая Крылову предписания, отвечал графу Орлову, что у него (у Крылова) жена больна и что он не может исполнить этого предписания — буде же государь прикажет, готов выйти в отставку. Позволили Крылову приехать без жандармов! Что за нерусская черта! Честь и хвала графу»².

Замечательный русский хирург Н. И. Пирогов, близко знав-

² Герцен А. И. Собрание сочинений, Том 2. М., Изд-во АН СССР, 1954, с 371.

ший профессора Н. И. Крылова, в «Дневнике старого врача» вспоминал: Крылов явился к Л. В. Дубельту и уже с ним отправился к шефу жандармов А. Ф. Орлову. «Время было сырое, холодное, мрачное. Проезжая по Исаакиевской площади, мимо монумента Петра Великого, Дубельт, закутавшись в шинель и прижавшись к углу коляски, как будто про себя говорит:

— Вот бы кого надо было высечь, это Петра Великого, за его глупую выходку: Петербург построить на болоте!

Крылов слушает и думает про себя: «Понимаю, понимаю, любезный, не надешь нашего брата, ничего не отвечу!» И еще не раз пробовал Дубельт по дороге возобновить разговор, но Крылов оставался нем, яко рыба.

Приезжают, наконец, к Орлову. Прием очень любезный. Дубельт, повертевшись несколько, оставляет Крылова с глазу на глаз с Орловым.

— Извините, г. Крылов, — говорит шеф жандармов, — что мы вас побеспокоили почти понапрасну. Садитесь, сделайте одолжение, поговорим.

— А я, — повествовал нам Крылов, — стою ни жив, ни мертв, и думаю себе, что тут делать: не сесть — нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, и высечен будешь. Наконец, делать нечего. Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. Вот я, — рассказывал Крылов, — потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вот, вот, так и жду, что у меня под сиденьем подушка опустится и

— известно что... И Орлов, верно, заметил, слегка улыбаясь и уверяет, что я могу быть совершенно спокоен, что в цензурном промахе виноват не я.

Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава богу, однако же, дело тем и кончилось. Черт с ним, с цензурством! — это не жизнь, а ад»³.

М. Лемке в книге «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов», выпущенной в 1908 году, так комментировал этот отрывок из воспоминаний Н. И. Пирогова: «Если принять во внимание профессорское звание Крылова, бывшего к тому же деканом, то рассказ этот, несомненно, прекрасно иллюстрирует тот ужас, какой наводило на цензоров III отделение, терроризировавшее их до полного иногда отупения.

По высочайшему повелению Крылов был отставлен от должности цензора и арестован при университете на восемь суток».

А между тем публикация отрывков из этой книги продолжалась. Случилось так, что известный литературный критик и цензор А. В. Никитенко не только позволил напечатать в июньской книжке 1844 года журнала «Отечественные записки» отрывки из опального романа, но пропустил и статью на нее, очень похвальную.

Но дадим слово самому А. В. Никитенко. В своем «Дневнике» он писал: «Я ничего не знал ни об этой мере (изъятии книги из продажи — С. Б.), ни о самой книге. Между тем мне прислали на рассмо-

³ Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания, МИЗД-во АН СССР, 1950, с. 417—418.

трение разбор ее для июньской книжки «Отечественных записок». В разборе помещено и несколько выдержек из нее. Выдержки показались мне «подозрительными и неблагонадежными», говоря цензурным языком. Но делать было нечего: надо было пропустить то, что уже не раз было пропущено цензурой.

2 июня Владиславлев велел мне передать, что статья в «Отечественных записках» производит шум и, чего доброго, наделает беды. Я поспешил к нему и тут только узнал, что «Проделки на Кавказе» запрещены цензурой и что, следовательно, о них ничего нельзя говорить, а еще меньше можно перепечатывать из них отрывки.

Но дело уже было сделано. Однако я сказал Краевскому, чтобы он уничтожил статью в еще не разосланных экземплярах⁴.

Ты не замечаешь, читатель, удивительных совпадений в счастливой судьбе этой книги? Сначала один цензор не замечает крамольного ее содержания, затем другой делает вид, что не слышал об ее запрещении и дает добро на публикацию похвальной статьи и отрывков из книги в столичном журнале.

Случайны ли эти счастливые совпадения?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо внимательнее приглядеться к обоим цензорам.

При чтении литературных мемуаров тех лет становится понятно, что Н. И. Крылов, профессор Московского университета, был человеком прогрессивных взглядов, остро болевшим за судьбу своей родины, за судьбу ее литературы. Он вполне мог почувствовать

4 Никитенко А. В. Дневник. Том I. М., Гослитиздат, 1955, с. 283.

острую политическую направленность романа и умышленно разрешить его выход в свет.

Еще более определенно мы можем сделать такое допущение в отношении Александра Васильевича Никитенко. Выпускник Московского университета, профессор, а позже академик словесности, А. В. Никитенко в молодости был крепостным графа Шереметева. Одаренный от природы большим литературным талантом, юноша остро переживал свое рабское состояние и сделал несколько попыток получить вольную.

В его судьбе решающую роль сыграли будущие декабристы Кондратий Рылеев, Александр Муравьев, Иван Анненков, Василий Ивашев, Александр Крюков, Захар Чернышев и другие. За год до восстания на Сенатской площади им все же удалось вырвать у графа вольную для талантливого юноши.

Мог ли забыть обо всем этом А. В. Никитенко?

Вся его дальнейшая литературная судьба дает ответ на этот вопрос. Нет, не мог он забыть ни своих вольнолюбивых мечтаний, ни друзей-декабристов. Не случайно ведь он дважды сидел на гауптвахте за пропуск в печать недозволенного.

Будучи цензором, А. В. Никитенко десятилетиями влиял на практику литературного процесса в России.

Ему, очевидно, была совсем не безразлична судьба книги «Проделки на Кавказе», и он постарался продлить ее литературную жизнь.

Предполагается, что статью в журнале «Отечественные запи-

ски» написал В. Г. Белинский. На его авторство, как считают литературоведы, указывает и зачин о двух родах вдохновения, и некоторые стилистические особенности, и, главное, заостренная памфлетность рецензии, имеющая цель подчеркнуть в глазах читателя памфлетные же свойства самого «сочинения», которое, по словам критика — «не роман, не повесть, даже не один полный рассказ, но очерки быта и состояния страны в настоящее время, и притом очерки с мыслию»⁵.

Жандармские ищейки рыскали по всем городам страны, отыскивая теперь уже не только книгу, но и статью о ней в журнале «Отечественные записки». Однако как «Проделкам на Кавказе», так и статье В. Г. Белинского о ней все же удалось уцелеть, хотя и в небольшом числе экземпляров.

Больше того! Из книги Н. Н. Голицына «Библиографический словарь русских писательниц» (Спб., 1899) мы узнаем, что в 1846 году в Лейпциге был издан в переводе на немецкий язык роман Е. Хамар-Дабанова «Москвичи и черкесы» в двух томах. Н. Н. Голицын предполагает, что это все тот же роман «Проделки на Кавказе». Исследователям книги еще предстоит разгадать тайну появления ее за рубежом.

2

Чем же так напугала эта книга царскую администрацию? Почему в решении ее судьбы, в ее политической казни приняли участие виднейшие сановники империи?

5 Цит. по кн.: Никитенко А. В. Дневник. Том 1. (Примечание № 225 в конце тома).

Ответ мы находим в уже знакомой нам короткой фразе военного министра Чернышева: «Книга эта тем вреднее, что в ней что строка, то правда». А правда, как известно, глаза колет.

Автор «Проделок на Кавказе» осмелился рассказать правду о событиях на Кавказе и сделал достоянием общественного мнения то, что тщательно скрывалось военным министерством.

Ни в одной из книг, написанных в эту эпоху, так открыто не обличались произвол и продажность царской администрации, бездарность генералов, невежественность и развращенность офицерства.

К этому времени уже вышли книги А. А. Бестужева-Марлинского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, в которых были нарисованы картины Кавказской войны. Но эти книги не были памфлетами, направленными против царизма. Мы знаем их как прекрасные художественные произведения, которые воспевали природу Кавказа, показывали горские обычаи, пересказывали горские легенды, раскрывали человеческие характеры.

Книга «Проделки на Кавказе», несомненно, уступает названным книгам в художественном отношении. Здесь нет прекрасных, лирических страниц описания кавказской природы, далеко не так ярко раскрываются характеры людей, значительно меньше говорится об обычаях горцев, их образе быта. Да и по языку книга Е. Хамар-Дабанова уступает книгам классиков русской литературы.

Но это понятно. Ведь автор ставил перед собой совсем другую задачу, а именно: рассказать правду о том, что он видел своими гла-

зами или узнал от очевидцев событий. Создать, не художественное произведение, а скорее — политический памфлет.

Сегодняшняя наука указывает, что Кавказская война 1817—1864 годов, решавшая задачу присоединения земель, отделявших от России Грузию и Азербайджан, которые уже

приняли русское подданство, завершилась фактом присоединения к России всего Кавказа, что имело прогрессивное значение: народы Кавказа были избавлены от порабощения отсталыми восточными деспотиями (Иран и Турция), сближение с русским народом способствовало их социально-экономическому, политическому и культурному развитию, включению в совместную революционную борьбу против царизма.

В то же время Кавказская война по своему характеру была колониальной войной царизма против горцев Северного Кавказа — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Царское правительство старалось оправдать свою колониальную политику на Кавказе тем, что оно несет народам Кавказа просвещение, покровительство и защиту. Е. Хамар-Дабанов устами главного героя Александра Пустогородова разоблачает лживость и лицемерие правительственной политики.

«...Оставляя черкесов спокойно владеть собственностью, управляться своими обычаями, поклоняться богу по своей вере — словом, уважая быт и права горских народов, мы берем их под свое покровительство и защиту: такова благодетельная цель правительства; но она встречает многие препятствия в исполнении. Первое из

этих препятствий — различие веры, нравов и понятий; мы не понимаем этих людей, и они нас не понимают в самых лучших намерениях наших. Второе — при всех добрых намерениях, мы здесь должны нередко доверять ближайшее влияние на них таким людям, — которые думают только о своем обогащении, грабят их, ссорят, подкупают руку сына против отца, жены против мужа...»

Другой «благодетельной» целью колониальной политики царизма был постулат правительства о том, что Россия несет культуру темным, невежественным народам. Министр народного просвещения С. С. Уваров (с которым мы уже встречались в начале статьи) рекомендовал деятелям просвещения не скупиться на темные краски при описании отсталости «инородцев». И официальная печать распространяла о горцах самые нелепые слухи.

Классики русской литературы развенчивали эти слухи, создавая прекрасные, незабываемые образы горцев (Аммалат-бек А. А. Бестужева-Марлинского; Казбич, Бэла, Мцыри М. Ю. Лермонтова). Но автор «Проделок на Кавказе» идет дальше. Он открыто восхищается не отдельными личностями, а целым народом: «Воля ваша, я люблю их дикую честность! Возьмите черкеса, разберите его как человека — что это за семьянин! Как набожен! Он не знает отступничества, несмотря на тяжкие обряды своей веры. Как он трезв, целомудрен, скромн в своих потребностях и желаниях, как верен в дружбе, как почтителен к духовенству, к старикам, к родителям! О храбрости нечего и говорить — она слишком известна. Как слепо он повинуетя обрядам старины, заменяющим у них законы! Когда же

дело общественное призовет его к ополчению, с какою готовностью покидает он все, забывает вражду, личности, даже месть и кровомщение!

Черкесов укоряют в невежестве; но взгляните на их садоводство, ремесла, особенно в тех местах, где наша образованность не накладывала просвещенной руки своей, и вы согласитесь со мною, что они не такие звери, какими привыкли мы их почитать».

Это было счастьем русского народа того времени, что в его среде находились смелые люди, которые, подобно автору разбираемой книги, раскрывали читателям глаза на истинную суть событий.

На Кавказе царизм вел жестокую войну с горцами, и русский человек не побоялся смело сказать об этом, бросить гневные слова обличительной правды в лицо самодержавия. В книге есть примеры того, как по указанию царских генералов, желавших не славы России, нет! — а новых чинов и наград, предпринимались ненужные походы в уже замиренные аулы, лишь бы донести в Петербург о новой «грандиозной победе».

Ни в одной из книг, ранее или позднее написанных в эпоху царизма, вы не встретите столько примеров жестокости со стороны царских генералов.

«Два казака подъехали; один, корча горца, мастерски переразвивал звуки черкесского языка; другой, искусно коверкая русский язык, представлял переводчика.

— Здорово, Алим! Откуда явился? — спросил Александр, улыбаясь. Казак поклонился по черкесскому обычаю, пробормотав

какие-то черкесоподобные звуки.

Мнимый толмач перевел их так:

— Алим сказал — из немецкого окопа. ...Александр, смеясь, заметил брату вполголоса:

— Какие шельмы! Ко всему приложат; в Прочном Окопе все немцы, как и по всему нашему флангу.— Потом обратился опять к переводчику: — Ну, а генерал-то здоров? Доволен ли нашим сегодняшним делом?

Толмач передал слова капитана Алим; последний пробормотал что-то. Переводчик сообщил это следующим образом;

— ...Алим говорит, генерал очень сердис на капитан, сказал — фу, черт! До сорок тел убитых черкес и башка не привозил; что бы велел казак голова руби и притрочить к седло; да еще черкес пятнадцать ранен; взял в плен, на кой черт их? Голова долой и мне прислал!»

Непосвященный человек вряд ли что-нибудь поймет из этого диалога. Но современники, особенно причастные к Кавказской войне, понимали, что речь тут идет о страшном обычае, который завел начальник правого фланга Кавказской линии генерал Г. Х. Засс (он был из немцев, оттого и название «немецкий окоп»). Он приказывал казакам отрезать у убитых черкесов головы и затем, как писал С. Голубов в книге «А. А. Бестужев-Марлинский»⁶, отсылал их в Берлинскую академию наук для исследований.

Осуждая колониальную политику царизма, автор, это видно из многих примеров, оправдывает героическую борьбу горцев за

6 Голубов С. Бестужев-Марлинский. М., Мол. гвардия, 1960, с. 340,

свою независимость.

Сегодня читатель знает и то, что борьба эта велась под лозунгами газавата — «священной войны» мусульман против «неверных», то есть имела и свою оборотную сторону: сопровождалась разжиганием непримиримой религиозной и национальной вражды, была объективно направлена на сохранение обветшавших устоев феодализма.

Стоит ли упрекать Е. Хамар-Дабанова за то, что он не разглядел этого?

Автор «Проделок на Кавказе» увидел в жизни и изобразил в романе другое, в том числе «храброго и честного кабардинца» Пшемафа, верой и правдой служащего России, потому что русские для него «более чем родные» и не делают различия между ним и собою; увидел русского офицера Пустогородова, любовно воспитывающего двух преданных ему горских детей. Нет, не Россия — против горских народов, но русские и горцы — против политики царизма, против бесчеловечности: вот мысль автора.

Нельзя требовать от Е. Хамар-Дабанова такого же взгляда на описываемые им события Кавказской войны, каким владеет читатель полтора века спустя. Книга открывала глаза современникам на актуальные тогда вопросы. Например, о том, почему же эта война длится так долго.

Из журналов того времени ответа на этот вопрос получить было невозможно. Все они были наводнены победными реляциями с фронта и то и дело сообщали о разгроме огромных сил горцев, о

покорении десятка племен.

Возникал законный вопрос: если на фронте такие успехи, почему же война никак не закончится?

«Приезжие на Кавказ,— пишет автор,— обыкновенно спрашивают об образе войны с горцами; иные, зная об ежегодных потерях, поносимых войсками, вдруг очень просто спрашивают у вас: «Какой результат этих вечных экспедиций?»— и тем затрудняют даже штаб-офицера Генерального штаба. Впрочем, в таких случаях принята общая формула для ответа; вот она: «Слишком долго и многосложно объяснять все блистательные результаты».

Но автор не побоялся «долго и многосложно объяснять это. Не побоялся перед лицом всей царской цензуры прямо сказать о том, что успехи Кавказской войны далеко не такие блестящие, как пытается это представить военное министерство, что они надуманны. А победные реляции зачастую вымышлены!

В главе «Кавказский Фуше» Александр Пустогородов достает через торговца-армянина одно из уже готовых донесений о том незначительном деле, в котором сам участвовал, и вслух читает друзьям, которые также были его свидетелями. Все возмущены ложью кордонного начальника, и один из друзей Пустогородова, горец Пшемаф, восклицает:

«— Делать нечего! Хотя позорно черкесу быть доносчиком, но на первом инспекторском смотре буду жаловаться.

— Сделаете только себе вред,— примолвил Пустогородов.

— Каким же образом? Разве я не имею явных, неоспоримых

доказательств, что все это лишь наглое вранье?

— Оно так! Да ведь это донесение пойдет от одного начальника к другому, следственно, уважив вашу жалобу, всякий из них должен сознаться официально, что дался в обман! Притом все прикомандированные читали донесение: их личная выгода поддерживать написанное. Но наконец— положим, вы вселите сомнение, захотят узнать истину, пришлют доверенную особу: кордонный начальник в угоду ей импровизирует экспедицию, в которой доверенное лицо будет участвовать. Блистательное представление о нем, искательность кордонного начальника поработят признательную душу приезжего, и этот напишет: «Хотя донесение несколько и хвастливо, но дело, однако, было точно славное! Достоверного узнать я не мог ничего по причине различных показаний допрашиваемых. Кончится тем, что вы останетесь в дураках, приобретете много врагов; а вымышленные подвиги кордонного будут по-прежнему печататься в «Allgemeine Zeitung».

Это даже не сатира! Это был рисунок с натуры.

Почему же офицерам и генералам пришлось сочинять надуманно-хвалебные репортажи?

Потому что во главе Кавказской армии, ее отдельных полков и подразделений стояли в этот период бездарные в военном отношении генералы, которые при всем своем желании не могли добиться успеха. И автор не один раз показывает примеры таких безуспешных попыток.

И второе. Потому что обилию репортажей способствовала новая

тактика ведения боя.

Советская историческая наука делит Кавказскую войну на три этапа. Действие романа «Кавказские проделки» относится ко второму этапу войны, когда генерала А. П. Ермолова, связанного с декабристами, сменил на посту главнокомандующего генерал И. Ф. Паскевич.

Произошла смена руководства и у соперников. Во главе освободительного движения горцев Кавказа встал Шамиль — выдающийся государственный и военный деятель, при котором антиколониальное движение в Чечне и Дагестане приобрело особенно большой размах.

Этому способствовало и то, что И. Ф. Паскевич вместо планомерного наступления, как это делал А. П. Ермолов, перешел к тактике отдельных карательных экспедиций, которая, как указывалось, была только на руку бездарному генералитету.

Военный министр князь Чернышев мог быть взбешен не только от всего перечисленного. Он был до этого уверен, что держит в своих руках все нити кавказских дел и направляет их к определенной цели. А автор доказал ему, что за две тысячи верст от Кавказа он ничего о нем не знает. На Кавказе творится полный беспорядок, никакого единства действий нет, каждый начальник воюет по своему усмотрению.

Больше того. Е. Хамар-Дабанов показал, что вместо того, чтобы думать о лучшем укомплектовании боевых отрядов, генералы думают о пышности собственных выходов. В романе говорится о

чрезмерном развитии военной бюрократии на Кавказе. Вспоминая времена А. П. Ермолова, капитан Пустогородов замечает, что теперь «служба трудна тем, что не разберешь, кто начальник, кто посторонний: все распоряжаются, повелевают. В походе — два ли батальона: смотришь, отрядный начальник назначает себе начальника штаба, этот в свою очередь дежурного штаб-офицера, который набирает себе адъютантов, те берут кого хотят в писаря, и так и является, сам собою, импровизированный целый штаб; ему нужны урядники и казаки на ординарцы и на вести; люди балуются с денщиками без всякого присмотра, так что жаль давать туда хороших казаков. Кончится экспедиция, выдадут награды... кому?., штабным, писарям, бессменным ординарцам и вестовым, а настоящие молодцы, бывшие во фрунте, истинно отличившиеся, не получают ничего».

3

В отношениях к книге удивительным образом переплелись интересы царского правительства и частных лиц, что само по себе необычно. Когда казнили книгу А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», то рядовым людям было все равно — будет ли в конце концов сохранена эта книга для потомства или не будет. Интересы их она никак не затрагивала.

С книгой «Проделки на Кавказе» было гораздо сложнее. Нашлось немало людей, которые так или иначе оказались связанными

с нею. И многие из них страстно желали, чтобы книга не попала в руки читателей.

И дело было не в том, что читатели могли угадывать того или иного чиновника в образе Молчалина, или того или иного барина в образе Фамусова, как это было с пьесой А. С. Грибоедова «Горе от ума». Нет! Е. Хамар-Дабанов на страницы книги поместил конкретные портреты конкретных лиц, подчас лишь изменив их фамилии.

К примеру, генерал Григорий Христофорович Засс был бы не прочь, чтобы о нем не узнали тех подробностей, которые выставил на всеобщее обозрение автор «Проделок на Кавказе».

В романе он не назван по имени, а только как «кордонный начальник», но прозвище «черт», описание происхождения и наружности («пришлец от стран Запада, беловолосый, с длинными рыжими усами») и страшный обычай отрезать черкесские головы сразу позволяли узнать в этом герое книги генерала Г. Х. Засса, уже знакомого нам начальника правого фланга Кавказской линии. Е. Хамар-Дабанов беспощадно разоблачает его как одного из наиболее ловких составителей «победных» реляций.

Е. Вейденбаум, один из первых исследователей этой удивительной книги, в своих «Кавказских этюдах» приводит подробности биографии генерала Г. Х. Засса, которые позволяют нам ярче разглядеть в романе эту фигуру: «Он пользовался в свое время даже далеко за пределами Кавказа громкою известностью, как гроза черкесов, называвших его шайтаном, то есть чертом. О его подвигах и военных уловках ходило множество легендарных рассказов, которые он

умел поддерживать и распространять. Начальствуя кордонного (пограничную) линией, он имел всегда возможность под тем или иным предлогом предпринимать набеги в неприятельские пределы. Ловко составленные реляции доставляли награды участникам этих экспедиций. Поэтому приезжая молодежь с особенной охотой просила о прикомандировании к штабу начальника правого фланга. Засс ласкал людей со связями и давал им способы к отличию. За то благодарные «фазаны» с восторгом рассказывали во влиятельных петербургских гостиных о чудесных подвигах «шайтана».

Немецкий путешественник профессор К. Кох написал о Зассе даже целую монографию, основанную на рассказах земляков героя по Остзейскому краю»⁷.

Заканчивает биографическую справку о «кордонном начальнике» Е. Вейденбаум характерными словами: «...Польза рыцарских подвигов Засса оказалась впоследствии очень сомнительною. В 1842 году Засс был удален с Кавказа». Если мы вспомним, что первая публикация глав романа «Проделки на Кавказе» произошла в 1842 году, то напрашивается мысль о вольном или невольном совпадении появления романа и увольнения Засса. Не было ли громкое разоблачение «шайтана» той последней каплей, которая и решила вопрос о замене начальника правого, фланга?

Очень желал бы уничтожения всего тиража романа и военный инженер Компанейский, которого знавшие его читатели-современники очень легко угадали под измененным именем

7 Вейденбаум Л. Кавказские этюды. Тифлис 1901, с. 313.

«Янкель-паша». Даже такие детали, как орден Льва и Солнца, привешенный на шее, красное, опухшее лицо, черные бакенбарды, растрепаннные усы и прическа — автор срисовал с натуры и сохранил в неизменности, как и его плутовские подвиги, о которых он распространяется на страницах романа.

А разве приятно было человеку прочесть о себе вот такие строки: «В комнату вошел белокурый человек маленького роста. Он был в военном сюртуке, без эполет, расстегнут и курил из длинного чубука с прекрасным янтарем. Черты его не имели никакого выражения: какая-то сладкая улыбка придавала ему вид притворной кро-тости; глаза, словно синий фарфор, были обращены на кончик носа; на темени виднелось безволосое пятно с отверстием стакана».

Эти подробности приведены с такой точностью лишь с одной целью: чтобы герой был узнан. И цель была достигнута. На этот раз речь шла о генерале П. Е. Кодебу (в романе его фамилия — Мешик-зебу). Ни много ни мало, а он был тогда начальником штаба отдельного Кавказского корпуса! Но автор смело рубит сплеча и по этой влиятельной фигуре.

Автор не боится последствий своего поступка — всенародного осмеяния генералитета и офицерства Кавказской армии. В письме к шефу жандармов графу А. Ф. Орлову он объяснит свою смелость тем, что руководствовался «чувством личной мести, вывода некоторые характеры с натуры». Но, как мы увидим дальше, причины этого были куда сложнее.

Так или иначе, автор не жалеет черной краски для обрисовки

некоторых своих персонажей. Вряд ли был доволен собственной фигурой, точно срисованной с натуры, грек Найтаки, содержатель известной и единственной в Ставрополе гостиницы, этот «маленький смуглый человечек с огромными черными бакенбардами», который так же, как Александра Пустогородова, встречал в свое время А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, декабристов и размещал их в тех же номерах, так подробно описанных в романе.

Издавка над хитрым, играющим под простачка, а на деле очень изворотливым дельцом звучит в каждой строчке, посвященной этому человеку. Ни грамма уважения не нашлось у автора для этого персонажа. Разве он не был заинтересован в уничтожении всех книжек «Проделки на Кавказе»?

Но есть в этой книге персонаж, также жестоко развенчанный, за которым не стоит конкретное лицо. Персонаж это необычный, ибо редко бывает, когда писатель вводит в свою книгу под тем же именем и с той же ролью чужого героя.

В 1844 году всей России был известен роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и его герой Грушницкий. Автор «Проделок на Кавказе» вводит его в свою книгу и при этом доводит этот образ до омерзения.

Грушницких, наглых, бесстыдных, самодовольных, было достаточно в России сороковых годов девятнадцатого века. Они наводняли гостиные, театры, бильярдные, курорты, офицерские общества. Они презирали честных, порядочных людей. И автор «Проделок на Кавказе» подчеркивает все его недостатки. Так же,

как в «Княжне Мери», Грушницкий и здесь по малейшему поводу хватается за пистолет либо за кинжал. Но, в противоположность лермонтовскому Грушницкому, этот — трус.

«...Люди, подобные Грушницкому,— пишет автор,— не убивают; им необходимо только производить эффект: в том все их честолюбие».

Автор как бы хочет развить далее образ, созданный М. Ю. Лермонтовым, и довести его до гротеска.

За этим образом стояло так много людей с реальными фамилиями, что не стоило и усилий разгадывать лишь одного.

Но далеко не ко всем современникам автор относится с презрением и далеко не все герои «Проделок на Кавказе» обрисованы черной краской. Для многих из них нашлось у автора немало теплых слов. И, как отмечает один из исследователей книги «Проделки на Кавказе» — писатель А. Титов, эти люди составляли, как правило, лермонтовское окружение.

«В это мгновение вошли трое в столовую: высокий, толстый, видный собою полковник, низенький майор с большими рыжими бакенбардами и офицер, которого Александр назвал бильярдным героем».

Первый из названных людей, по книге князь Галицкий,— это В. С. Голицын; как говорит автор устами Александра Пустогородова, «храбрый и умный человек. Он провел свою молодость буйно; по этому мнению о нем различно,— продолжает герой Е. Хамар-Дабанова,— но я ценю его по уму и любезности в обществе».

Низенький майор с большими рыжими бакенбардами, который в книге носит фамилию Лев — это Лев Сергеевич Пушкин, родной брат поэта, «умный, честный, безукоризненный офицер, у которого страсть — казаться хуже, чем он есть, пренебрегая общим мнением; он основывается на том, что кто умеет ценить людей, тот его поймет».

В этой же компании в гостинице Найтаки встречается нам и полковник Адаме («Я мало знаю его, но считаю за хорошего человека») это, очевидно, К. К. Данзас, лицейский товарищ и секундант А. С. Пушкина.

Имена некоторых своих современников автор вообще не изменяет: влиятельный темиргоевский князь Джамбот Айтеков, закубанский разбойник Али Карсиз, беглый линеен Барышников — эти имена, как указывал Е. Вейденбаум, в свое время были хорошо известны на линии.

Исследователи этой книги, без сомнения, раскроют нам подлинные фамилии еще многих героев романа, так ярко обрисованных автором. «Вечный майор Камбула», который носит 22 года одну и ту же потертую фуражку с козырьком только потому, что ему нагадали, что лишь в ней он дослужится до генерала. Или «добрый полковник» с «наречием, доказывавшим германское происхождение», который 14 лет служит на линии, ибо в России служить не мог: «Я там спектакль наделал». Или горец Пшемаф, командир русской казачьей сотни, и многие другие.

И уже то, что автор «Проделок на Кавказе» показывает нам

галерею современников, списанных с натуры такими, какими они были в тридцатых—сороковых годах девятнадцатого века, — делает книгу бесценным пособием для тех, кто хотел бы восстановить обстановку и типы людей той поры, обитавших на Кавказе.

4

Итак, крамола была налицо. Разоблачение колониальной политики царизма в Кавказской войне, восхищение (вместо презрения) горскими народами и, наконец, резко критическое изображение царской военной администрации на Кавказе — это было неслыханно дерзко для печатной книги первой половины девятнадцатого века. Автору не могли простить такого откровенного вызова и не простили. Книгу изъяли, писателю пришлось объясняться перед шефом жандармов.

Но если бы николаевские жандармы подвергли автора допросу с пристрастием, если бы Третье отделение заставило его раскрыть все свои замыслы, то, возможно, автор так легко бы не отделался. Дело в том, что книга «Проделки на Кавказе» несла в себе еще одну смысловую нагрузку, тайный смысл которой удалось открыть лишь спустя столетие.

Писательница унесла свою тайну в могилу. И литературоведам пришлось провести большую исследовательскую работу, чтобы разглядеть ту реальную фигуру, которая стояла, за главным героем

романа — Александром Пустогородовым. С первого взгляда могло показаться — и именно так и показалось царским чиновникам от литературы, что главный герой типичен для кавказских романов той поры. Разжалованный в солдаты офицер попадает на Кавказ и там храбростью возвращает себе мундир с эполетами. Живет он в казачьей станице, имеет неуживчивый характер и не в чести у начальства. Таких фигур на Кавказе того времени было немало. Именно поэтому и оставили без внимания царские ищейки главного героя романа. И не увидели реального человека, который стоял за фигурой Александра Пустогородова. А этот человек был далеко не заурядной личностью.

Но для того, чтобы разглядеть его лицо, узнать его имя, нам сначала надо выяснить, кто же стоял за псевдонимом Е. Хамар-Дабанов? Кто был тем отчаянно смелым человеком, который не побоялся сказать правду о порядках, царивших в России того времени?

За мужским псевдонимом стояла женщина. Биографические данные о ней крайне скудные. Екатерина Петровна Лачинова (1813—1896) родилась в семье богача, царского камергера Шелашникова. Получила блестящее воспитание. Была рано выдана замуж за генерала Н. Е. Лачинова, который в 1836 году был переведен в Кавказский отдельный корпус. Вместе с мужем на Кавказ отправилась и Екатерина Петровна.

Что мы можем добавить к этим коротким строкам ее биографии?

Очень немного. Прежде всего — напомнить, что жила она в

необычное время. Первая половина девятнадцатого века была наполнена незаурядными событиями. Хотя бы два из них — разгром русскими войсками наполеоновской армии и восстание декабристов — могли бы сами по себе составить целую эпоху, взорвать прежнее, заскорузлое мировоззрение людей и заставить их задуматься о судьбах России.

Екатерина Петровна воспитывалась в роскоши. Но она сумела духовно порвать с миром благополучных, преуспевающих людей и перейти в лагерь передовой демократической интеллигенции. В то время это было не редкость, если вспомнить биографии декабристов: князей, графов, баронов, генералов, богачей, для которых в конце концов любовь к Родине, боль за ее судьбу оказались выше материальных благ.

Ее глубоко взволновали события 1825 года, которые она переосмыслила позже, уже взрослой женщиной, рассуждая о судьбе Евдокима Емельяновича Лачинова, брата мужа.

В двух номерах «Кавказского сборника» Е. Е. Лачинов напечатал свою «Исповедь», в которой, к сожалению, ни слова не писал о своем революционном прошлом, а описывал участие в боях на Кавказе. Для нас важны не так его воспоминания, как биографическая справка о нем, помещенная в первом томе «Кавказского сборника». В ней, в частности, говорится, что «за участие в декабрьских смутах 1825 года Лачинов Е. Е. был разжалован в рядовые и назначен на службу в войска Кавказского корпуса; участвовал в войнах персидской, турецкой и в экспедициях против кавказских горцев с 1826 по

1833 годы. В турецкую кампанию 1829 года был произведен в прапорщики, а в 1833 году уволен в отставку»⁸. Е. П. Лачинова встречалась с ним, подолгу беседовала и, как считает Е. Вейденбаум, первоначально задумала роман именно о нем, о его судьбе.

Вот как она описывает своего героя: «Достигнув возраста юноши, Александр обращал на себя общее внимание стройностью, красотой, живостью, богатыми дарованиями ума. Служба, как говорится, ему везла и предвещала блистательный карьер, как вдруг молодец попался, был предан суду и разжалован в рядовые без выслуги с лишением чинов и дворянства, не знаю за что, потому что я принял за правило редко верить рассказам разжалованных».

Но такова судьба и ее деверя, который не только вдохновил автора на написание книги, но и сыграл немалую роль в создании самого романа. «Судя по содержанию книги, нельзя допустить, чтобы Е. П. Лачинова могла написать ее без сотрудничества или помощи лица, хорошо знакомого как с мелочными подробностями военных действий на Кавказской линии, так и с составом ставропольского военного общества», — писал Е. Вейденбаум⁹.

Советский литературовед и писатель А. Титов пришел к выводу, что за личностью главного героя действительно стоит декабрист. Но не Е. Е. Лачинов, а более значительная фигура.

А. Титов обратил внимание на письмо Е. П. Лачиновой шефу жандармов А. Ф. Орлову, которое она отправила в августе 1844 года. «Любезный граф!

8 Кавказский сборник. Том 1. Тифлис, 1876; том 2. Тифлис, 1877.

9 Вейденбаум Е. Кавказские этюды, с 319—320.

Когда во время моего последнего пребывания в Петербурге, в нынешнем мае, я узнала о запрещении моего сочинения, озаглавленного «Проделки на Кавказе», я была далека от мысли, что навлеку на себя неудовольствие его величества... Опыт прошлого доказал, что именно литература прославила царствования Екатерины II и Людовика XIV.. Я слышу со всех сторон о том, что современной русской литературы не существует. И именно это, граф, заставило меня взяться за перо — без тщеславия, но исполнившись патриотизма и национальной гордости. Мое первое сочинение было запрещено. Если оно не понравилось его величеству, умоляю Вас повергнуть к его стопам выражения моей глубокой скорби и исходатайствовать для меня его высочайшее прощение, чтобы его величество удостоило принять во внимание вдохновлявшие меня чувства, а не пристрастные толкования, которые ему могут быть представлены и содержать точку зрения, целиком чуждую моим мыслям.

Граф Строганов, которого я упросила удостоить меня разговором, высказал подозрение, что я была руководима в этом сочинении кем-то, враждебным к правительству. Я Вас уверяю, любезный граф, что никто не участвовал в моем труде, и если я частично использовала ежедневные беседы, которые имела со многими нашими кавказскими офицерами, или даже черкесами, и несколько заметок об экспедициях, данных мне двумя офицерами, один из коих позднее погиб на дуэли, а другой как храбрец на поле боя, то все-таки никто из них не участвовал в моем труде... Все, что я могу еще добавить, это что я руководилась чувством личной мести, выводя некоторые

характеры, списанные с натуры, но эти персонажи столь малочисленны и столь незначительны, что, конечно, они не могли привлечь к себе внимания»¹⁰.

А. Титов отметил, что это письмо, по существу, представляет собою хорошо продуманную защитительную речь, которой Е. П. Лачинова, осознавшая, конечно, всю опасность своего положения, пыталась вывести из-под удара не только себя, но и своего деверя, декабриста Е. Е. Лачинова, к тому времени «прощенного» и переселившегося с Кавказа в тамбовское имение.

Итак, Е. П. Лачинова вполне определенно ссылается в своем письме шефу жандармов А. Ф. Орлову на двух офицеров, которые любезно предоставили ей свои записки для работы над повестью.

Кто же эти офицеры?

А. Титов убедительно доказывает, что это М. Ю. Лермонтов и А. А. Бестужев.

В том, что Е. П. Лачинова использовала некоторые материалы великого поэта, нас убеждает сама книга, которая сохранила на своих страницах всю бытовую обстановку «Героя нашего времени». В той части книги, где описываются события на Кавказской линии, изображена такая же небольшая крепость, как и в «Герое нашего времени», где Печорин служит под начальством Максим Максимыча. Так же, как лермонтовский герой, Александр Пустогородов принимает у себя своего «Казбича» (Али-Карсиса), который, конечно же, готовит похищение черкесской княжны.

10 Цит. по журн.: Русская литература, 1959, № 3, с. 133—138.

Различаем мы мотивы «Героя нашего времени» и в описании Ставрополя, гостиницы Найтаки и, конечно, в обрисовке пятигорского водяного общества.

Е. П. Лачинова не смущается близостью мотивов этих книг. Больше того, она смело вводит в свой роман лермонтовский персонаж — Грушницкого, как бы узаконивая этим свое подражание Лермонтову.

Вообще, создается впечатление, что Е. П. Лачинова нарочно старалась подчеркнуть свое подражание Лермонтову. Зачем ей это было нужно?

Возможно, затем, чтобы обвести цензуру, отвлечь ее внимание от главного героя, сделать его похожим на одного из лермонтовских офицеров. И вообще, представить роман как подражание Лермонтову.

И ей это удалось. Никто из литературных критиков середины девятнадцатого века не заметил никаких особенных черт у Александра Пустогородова, которые бы указывали на какую-то конкретную личность и оттого придавали бы роману особый колорит.

Е. П. Лачинова нарочно уводила цензуру от главного героя и, с другой стороны, нарочно сохраняла черты, по которым легко можно было бы угадать его.

Кто же этот человек?

Очевидно второй из названных ею офицеров в письме шефу жандармов — тот, что погиб «как храбрец на поле боя» Заметьте, и в письме графу А. Ф. Орлову его имя не названо.

Но почему? Для чего нужна была такая секретность?

Очевидно, для того, чтобы не выдать своей тайны. Ведь прототипом главного героя романа был декабрист.

Давайте же ближе познакомимся с этим человеком, имя которого — Александр Александрович Бестужев.

В восстании 1825 года он был практически одною из первых, если не первой фигурой. Трубецкой, диктатор восстания, трусливо отсиживался дома, Рылеев искал Трубецкого и терзался религиозными сомнениями в разгар самого дела, а А. А. Бестужев смело шел во главе колонны Московского полка и, размахивая саблей, поощрял солдат к решимости.

И на Сенатской площади он вел себя с такой же твердостью.

Не казнили Бестужева только потому, что он явился с повинной, но подвергли таким издевательствам и унижениям, что он в конце концов стал искать смерть на поле боя. И, конечно, нашел.

Но он был не только решительный человек с твердыми политическими убеждениями. Он был одним из талантливейших и образованнейших людей своего времени. Слава писателя А. А. Марлинского (псевдоним Бестужева) в тридцатых годах не уступала славе А. С. Пушкина. Больше того. Бестужев-Марлинский стоял у истоков великой русской прозы, великого русского реализма. Его повесть с «Испытание» написана на несколько месяцев раньше, чем с «Повести Белкина», с которых официально и начинается пушкинская проза.

За неполных 150 лет, прошедших со дня смерти А. А. Бестужева, литературные критики нашли много совпадений мотивов,

интонации и целых выражений у Бестужева-Марлинского («Испытание», «Аммалат-бек», «Страшное гадание» и др.) и А. С. Пушкина («Кавказский пленник», «Выстрел», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»), М. Ю. Лермонтова («Дума», «Маскарад», «Герой нашего времени»), Н. В. Гоголя («Невский проспект», «Тарас Бульба» и др.), И. С. Тургенева («Бежин луг» и другие произведения). А ведь они написаны значительно позже книг Бестужева-Марлинского¹¹.

Разве не удивительно, что у Бестужева-Марлинского есть стихи, где черным по белому написано: «Белеет парус одинокий», есть строки, буквально «повторяющие» мысли и почти буквально — слова знаменитой лермонтовской «Думы», есть у Марлинского и мимолетное рассуждение о тройке, о быстрой езде, которую любят русские.

Всем нам известны знаменитые ежегодные критические статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу...» А знаете ли вы, что в своем журнале «Полярная звезда» (название повторено А. А. Герценом) А. А. Бестужев в 1823, 1824 и 1825 годах поместил статьи «Взгляд на русскую словесность» и как бы предварил этим статьи Белинского.

Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков испытали на себе влияние А. А. Бестужева-Марлинского.

И вот этот человек оказался в положении политического преступника, для которого были закрыты все пути в то общество, в ко-

11 Гусев В. Судьба Александра Бестужева. — В кн.: Бестужев-Марлинский А. А. Повести и рассказы. М., Сов. Россия, 1976, с. 11—12.

тором он до этого жил. И уделом ему были оскорбления, унижения и полное одиночество.

Конечно, он старался его развеять во встречах с незнакомыми людьми и в балтийских крепостях, и в Якутске, и, наконец, на Кавказе.

Зимой 1837 года он познакомился с «генеральшей Лачиновой» о чем писал в письме к брату Павлу: «...Очень красива, кокетлива и писательница... Она без ума от любви ко мне... Я очень доволен своей победой, эта женщина восхитительна наедине. Я провожу у нее три часа ежедневно»¹².

Хотя А. А. Бестужев к этому времени и успел вернуть себе офицерские эполеты, но вернуть себе прежнее место в обществе он не мог. Е. П. Лачинова чувствовала смятение своего любимого и старалась отвлечь от тоскливых дум. Они очень часто встречались, о многом говорили, и эти беседы были чрезвычайно интересны для Е. П. Лачиновой. Она ловила каждое слово знаменитого писателя, старалась понять не только истоки его творческого таланта, но услышать и рассуждения декабриста.

Из этих бесед она вынесла много интересных фактов и мыслей и о Кавказской войне, о которой задумала написать книгу.

В феврале 1837 года Е. П. Лачинова сообщила А. А. Бестужеву¹³ страшную новость, услышанную во дворце командующего: убит А. С. Пушкин.

12 Титов А. Александр Бестужев — герой забытого романа — Русская Литература, 1959, №3, с. 155

13 Голубов С. Бестужев-Марлинский, с. 351—352.

Эта новость тяжело повлияла на Бестужева. Ночь он провел без сна. А утром побежал к монастырю св. Давида и, позвав священника, велел петь панихиду на могиле А. С. Грибоедова: ведь оба великих поэта были насильственно выброшены из жизни. Но когда священник стал творить молебен «о упокоении душ убиенных бояр Александра и Александра», Бестужев вдруг вспомнил, что ведь и он — «боярин Александр».

Через три месяца он был убит.

Трагическая смерть любимого человека, наверное, была той каплей, которая, упав на чашу весов, решила судьбу главного героя романа в пользу Александра Бестужева. Все ее мысли были заняты этим человеком, и она уже не могла писать, не думая о Бестужеве. И постепенно его образ затмил образ Е. Е. Лачинова. В замыслах ничего не нужно было менять: судьбы обоих декабристов были очень близки. Но фигура Бестужева была гораздо колоритнее, мысли его были глубже и ярче, и Лачинова решает поставить в центре своего романа образ Бестужева. Это сразу придало роману иную политическую окраску, чем было задумано ранее. Книга наполнилась декабристскими идеями и стала политическим памфлетом.

Как уже было сказано, цензура приняла образ А. Пустогородова как типичный для литературы того времени тип кавказского офицера. Чиновники не могли допустить такой дерзости со стороны автора, чтобы через полтора десятка лет после событий 1825 года кто-либо мог решиться поставить образ декабриста в центре романа.

Конечно, напрасно искать в книге хотя бы намеки на восстание декабристов. Напрасно искать здесь автобиографические черты Бестужева-писателя. Это было бы слишком явно.

Нет! Образ А. Бестужева завуалирован. И в то же время он на виду. Сегодня, спустя полтора столетия, Бестужев говорит с нами со страниц этой книги. Говорит о кровавой сути войны, о прекрасной душе горца, о глупости царских офицеров и генералов, о своем одиночестве.

Конечно, образ А. Бестужева завуалирован, но если уж мы сделали такое допущение и нам известен прообраз, то легче становится найти близость литературного героя к его живому прототипу. Начнем с очевидного: Е. П. Лачинова сохранила у них обоих одно имя — Александр. Больше того, она оставила неизменным в романе и имя матери А. Бестужева — Прасковья.

Е. П. Лачинова доносит до нас в романе и одиночество опального декабриста. Оно особенно явно в отношениях между братьями, которые так же далеки друг от друга, как были далеки Александр и Павел Бестужевы. Александр был добр, великодушен, полон родственных чувств, порою даже нежен. Павел же замкнут, сух и отвечает на его письма всегда аккуратнее тогда, когда обращается с просьбой о деньгах.

«Об этом оттенке в отношениях между братьями,— пишет писатель А. Титов, — Е. П. Лачинова также могла узнать от самого А. А. Бестужева, который, по собственному признанию, легко открывал душу перед нравившимися ему женщинами»¹⁴.

14 Титов А. Александр Бестужев — герой забытого романа, с 137.

В первоначальном варианте «Проделок на Кавказе» близость образов братьев Бестужевых и братьев Пустогородовых была видна яснее. Младший Пустогородов не приезжает к Александру из России, а служит, как и он, в Кавказском корпусе, подобно тому, как вместе с А. Бестужевым служил его брат Павел. Но затем Е. П. Лачинова постаралась убрать «мостики», которые вели к раскрытию образа-Александра Бестужева.

И все же, как мы видели, некоторые из них остались. Вот еще одно совпадение. В романе «Проделки на Кавказе» показаны нежные отношения А. Пустогородова и двух горских детей, которых он взял из разоренного аула и привязался к ним, как к родным. Но ведь в свое время образ А. Бестужева окружала легенда о том, что он приютил у себя горскую девочку. Приютил все из-за того же одиночества, что мучает и А. Пустогородова.

Итак, совпадений много. И они не оставляют сомнений в том, что А. Бестужев,— как писал А. Титов,— был не только героем устных легенд, созданных о нем современниками, но и главным действующим лицом целого романа, продолжавшего ту же борьбу с режимом Николая I, которой посвятил свою жизнь друг и соратник Рылеева»¹⁵,

Роман был написан русской женщиной.

Передовые русские женщины девятнадцатого века не были рабами туалетов, модных салонов, танцев, балов и прочей великосветской чепухи. Нет! Русские женщины были до глубины души

15 Там же.

преданы своей родине, ее боль была их болью.

Княжна М. Волконская, княжна Трубецкая и другие жены декабристов совершили гражданский подвиг, отправившись за мужьями в Сибирь. А Лачинова? Разве она не совершила гражданский подвиг, выпустив такую смелую книгу?

И последняя тайна, которую открыли лишь спустя полтора столетия. Тайна псевдонима. Почему все-таки Е. Хамар-Дабанов, а не какой-либо другой?

Ответ на этот вопрос мы можем получить, читая, например, такой абзац в книге С. Голубова «Бестужев-Марлинский»: «Ночь в Иркутске на 24 ноября (1827 года) была необыкновенной ночью в жизни братьев Бестужевых. Сколько рассказов, и какие рассказы! Сколько горечи, радости, надежд и отчаяния, смеха и слез!.. Перед рассветом простились... Николай и Мишель выехали из Иркутска верхом кругоморской дорогой — переправа через Байкал была невозможна, и подоблачный хребет Хамар-Дабан стоял у них на пути»¹⁶.

Все декабристы, сосланные в Сибирь, не миновали этого хребта. И был он для них символом тяжелого, бесконечно далекого пути. И только тот, кто в снежную метель ехал на лошади или, еще хуже, шел пешком через бескрайнюю, казалось, землю, а хребет Хамар-Дабан все так же был далек, как и раньше, — только тот может понять, как ненавистен и как долгожданно радостен был для них этот хребет.

Е. П. Лачинова узнала о нем от Александра Бестужева. А цен-

16 Голубов С. Бестужев-Марлинский, с. 279.

Е. Хамар-Дабанов

зору он был незнаком. Да и разве обязан был литературный цензор
знать все хребты и горы на карте России?

Разве мог он предполагать, что в самом псевдониме таился де-
кабристский символ?

Сергей Бойко

Часть первая

1

Москва и события предшествовавшие

О вы, почтенные супруги!

Вам предложу мои услуги;

Прошу мою заметить речь:

Я вас хочу предостеречь.

А. Пушкин

«Нет, матушка, воля ваша, я не могу продолжать служить! Вот
что говорил кавалерийский офицер лет двадцати пяти, приехавший
в домовый отпуск к матушке своей, Прасковье Петровне Пустогоро-
довой. Это было зимой, когда, как русская патриотка старого покроя,
Прасковья Петровна постоянно приезжала в нашу родную Белока-

менную¹⁷ кушать откормленных и замороженных пулярд, каплунов, индеек и свиней, привозимых длинным обозом добрых мужиков, из деревни в Москву в счет зимней барщины.

Прасковья Петровна, действительно ли, или притворно, ничего не слыхала и продолжала свои канвовые вычисления для ковра, который она делала по обету во время летней засухи, грозившей всеобщим неурожаем вотчине, где она ежегодно проводила лето.

Немного погода опять послышался голос, умильно просящий и почти отчаянный:

— Матушка! Сделайте милость, позвольте мне выйти в отставку.

— Ах, Николаща, Николаша! Ты знаешь, что отец против этого! Ну, как он откажет тебе в содержании? Ведь имение все его! У меня ровно ничего нет: чем будешь жить? Да что тебе так не хочется служить? А в отставке что будешь делать?

— Матушка! Зависимость состояния принуждает меня стараться склонить вас к тому, чтобы вы выпросили согласие отца на мое желание. Моя служба мне в тягость; однообразие жизни и обязанностей, это товарищество без дружбы, среди противоречия страстей, чувств, склонностей и видов, все это день ото дня делается удушливее для меня. Если бы я служил во времена незабвенной Отечественной войны, страдания бивуачной жизни, лишения в

¹⁷ *Белокаменная* — так в XIX веке нередко называли Москву Пулярд, пулярка — жирная кормленная курица (франц. *poularde*).

походах, гром и кровь в битвах, трупы, усталые по полю сражения, пожары сел и городов, слава, венчающая счастливых, награды, украшающие груди отличившихся, вот это усылило бы жажду, которая меня томит, в которой сам себе не могу дать отчета; но теперь я волочу жизнь угрюмую, неудовлетворенную. В настоящем все, что вижу, слышу, встречаю, несомненно мне надоедает; от моей неудачной службы в будущем ничего не ожидаю и не предвижу. Я хочу обмануть тоску, развлечь ее разнообразием, и надеюсь, путешествуя по чужим краям, найти то удовольствие и развлечение, которых доселе тщетно искал.

Только что Николаша кончил эту длинную, трагическую тираду, как вошел официант¹⁸ просить Прасковью Петровну к ее матушке. Получив в ответ «Сейчас приду» и приказание доложить, когда Петр Петрович воротится, официант вышел. Прасковья Петровна встала, обеими руками взяла Николашу за голову, поцеловала его в лоб и промолвила: — Ну, моя беспутная головушка, поговорю с отцом, посмотрю, что он на это скажет! Только ты ему ни слова не говори, а то разгневишь его и ничего не выпросишь.

Всегда осторожная, Прасковья Петровна пошла в девичью приказать своим двум пригожим субреткам¹⁹, чтобы они, в случае, если она прийдет за носовым платком, велели сказать, что кто-

18 ...вошел официант... — Здесь «официант» — человек из домашней прислуги, который обычно прислуживает за столом а в другое время выполняет иные мелкие поручения.

19 *Субретка* — персонаж старинных (первоначально — французских) комедий и водевилей. Здесь — бойкая, веселая служанка

нибудь ее ждет, предоставляя выбор лица их собственной проницательности. Проходя через кабинет, она застала Николашу, который задумчиво сидел на том же месте; мимоходом спросила, не поедет ли он куда со двора, и, получив отрицательный ответ, отправилась на половину, занимаемую матерью.

Николаша привстал и из-за двери посмотрел, как удаляется его матушка, которая некогда славилась своим сложением, ростом, красотой, умом, любезностью, а теперь была шестидесятилетняя, тучная, но свежая старуха.

Когда наш угрюмый философ расчел, что матушка дошла до бабушки, он одним скачком очутился в маменькиной спальне, вмиг перебежал ее, как вихрь ворвался в девичью, чмок одну субретку, чмок другую, и пошла возня, — совершенно впрочем платоническая: описывать тут нечего. Кто не был молод? Кто маменьких субреток в девичьих не щипал? Кто с ними не заводил возни? Кто не видал их притворных слез, поддельного гнева? Кто не слышал этой речи, никогда не исполняемой: «Да что это такое? Право, я маменьке пожалуюсь»? Кто не прятался куда попало, когда слышал, что матушка идет? Какая маменька не притворялась, будто не замечает, что сынок перед ее приходом геройствовал в девичьей, или не видит, что ее пригожая субретка запыхалась, что она красна как рак вареный, что у нее измяты платье и спереди весь шейный платочек, а волосы растрепаны? Маменьки знают очень хорошо, что такая возня совершенно невинна, и потому на все проказы сынков в девичьей смотрят, как говорится, сквозь пальцы. Испытавшие все это могут

догадаться, что началось в девичьей с появлением Николаши.

В другой половине дома происходила совсем другого рода беседа.

Прасковья Петровна застала свою матушку, девяносто летнюю почтенную старушку, в больших вольтеровских креслах²⁰; развёрнутое письмо и серебряные очки старинного фасона лежали у нее на коленях; она беспрестанно утирала платком свои слезы и если не рыдала, то частые вздохи доказывали, что она очень расстроена.

Прасковья Петровна подошла, поцеловала руку огорченной старухи, спросила, что с ней, и, вероятно, тронутая слезами матери, не заметила письма. В самом деле, прискорбно было видеть простоволосую старуху, у которой уже не волосы, а белый шелк покрывал лоб и падал на сморщенное, но безобразное лицо, выражавшее искреннюю, глубокую печаль.

— Параша, ты заставляешь меня плакать у преддверия гроба: твое пристрастие, твоя несправедливость... Бог тебя прости, а право грешно тебе!

— Матушка, да что с вами? Ведь теперь только двенадцатый час; меня задержали: простите, что опоздала прийти с вами поздороваться.

— Послушай, Параша, я немножко ворчу, когда ты поздно

20 ...в больших вольтеровских креслах... — В прошлом веке это слово употреблялось и во множественном числе. Вольтеровское кресло — глубокое, с высокой спинкой — изготавливались по французскому образцу. Появилось в России во время Екатерины II, которая вела переписку с Вольтером.

приходишь: ты этого не понимаешь, потому что не дожила еще до тех лет, когда всякий час думаешь — немного уж остается жить! Первая мысль моя поутру — благодарить создателя и помолиться ему; вторая — скоро ли придешь ты? Творец испытал меня, но еще милостив: взяв всех детей, он сохранил мне тебя. Когда ты долго не идешь, я начинаю думать, что я тебе в тягость и не нужна более, что пора мне умереть! Теперь бог меня тобою же наказывает за эту мысль, происходящую от искусительного помышления. Мне ли рассуждать — должно ли жить или умереть? Но я убедилась, что еще нужна здесь: авось бог даст, слезы матери смягчат твою жестокость!

— Да не мучьте меня, матушка!.. Скажите, в чем дело?

— На, читай вслух письмо, которое я сейчас получила. Прасковья Петровна, увидев почерк, приметно смутилась. В лице ее выразилось сильное негодование; но, повинувшись приказанию матери, она беспрекословно начала читать:

«Добрая бабушка,

Вы всегда были ко мне милостивы и снисходительны; к вам я наконец решаюсь прибегнуть как к последней моей надежде: умолю вас умиловать отца и мать! Матушка — ваша дочь: она от вас выслушает то, чего ни от кого не захочет слышать. Я не жалею, но нахожусь в отчаянном положении. Прибегая к последнему средству, надеюсь еще умолювить ее и, через нее, смягчить отца. С этой целью вам, бабушка, открою всю истину: вы одни не изменились ко мне в продолжении пятнадцати лет испытаний, посланных на меня судьбою.

Я был виноват. Законы осудили меня; преступление мое относилось к обществу, а не к родителям; но я не оправдываю себя за горе, которое им причинил, обманув их надежды. Чувствуя это, я покорно и с благодарностью принимал от родителей скудные средства к жизни, которые далеки от того, что они могли бы уделять мне. Со всем тем сознание вины относительно к ним воспретило мне просить их быть щедрее, и я предпочел терпеть недостаток, даже нужду; льстил себя надеждою, что, достигнув производства в офицеры и будучи прощен людьми, возвращу к себе прежние чувства родителей. Усилия мои были вознаграждены, и, благословляя творца и милосердие правительства, я опять надел эполеты. Однако письма родителей все так же были редки, холодны и с упреками. Я получил несколько наград, которыми грудь моя постепенно украшалась; но родители оставались в том же предубеждении против меня. Наконец, с последнею почтою я получил деньги на текущую треть с письмом отцовского приказчика, в котором он уведомляет меня, что отец и мать недовольны мною, что поэтому ко мне не пишут и не желают более получать моих писем, а ему приказали по-прежнему присылать мне деньги.

Я понимаю, что люди могут меня преследовать, даже мстить мне: это им свойственно. Но отец и мать за что неумолимы? Порочен ли я? Пускай скажут, в чем! Пускай расспросят и узнают, какою общей любовью, каким уважением я здесь пользуюсь! Ослушен ли я их воле? Да я ее никогда не слышал! Тем ли заслуживаю родительский гнев, что к ним не еду? Они знают: это от меня не зависит! Или они заключают, что я ничего не стою, не получив награды за по-

следнюю экспедицию? Пускай увидят участие, принимаемое во мне всеми товарищами! Они не могут даже упрекать меня, зачем доселе я не убит: какая-то странная судьба смешно хранит меня. Словом, умиловитесь, бабушка, родителей, да узнайте, чего они хотят от меня: всякая их воля для меня священна...

Более не в состоянии вам писать: так крепко расстроен. Целую ваши ручки.

*Ваш почтительный внук Александр».*²¹

Старуха зарыдала. Прасковья Петровна, имея правилом подумывать прежде обо всем и не зная теперь, что отвечать матери, позволила и приказала официанту спросить в девичьей носовой платок.

Николаша, в пылу геройства, услышав, что кто-то идет, кинулся опрометью в противную сторону, разбил стеклянную дверь и

21 *Ваш почтительный внук, Александр.* — Прототип главного героя романа, Александра Пустогородова, — русский писатель, декабрист А. А. Бестужев — родился в обедневшей дворянской семье, служил в гвардейском полку, помещавшемся в местечке Марли возле Петергофа, откуда его литературный псевдоним — Марлинский. Брат декабристов Николая, Михаила и Петра Бестужевых. Был штабс-капитаном лейб-гвардии драгунского полка. В 1824 г. принят К. Рылеевым в Северное общество. Участвовал в совещаниях перед восстанием. 14 декабря вместе с братом Михаилом и Щепным-Ростовским вывел на Сенатскую площадь Московский полк. После ареста в письме Николаю I Бестужев дал яркую критику существовавших порядков и развивал план реформ, к которым призывал Николая I. Был приговорен к 20 годам каторги, но по особому высочайшему повелению «обращен прямо на поселение» в Сибирь. В 1829 году переведен рядовым на Кавказ.

13 мая 1835 года Бестужев подал рапорт о разрешении отбыть на пятигорские воды для излечения. Однако, не кончив курса лечения, летом отправился в экспедиционный корпус на Кубань «омывать кровью свои унтер-офицерские галуны» (в Пятигорске он узнал о производстве в унтер-офицеры, что вело к получению офицерского чина). 7 июня 1837 года был убит на мысе Адлер в одной из стычек с горцами.

побежал вниз по лестнице, на которой опрокинул прачку, несшую выглаженное белье. Через заднее крыльцо он отправился в конюшню, арапником заставил поплясать лошадей в стойлах и этим освежился. Субретка, та, которая последняя была в его львиных лапах, начала наскоро оправляться, а другая выбежала навстречу официанту и, услышав, зачем он прислан, начала доставать носовой платок.

Уши у официантов очень хороши, а ум наметан на догадки. Поэтому понятен был его вопрос:

— А! а! Николаю Петровичу надоело вас ломать, так он принялся за стеклянные двери!

— Что с вами-с?.. Кажется, бредите-с? — возразила субретка с полным самодовольством, отдавая платок, — Что Николай Петрович будет в девичьей делать?.. Прошу-с не догадываться и держать свое при себе-с! Да доложите Прасковье Петровне, что смотрительница богадельни пришла, очень нужно ей видеть барыню, а ждать некогда; так не прикажет ли прийти в другое время?

Когда официант принес платок и исполнил данное служанкою поручение, старуха еще плакала. Прасковья Петровна приказала позвать матушкину девушку, велела ей тут быть, сама же, смущенная, встала и, поцеловав руку старухи, сказала: «Матушка, я сейчас приду; мне надо на минутку сходить к себе». Старуха пожала ей руку и сквозь слезы умильно посмотрела на нее.

Прасковья Петровна отправилась в свою половину и пошла в девичью приказать одной из субреток сидеть в кабинете, покуда она в спальне отдыхает. Увидев разбитую стеклянную дверь, она спросила:

— Что это такое? Субретка отвечала:

— Говоря с Машей, я отворила дверь и не видела, что сзади истопник нес дрова.

— Какая ветреница!.. Велеть вставить стекло...— был весь ответ барыни, которая пошла в спальню подумать лежа о двух предметах: первый, как отделаться от хлопот, наделанных старшим сыном; это было нелегко: она чувствовала себя виновною в несправедливости к нему; тем более самолюбие, как водится, требовало доказать, что она прекрасно поступала. Второй предмет был Николаша. Покуда она погружена в рассуждения, надо описать кое-какие подробности нрава и жизни ее. Это необходимо, чтобы понять быт семейства, скажем мимоходом, весьма обыкновенный, ежедневно встречающийся, только не всеми замечаемый.

Прасковья Петровна, одаренная пронизательным умом, красавица, богатая невеста, вышла замуж лет двадцати трех. Поэтому она успела надуматься, какого рода мужа ей лучше всего взять. Да-с, взять: богатые невесты, к тому ж красавицы и умницы, когда надевают брачный венец, имея за двадцать лет, в полном смысле *берут* мужей.

Судьба помогла ей обдумать и определить, какого рода муж всего лучше: она следила супружескую жизнь своих родителей. Ее матушка, с которой мы уже знакомы, была женщина добрая, плаксивая и хоть не дура, а весьма ограниченного ума и без воли. Отец, напротив, слыл человеком замечательным по уму, расточительности, разврату, буйному своеволию и вспыльчивости. Ему надоели

слезы, ревность, упреки жены; она сделалась ему несносною; и он обходился с ней грубо: беспрестанно оскорблял, всячески старался выводить из терпения, при малейшем возражении принимался просто колотить. Этот обычай не совсем вышел из моды: еще случается, и нередко, что муж побьет жену кулаками, чубуком, иногда казацкой плетью. Плеть, однако ж не у всякого имеется; для этого надо родиться казаком. Арапником — другое дело: это у всякого есть и, стало быть, тут уж нет остановок. Я очень любопытен от рождения: поэтому на великолепных балах всегда с особым вниманием рассматриваю те части тела замужних женщин, которых не покрывают пышные наряды. Случалось видеть знаки синие, темно-желтые, зеленые; признаки ногтей, даже зубов. Прасковья Петровна, с которою я очень дружен, уверяла меня, что она часто не верила своим глазам, видя поутру свою матушку всю избитую и в синяках, а вечером, когда оденется ехать на бал, свеженькую, как будто ни в чем не бывало. Основываясь на рассказах подруг, она убеждена была также, что прежде дюжина, а теперь полдюжины эластических, фланелевых и всякого рода юбок придуманы женами, чтоб лучше защититься от ударов мужей.

Итак, Прасковья Петровна решила взять мужа поглупее, помирнее и, разумеется, не драчуна и не кусаку. Скоро в толпе балных полотеров Петр Петрович обратил на себя ее внимание скромностью, застенчивостью, робостью нрава. Его состояние не было тогда велико (после он получил значительное наследство); но на это не смотрела она, потому что сама слыла богатою невестой. Имя

отца ее не было еще продано с аукционного торга или, по модному выражению, с молотка: так она и решилась взять Петра Петровича мужем, предупредила мать, уговорила отца и приказала теперешнему своему супругу за себя свататься. Вскоре запели им: «Роститесь, множитесь, наполняйте землю, и да будет плод ваш благословен!» А сказать попросту, по-русски, *скрутили их*.

Как обыкновенно водится, у них было несколько деток; одни померли, другие живут: но зачем говорить о том, что всякий день случается на всем земном шаре! Вообще тайны брачных ночей и супружеского быта — весьма сухая и скучная материя, нередко даже безобразная картина.

Прасковья Петровна оказалась в замужестве женщиною холодной, без желаний, без страстей: стало быть, и в физическом отношении была создана повелевать мужем. Недаром слепое поверье вкоренилось в прелестном поле, что, возбуждая желания и страсти в муже, легко его поработить. Дело в том только, что не все женщины одинаково сложены: холодная жена всегда свое возьмет, а пылкое, милое создание — бедняжка! — не выдержит своего характера.

Таким-то образом наша Прасковья Петровна скоро достигла безотчетной власти над мужем; но, как умная женщина, она поняла, что выгоднее это скрывать. Вот и начертала она себе образ поведения, который строго воспрещал ей, в свете, при свидетелях, иметь свою волю. На всякое предложение или приглашение она отвечала: «Хорошо, если муж позволит! Хорошо, если муж согласится!» Разумеется, с мужем она никогда не спорила при людях, а оказывала

ему совершенную покорность. Труднее всего было достигнуть, чтобы муж не имел ни одной мысли, ни одного желания, которые бы не истекали из ее воли: но есть ли невозможное для умной женщины? Прасковья Петровна и до того добилась, не могу знать какими средствами.

Свет решил наконец, что в Петре Петровиче нет ничего особенного или замечательно светского, но что это примерный глава семейства, с волею твердой, неколебимой. Впрочем, и сам он был того же мнения, нисколько не подозревая себя самым глупым и пустым созданием в поднебесной. Но что нам до этого? Как все добродушные, то есть незлые дураки, он был спокоен, счастлив и доволен судьбою.

Много значит умная жена! Не будем однако обманывать, скажем правду: Прасковья Петровна не прошла всей супружеской жизни без камней преткновения. В 1812 году она оставила страны, наводненные неприятелем, что, впрочем, заметим с гордостью, не она одна сделала, а все сословия; и уехала не знаю в какой отдаленный город. Там, грустя о бедствиях родной, любезной стороны, о пожаре Белокаменной с ее святынями, она опустила бразды, которыми правила Петром Петровичем. Следствием этого послабления было то, что он попался в круг любителей цыган и связался с одною черноокой девой, — вкус хоть и неуместный для женатого человека, однако ж весьма понятный для меня.

В таборе, куда он часто ездил, была шестнадцатилетняя прелестная Ольга: она пела прекрасно, плясала очаровательно. Быва-

ло, утомленная ночами, проведенными без сна в плясках и песнях вроде —

Не будите меня молодую

Раным-рано поутру! —

она, на заре, уходила в свою комнату и, раздевшись, скоро засыпала. Он любил тогда входить к ней, любоваться на милое, спящее создание, тихонько поправлять черные, раскинутые кудри, дышать теплотой юного тела, украдкой касаться полунагого плеча и девственной груди. Тогда-то, как бы по тайному призыву, грудь внезапно твердела и грёза сладострастия тревожила сон девы: ее руки сжимались, едва заметная дрожь пробегала по телу, губы вполонину растворялись, дыхание делалось реже, но сильнее, она как будто задышалась. И вдруг все тело вытягивалось, вырывался глубокий вздох, невидимая, но понятная слабость овладевала милой цыганкой. Грёза девы кончилась: немое чувство наслаждений улетело...

В Ольгу-то Петр Петрович влюбился. Прасковья Петровна начала подозревать в этом мужа; потом догадываться; наконец, узнала все, притворяясь, что ничего не ведает. В самом деле, как умной женщине показать, что муж изменил ей, что для него цыганка милее, пригожее, полнее наслаждений, чем жена? Это словно сказать, что цыганка лучше барыни: обида смертельная, вопиющая!

В это время сотнями пригоняли во внутренние города пленных французов и других немцев²²: положение их было жалко. Изра-

22 ...пленных французов и других немцев. — Немец — не говорящий по-русски всякий иностранец с Запада, европеец (азиатцы — бусурмане); в частности же германец (В. И. Даль).

ненные, не привыкшие к суровости нашей родной страны, они подвергались мучительным болезням.

Сострадание, человеколюбие — чувства, которые природа и мода присвоили женскому полу. Прасковья Петровна свято исполняла все, что требовалось в этом отношении: посещала пленных, посылала больным хорошо изготовленный суп и белье, щипала корпию для раненых.

В числе этих несчастных был один молодой тяжелораненый генерал Великой Армии. Как наполеоновский офицер, Ж*** проложил себе путь к почестям отважною храбростью. Родясь в низшем сословии, он не получил воспитания и никогда не бывал в хорошем обществе: но для тяжелораненого всего этого не нужно; тем более, что генерал говорил на языке наших гостиных²³: стало быть, имел свободный вход в русские дома, всегда гостеприимные для таких иностранцев. Прасковья Петровна часто посещала этого раненого. Он обращал ее особенное внимание, потому что был генерал, тяжело ранен, страдал, говорил по-французски и имел взор наглый, в котором женщины воображают видеть энергию, храбрость. Впрочем, он был в полном смысле красивый мужчина и мог очень нравиться Прасковье Петровне. Возвращаясь домой и размышляя о поступке мужа, о раненом генерале, она начала разбирать в уме, что такое положение замужней женщины, которая возьмет себе друга. *Honny soit qui mal y pensel...*²⁴ Прасковья Петровна думала о платоническом друге!

23 ...генерал говорил на языке наших гостиных. — Дворянство и знать царской России со времен Екатерины II (1729—1796) в своих гостиных говорили исключительно на французском языке.

24 *Honny soit qui mal y pensel* (франц.). — Да будет стыдно тому,

Эти размышления породили любопытство, а чувство любопытства и мести всемогущи в женском сердце.

Но нельзя было скоро привести в исполнение тайных желаний: генерал был слишком тяжело ранен. Она решилась ожидать его выздоровления и покамест дать во всем полную волю Петру Петровичу, исключая того, что касалось до управления домом, имением, и до значительных издержек. Понимая, однако ж, что без денег не будут пускать в цыганский табор, она уделяла ему безотчетную сумму, которой давалось название: «Для картежной игры».

Наконец, в 1813 году, генерал совершенно оправился, сделал визит Прасковье Петровне и скоро завязалось у них нечто, чему Петр Петрович ничуть не мешал, никогда не бывая дома да и ничего не подозревая.

Скоро, однако ж, Прасковья Петровна разочаровалась насчет своего генерала: он сделался ей несносным своей грубостью, хвастливыми выходками, самонадеянностью, наконец, наглými и бессовестными требованиями. Она говаривала, что если бы спросили ее мнения, кого лучше допустить в свое общество, она без сомнения советовала бы предпочесть русского кучера с широкой бородою французскому генералу: не знаю, многие ли последовали ее советам. Наконец она решительно хотела отделаться от Ж***, но не знала как, тем более, что заметив маленькое изменение в периферии Прасковьи Петровны, его превосходительство говаривал: «Не уеду в отечество, пока не увижу результата».

кто об этом дурно подумает (девиз ордена Подвязки, учрежденного английским королём Эдуардом III). Выражение употребляется как оговорка в значении: сказанного не, следует понимать в дурном смысле; автор иронизирует.

Судьба ей помогла.

Однажды Александр, старший сын Прасковьи Петровны, заметив конфеты в ее кабинете и полагая, что она уехала со двора, обманул всех и прокрался с намерением полакомиться. Он застал маменьку с генералом. Александру запрещали отходить от своего дядьки; это было необходимо, потому что, хотя мальчику считалось только шесть лет, но он был самый резвый плут. В наказание Прасковья Петровна приговорила ослушника стоять во время обеда в столовой на коленях, а генерал подрал его за волосы и за уши.

Этот день Петр Петрович обедал дома. Увидев Александра на коленях, он спросил о причине. Прасковья Петровна сухо отвечала: «За ослушание». Генерал отпустил несколько шуток, которые оскорбили ребенка, а этот и без того ненавидел француза. Обед кончился; Александра освободили от наказания; он стал за дверь и начал горько плакать, браня про себя француза. Отец, который точно от всей души любил сына, возвращался в столовую. Услышав слова дитяти, он взял Александра на колени и спросил, за что он так сердит на француза. Александру запрещали и словом и помышлением бранить кого бы то ни было. Он долго отпирался; наконец, убежденный ласками Петра Петровича, рассказал, что француз в тот день выдрал ему волосы и уши в маменькином кабинете и настоял, чтобы его поставили на колени. На вопрос отца, кто был в кабинете, Александр отвечал: «Маменька и генерал» — «Что ж они делали?» — «Ссорились, маменька плакала».

Петр Петрович, при всём своем скудоумии, понял, что дело

плохо: поцеловал дитя и пошел к себе в кабинет, а камердинера послал сказать жене, чтоб дала ему знать, когда гость уедет.

Он долго ходил по комнате и несколько раз спрашивал, уехал ли гость. Ведь мужчины, как бы мало ни были привязаны к женщине, когда узнают первую измену, приходят в бешенство! Зато, успокоясь, чувствуют горькую, невознаградимую, неизгладимую печаль.

Официант пришел наконец доложить Петру Петровичу, что его супруга одна. Он побежал как сумасшедший, и первым его восклицанием было:

— Я все знаю! Все! Решительно все! Александр был наказан за послушание?... а? И ты позволила врагу рвать при себе волосы, уши, моему сыну!

Час мести, час торжества, час избавления Прасковьи Петровны настал, хотя весьма неожиданно. Она воспользовалась им, разумеется, в свою выгоду: она знала, что много говорить — значит ничего не сказать, и хладнокровно, серьезно спросила:

— Что знаешь? Объяснись!

Петр Петрович вне себя от ярости отвечал:

— Знаю, знаю твою связь с французом проклятым! — И пошел, как водится, городить: за упреками следовали угрозы, проклятия и так далее. Наконец, все высказав и видя непоколебимое хладнокровие жены, он кончил вопросом: — Что ты на это скажешь?

Прасковья Петровна, ничуть не смутившись, отвечала:

— Скажу — не вижу, чем ты так обижаешься: что я предпочла

тебе изувеченного, заслуженного генерала?.. Вот уже два года, как ты покинул и променял меня на Ольгу, цыганку.

Петр Петрович остолбенел. Прасковья Петровна продолжала:

— Не отпирайся, я давно все знаю. Скажи, где ты проживал деньги, которые брал у меня для картежной игры?

— Деньги мои! Я их издерживал где и как хотел. Но не в этом дело. Я не хочу, чтобы этот француз бывал более в моем доме. Сейчас поеду к губернатору, все расскажу и буду просить, чтоб сегодня же выслали его из города.

— Делай, как хочешь! Чего до этого времени никто не знает и не будет знать, рассказывай ты сам и давай повод прозвать себя Петром Рогоносцем! Между тем будь уверен, что тебя же обвинят: все знают твою связь с цыганкою и в один голос жалеют обо мне.

Петр Петрович стал в тупик; потом пришел в себя и уже просил жену уладить все так, чтобы никто ничего не знал. Тут объявил он свое намерение покинуть ее и удалиться в деревню. Это было весьма кстати. После подобных супружеских гроз надо дать время успокоиться страстям... Но Прасковья Петровна чувствовала, что по некоторым причинам должно было торопиться заключением мира, и сказала:

— Еще будет время думать об отъезде; я тебе обещаю прекратить все сношения с генералом и более не принимать его, с тем только, чтобы ты мне обещал оставить свою цыганку. Поезжай сейчас к ней, обещай сколько хочешь денег за то, что ее покидаешь, и раз навсегда распростиись с нею.

Петр Петрович с покорною головою ушел; потом вскоре уехал со двора. Прасковья Петровна послала за генералом, рассказала ему, что муж узнал об их дружбе, и просьбами, убеждениями, наконец, самым красноречивым средством, деньгами, убедила его уехать тогда же. Впрочем, это стоило ей много труда, потому что генерал, родом гасконец, следовательно, хвастун в высшей степени, уверял, будто непременно вызовет Петра Петровича на поединок и раскроит ему череп. Однако ж, успокоившись, дал клятву и честное слово не разглашать ничего и от нее требовал только обета быть к результату ласковее и добрее, нежели как она была к Александру. На другой же день вечером его превосходительство изволил отправиться не знаю куда.

Петр Петрович, покорный приказанию жены, поехал сделать прощальный визит своей Ольге: грустно было расставаться!.. Он сиделся, заговорился, занежился и возвратился домой уже на другой день в первом часу днем, всю ночь не сомкнув глаз.

Прасковья Петровна между тем обладала Александра, надавала ему конфет, совершенно вкралась в его душу. Перед обедом она повезла его в лавки, дала выбрать и купить игрушку и, приехав домой, подарила ее будто в награду за то, что он исполнил ее приказание, рассказал отцу историю о кабинете. Она примолвила с весьма строгим видом: «Ведь ты помнишь, когда я тебе это велела?» Ребенок, привыкший бояться матери, теперь, ошастливленный ее ласками, был в восхищении от своей игрушки и, опасаясь, чтобы ее не отняли, отвечал: «Как же, помню, маменька!» Прасковья Петровна

поцеловала его, прибавив: «Смотри, никогда не забывай, что мать тебе говорит или приказывает! Ведь я именно тебе сказала: расскажи отцу историю о кабинете».

Вечером Прасковья Петровна поехала со двора, покуда муж еще спал.

Петр Петрович, проснувшись, пошел в детскую, где Александр, на это время счастливейшее создание в свете, забавлялся своею игрушкою. Ребенок едва обратил внимание на приход отца, который, видя радость сына, заметил: «Какая славная игрушка! Кто тебе ее подарил?» — «Маменька!» — «Когда?» — «Сегодня» — «За что? Верно, хорошо учился и был послушен!» — «Нет, за то, что исполнил маменькино приказание, рассказал вам историю о кабинете». Тут пошли вопросы и ответы, которые, впрочем, весьма надоедали Александру, занятому игрушкою.

Воспоминание происшествия в кабинете погрузило Петра Петровича в грустную задумчивость. Он пошел в свой кабинет, походил вдоль и поперек, и наконец, чтоб развлечь себя, отправился в гости, где всю ночь проиграл в карты.

Прасковья Петровна приехала домой рано и, приказав разбудить себя к обеду, легла; но долго не могла сомкнуть глаз: мятежные думы отгоняли от нее сон. Она помышляла, что необходимо скорее помириться с мужем: участь результата зависела от этого. Потом она оправдывала себя в своем поступке, рассчитывая, что если бы иначе поступила, то навсегда потеряла бы мужа; понимала, сколько слезы, упреки, ревность покинутой жены унижительны; понимала, что

это значило бы сознать всю необходимость в муже, узаконить всю привязанность женщины к супругу. «Подобные чувства благоразумно скрывать, — думала она, — ревнивая жена делается, наконец, бременем в домашнем быту!» По всему этому Прасковья Петровна была очень довольна своей мезью, которая доказала мужу, что она не есть создание слабое, безоружное, что она рассердила его, но не надоела ему. Вот вам философия: до каких софизмов не может довести самооправдание!

Между тем, еще при объяснении, которое Прасковья Петровна имела с мужем, сообразила она необходимость разуверить его в своей слабости к французу. Теперь эта мысль внушила ей целый ряд аксиом: первая состояла в том, что, хоть она совершенно бесстрашна, не менее того любит своего мужа. Сознаю, я подозреваю — не было ли это сознанием безотчётной привычки, или скорее то отсутствие отвращения, которое она принимала за любовь. Вторая аксиома была: если оставить мужа убежденным в чем-то таком между нею и генералом, то как бы ни была согласна их будущая жизнь, память этого происшествия будет всегда отравлять чувства Петра Петровича грустью. Ничто на свете не может изгладить того, что однажды было. Третья аксиома та, что люди, в особенности мужья, всегда готовы убедиться в том, чего желают. Заключением всего: надо непременно удостоверить Петра Петровича и притом единственно для его же спокойствия, что у ней не было ничего такого с генералом.

Рано поутру Прасковья Петровна поехала к обедне, оттуда в монастырь отслужить молебен, потом сделала несколько визитов,

потом отобедала у своей матушки, потом приехала домой и легла уснуть, не приказывая себя будить.

Петр Петрович с нетерпением желал видиться с женою, постараться еще повыведать кое-какие подробности о том, что он грубо называл «связью», похвастать, что покинул цыганку, и, если найдет, к чему придраться, побраниться и опять объявить свое намерение расстаться. Несколько раз он приходил на ее половину, но получал в ответ, то — дома нет, то — изволят почивать.

Прасковья Петровна слышала, как в последний раз он спрашивал у субретки, можно ли видеть барыню, и получил отказ. Она была очень довольна и сказала про себя: «Слава богу!» И правда: дело уже слажено, коль скоро муж сам идет к жене. Но еще было светло: подождать вечера выгоднее. Смеркалось. Прасковья Петровна встала, приказала никого не пускать и отправилась в уборную. С удивительным кокетством примеряла она разные фальшивые букли; наконец надела одни, почти распущенные, которые всего более придавали вид грусти, тоски, нездоровья.

Затем надела самый простой чепчик с маленькою кружевною оборочкой и широкими распущенными лентами. Это было необходимо, чтобы виделись сережки, подаренные мужем на другое утро замужества, при словах: «Вот тебе, в память твоей покойной невинности». В заключение Прасковья Петровна обулась с большим вниманием; на полукорсет надела ослепительной белизны юбку, весьма невысоко покрывавшую грудь и обшитую сверху узеньким кружевцем; сверху надела белый пеньюар с широкими рукавами и расхо-

дящимися полами; подошла к зеркалу и улыбнулась с самодовольством: в самом деле, она была восхитительна, так и растравливала желания при помощи прелестного, изящного кокетства.

Приказав зажечь лампу с матовым стеклом, висевшую посередине будуара, она пошла в этот полусвет, легла на кушетку, обитую темным бархатом, и поправила платье, так, чтобы ножки едва проглядывали из-под юбки и манили желание видеть еще более прекрасную обувь. Разумеется, платок, непременно принадлежность женщины, готовящейся разыграть семейную драму, не был забыт. Прасковья Петровна взяла книгу, не знаю какую. Ручаюсь однако ж, что это не был ни Жилблаз, ни Фоблас²⁵ и ничто подобное. Но она не читала: она ждала. Кого? Разумеется, мужа. Какой вздор! — скажете вы: оскорбленный супруг, целый день не достучавшись у дверей жены, когда пора ему по обыкновению ехать со двора, придет ли выслушивать, как субретка выпроваживает его словами: «Изволят почивать»?

Ну, а я буду иметь честь вам доложить, что вы не знаете Петра Петровича и ему подобных. Да-с! Придет, уверяю вас, придет!.. И в самом деле, послышались шаги. Прасковья Петровна вздрогнула. Всякий из нас испытал, что такое ждать и опасаться, что ждешь, быть может, тщетно. Как прислушиваешься к малейшему шороху,

25 ...ни Жилблаз, ни Фоблас... — Жиль Блаз — герой плутовского романа А. Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны». Этот роман вызвал множество подражаний, в том числе в России («Российский Жилблаз» В. Т. Нарезного, «Иван Выжигин» Ф. В. Булгарина). Фоблас — герой серии романов Луве де Кувре, тип развращенного француза-дворянина XVI века.

не переводишь духу, от нетерпения досадуешь, и вдруг поневоле -вздрогнешь, когда ясно послышится, что ожидаемое лицо идет. Таковы были чувства, волновавшие Прасковью Петровну, когда за дверью раздался голос, который спрашивал, можно ли войти. На ответ — «Можно» — Петр Петрович явился во фраке со шляпою в руках. Прасковья Петровна позвонила, приказала вошедшему официанту подать кресло, сделала мужу знак сесть и спросила, не хочет ли он чаю... Вслед за тем отправила официанта за чаем.

Петр Петрович с удивлением смотрел на жену: он не помнил, чтобы когда-нибудь она была так увлекательна, так прелестна. И не удивительно: тогда в первый раз она старалась увлечь, прельстить его! Все враждебные замыслы пропали, и он начал:

— Ну, Прасковья Петровна, я исполнил твою волю, разошелся с Ольгой.

— Надолго ли? — печально и лениво спросила его жена,

— Навсегда.

— А кто ее заменит?

— Никто на свете, поверь мне.

— Нет, не верю.

Петр Петрович поспешно возразил:

— Ты на меня сердисься?.. прости меня! — И хотел взять милую ручку. Но Прасковья Петровна презрительно оторвала ее и сказала:

— Я прошу вас не дотрагиваться до меня; вам, верно, очень забавно, проведя ночь в оскверненных объятиях цыганки, приехать

домой и пожать руку жены. Но знайте, что это не по моему вкусу... я этого не позволю!

Послышались шаги официанта, несшего чай. Оба замолкли. Покуда слуга был тут, Прасковья Петровна жаловалась на головную боль, на бессонницу, на усталость и так далее. Петр Петрович имел время обдумать и вспомнил, что у него есть оружие, которым может принудить жену заключить мир. Только он не вдруг решился, как начать нападение. Наконец, когда понесли пустые чашки и официант удалился, он начал:

— Какую славную игрушку ты подарила Александру! Он от нее в восхищении. Что тебе вздумалось сделать ему этот подарок?

Прасковья Петровна с явным негодованием и нетерпением отвечала:

— Оттого, что я была им довольна.

— Я не понял, что он мне сказал!

Бросив сердитый взгляд на мужа, Прасковья Петровна спросила:

— А что он тебе говорил?

— Александр пробормотал мне, что он получил игрушку за исполнение маменькиного приказания, то есть за то, что рассказал мне историю о кабинете.

— И он это тебе смел пересказать! — вскричала гневно Прасковья Петровна, протягивая руку к колокольчику, но Петр Петрович успел его взять и спросил:

— Что ты хочешь?

— Велеть позвать Александра и перед тобою же его наказать, чтобы он знал исполнять и хранить поверенную себе тайну! Я должна быть еще строже с ним, потому что ты, распутный муж, покинувший свою жену, хочешь развратить еще и сына. — Тут слезы полились и пошла работа платком. Между тем она продолжала: — Поручая ему надзор за мною, ты не понимаешь, что через твои глупые расспросы отымаешь первую добродетель у твоего сына — уважение к матери! За этим, разумеется, последует презрение, потом ненависть к самому тебе. Отдай колокольчик или сам позвони!

— Нет, Прасковья Петровна, прости, на коленях тебя прошу прости Александра!

Тут Петр Петрович стал на колени.

— Верно, цыганка и выучила тебя так унижаться. Знай же, что я твоя жена и подобный образ мольбы меня оскорбляет.

Пристыженный Петр Петрович встал; на уме его было уйти, но... невозможно!.. Жена так хороша! Надо хоть поцеловать ее. Он уселся и, подумав, спросил:

— Сделай милость! Объясни мне причину твоего подарка Александру.

— Ступай к своей цыганке!.. Она должна быть ворожея, тебе всю правду скажет.

Петр Петрович стал молить прощения, клянясь, что никогда не впадет опять в искушение. Наконец он опять решился взять ту же ручку. Ему не дали, но без гнева и ничего не сказав. Ободренный этим, он возобновил свои обещания и просьбы, в третий раз потя-

нулся за рукою, поймал ее и в восторге спросил:

— Ты прощаешь мне? Ты более не сердисься? Прасковья Петровна с недоверчивостью возразила:

— Могу ли верить твоим словам? Ты раз уже клялся перед алтарем сохранить мне свою верность. Хорошо исполнил свой обет!

— Право, не изменю более! Буду верен! Испытай раз еще, в последний раз!

— А сына будешь ли развращать?

— Никогда, право, никогда!

— Будешь ли у него расспрашивать о матери?... а?

— Никогда, ни слова, поверь мне!.. Право, прости меня!.. Прощу, прости!.. — говорил тронутый Петр Петрович.

Прасковья Петровна отвечала важно:

— Успокойся и выслушай! Прежде чем простить, я все выскажу, чтобы ты видел, сколько виноват передо мной. Знай же, все, что рассказал тебе Александр, было нарочно сочинено мною. В самом деле, если бы я действительно имела, как ты по-цыгански говоришь, *связь*, как можно думать, чтобы я была до того глупа и неосторожна, чтоб мой сын, ребенок, ее открыл? Правда, генерал за мною очень ухаживал, но я тебе ничего не говорила, потому что он объявил мне: если ему откажут от дома, он тебя вызовет на поединок. Третьего дня он уже решил ехать: поэтому я приказала Александру рассказать тебе все, что ты от него слышал. А был он наказан за ослушание: генерал выдрал ему уши за то, что он ударил его, думая заступаться за меня, горемычную: связей у меня с французами и ни с кем на све-

те не было и не будет. Я употребила этот вымысел, чтобы вернуть тебя к супружеской жизни, зная, что ни слезы, ни упреки на тебя бы не подействовали; мне же становилось невмочь терпеть твою измену. Вот тебе вся правда.

Петр Петрович, кажется, поверил этой поэме. Да, впрочем, не тому еще поверишь, когда чему любо верить. Мир был заключен. Петр Петрович не поехал со двора. Когда потушили огни, в девичьей первая горничная, ложась спать, заметила: «Завтра Прасковья Петровна будет весела, никого из нас не побранит, да и поздно встанет!»

Вскоре после этих происшествий Петр Петрович получил большое наследство. Отец Прасковьи Петровны умер, оставив кучу долгов. Все имение продали. Прасковья Петровна перевезла мать к себе и отдала ей во владение свое приданое имение.

Месяцев семь спустя Прасковья Петровна начала ночью ужасно кричать, стонать: муж перепугался; она не хотела ничего понимать, что у нее ни спрашивали, послали за лекарем, за бабкою... На другой день у Прасковьи Петровны и Петра Петровича родился сын, названный Николаем.

Петр Петрович был в восторге, что имеет сына, но опасался его недолговечности. Он ясно видел, что это был недоносок. Мать, как уверял он после, изволила плотно поужинать накануне, видела во сне страшное привидение, которое давило ее, и с испугу родила прежде времени. Оттого добрый Петр Петрович с особым усердием всегда уговаривал беременных женщин не ужинать.

С Николаем Петровичем мы уже знакомы: теперь несколько ясно страстная любовь матери к нему и первая причина предубеждения против Александра.

Но вина Александра была еще другая и гораздо сильнее: он обманул надежды матери, оскорбил ее гордость.

Достигнув возраста юноши, Александр обращал на себя общее внимание стройностью, красотой, живостью, богатыми дарованиями ума. Служба, как говорится, ему везла и предвещала блистательный карьер, как вдруг молодец попался, был предан суду и разжалован в рядовые без выслуги с лишением чинов и дворянства, не знаю за что, потому что я принял за правило редко верить рассказам разжалованных. Между тем у нас на родной Руси законы наказуют, а святая милость прощает. Александр испытал то и другое.

Но Прасковья Петровна судила по-своему. Она не озлобилась на своего старшего сына за то, что впал в проступок, который предал его правосудию законов; но, напыщенная аристократической спесью, она не могла ему простить того, что потеряла надежду видеть сына в генеральских эполетах, со звездами на груди, с крестами на шее. Словом, Прасковья Петровна была подобна многим матерям на свете и почти всем родственникам, всегдашним поклонникам счастья, никогда личных достоинств.

В оправдание чувств Прасковьи Петровны должно заметить, что уже пятнадцать лет как она не видала Александра: это очень много значит! В столь долговременной разлуке привыкнешь не видеть, не нуждаться друг в друге, не знаешь взаимных привычек, взаим-

ного образа мыслей: стало быть, вспоминаешь о человеке почти так же, как о произведении художества, которое некогда, быть может, пленяло нас, но о котором одно осталось воспоминание.

Глубокие размышления Прасковьи Петровны были прерваны входом субретки с известием, что Петр Петрович возвратился домой.

— Просить его ко мне! — было ответом, который получила субретка.

Прасковья Петровна прервала размышление о старшем сыне, чтобы подумать о меньшом. Скоро она раскаялась согласию, изъявленному на его желание выйти в отставку и ехать в чужие края. «Ну, как он встретится с французским генералом! — подумала она. — Эти французы такие хвастуны!..» Он, пожалуй, скажет Николаше, что она была ему друг, а может быть, и что-нибудь ужаснее? Прасковья Петровна понимала, что страшно положение матери, когда сын станет подозревать, да еще умолять, чтобы она ему все рассказала: каково тогда ей! Как она унижена! Останется одно — со слезами молить сына не верить вратья французам и не отказывать ей в том уважении, которого недавно она требовала по праву, данному ей богом и людьми.

Так, решено: Николаша не едет во Францию, чтобы не встретиться с генералом Ж***, не едет и в Англию, Германию, Италию: чего доброго, он сосвоевольничает, отправится в Париж. С этим твердым намерением Прасковья Петровна встала и пошла в кабинет шить свой ковер.

На другой половине дома дочтенная старушка, матушка Прасковьи Петровны, в туфлях на огромных каблуках тихонько ходила в гостиной, переваливаясь с ноги на ногу. Обе ее руки были запряганы в боковых карманах: в левой, судя по бряцанию, она держала связку ключей, а правую по временам вынимала носовой платок и утирала слезы. По задумчивости ее можно было заключить, что она умственно творит молитву, с утешительным убеждением быть услышанной творцом.

Вдруг вошел Петр Петрович. Читатель знаком с его молодостью. Теперь, когда Николаша уже был избалованным корнетом, а Александр храбрым воином, он приметно постарел, равнодушно глядел на цыганок, не прельщался нежной ручкой жены, а полюбил херес, стерляжью уху и свежие щечки пятнадцатилетних девушек. Он уже был более чем сутуловат, чуть не сторблен. С приметной, радостной улыбкой на лице он подошел к старухе, не замечая ее заплаканных глаз, поцеловал руку и сказал:

— Ну, матушка, как раз вовремя попал в охотный ряд! Первый купил навагу, корюшку и ряпушку. Что за прелесть!.. И как свежи: только что привезли! Оттуда заехал в рыбный ряд, застал много знакомых, однако успел купить пять желтобрюхих стерлядей: животрепещут, матушка! Две из них — в аршин длиною: одну отвез к преосвященному, но его не видал; он нездоров. В передней застал Катерину Павловну и Катерину Сергеевну: они привезли какой-то потогонной травы; обе в одно время, одна заикаясь, другая гоня слова на курьерских, рассказывали эконому, как приготовить и пить

эту траву; у меня спросили о вашем здоровье, хотели завтра побывать. Как же, магушка, прикажете изготовить стрелядок-то, отварить или уху сделать?

Почтенная старуха, пережившая все радости, все желания, имела еще слабость хорошо покушать и особенно, любила лакомую рыбу; зять делал ей всегда удовольствие, по крайней мере столько же, сколько самому себе, заботясь об отыскании хорошей рыбы. Она посмотрела на часы и отвечала:

— Спасибо, Петр Петрович! Вряд ли успеют сварить уху; лучше отварить стерлядку.

Петр Петрович позвонил, передал это приказание официанту и уселся в кресла с надеждою, что старуха, имея в виду полакомиться, будет в хорошем расположении духа и доброхотнее послушает все сплетни и новости, которыми он запасся в английском клубе, у своих приятелей, как и он, неизменных ежеутренних посетителей охотного и рыбного рядов.

Он систематически высморкался, понюхал табаку и уже собирался раскрыть свой короб новостей и насмешливых сплетней, когда старуха, сев против него, со слезами сказала:

— А я, Петр Петрович, получила письмо сегодня от Александра. Как тебе и Параше не грешно так гнать сына? Ужели недостаточно: судьба и люди преследуют его? Чем он вновь провинился, что вы оба запрещаете ему писать к вам?

Петр Петрович искренно любил Александра и часто старался умиловить к нему свою жену, но всегда тщетно. Несколько

раз решался он выйти из ее повиновения в этом отношении: но что значит решиться для человека слабого нрава?.. Ничего! Привычка всегда покорствовать жене . превозмогала, и Петр Петрович, послушный воле Прасковьи Петровны, каждый раз оставался при своем неисполненном намерении. Теперь Петр Петрович был в весьма затруднительном положении. Из опасения жены, он не смел открыть старухе своих чувств к сыну, а между тем надо было что-нибудь отвечать. Подумав, он сказал:

— Матушка, я и Прасковья Петровна, мы решились прекратить переписку с Александром, желая ему добра и надеясь тем принудить его выйти из настоящего расположения духа. Вот в чем дело. Месяца полтора тому назад я встретил в английском клубе какого-то полковника, приехавшего с Кавказа, где он провел несколько лет. Я спросил, не встречал ли он Пустогородова. А тот сказал в ответ: «Как же! Я с ним очень знаком и даже не раз делал вместе экспедиции». Тогда я объявил, что это мой сын и просил описать его подробно. «Весьма приятна мне эта встреча, — сказал полковник, — надеюсь, что вы вместе со мною убедите Александра Петровича приняться за прежнюю свою неутомимость и оставить план, который он себе начертал и пунктуально исполняет; мне он мог не поверить, потому что годами я моложе его, а опытностью гожусь ему во внуки; но я вижу дело беспристрастно, хладнокровно, а он, как человек огорченный, обманутый в своих надеждах, односторонен во всем, что касается до него самого; должен вам доложить, между своими одноиницами Александр Петрович нелюбим — это понятно: ни годами, ни

склонностями, ни мнениями он не может им быть товарищем; даже это было бы неприлично; но все они его уважают за правила, за безукоризненное поведение, за ум и большую опытность. Начальники отдают ему справедливость: его рвение было истинно примерное; он исполнил отлично многие поручения, сопряженные с опасностью и весьма трудные, требующие твердой воли, ума, неумоимости и всей его опытности. Им были совершенно довольны, громко хвалили, но он ничего не получил, тогда как другие, отличившиеся чем-нибудь, были щедро награждены.²⁶ Это очень огорчало вашего сына, однако он надеялся еще, что судьба перестанет, наконец, его преследовать. Вдруг, видя, что гонение рока не прекращается, он совершенно переменил образ поведения и стал отдаляться от службы. Однажды случилось мне его представить к награде; начальник призвал меня и, возвращая представление, сказал: — Ты забыл, Пустогородов был разжалован... нельзя покровительствовать подобных офицеров! — На мое возражение, что таким офицером можно дорожить, что служба в нем много потеряет, мой начальник отвечал: — Зато его ласкают!.. Но куда же денется он с Кавказа? — Я рассказал это

26 *Им были совершенно довольны... но он ничего не получил...* — Еще одно явное подтверждение сходства судеб Александра Пустогородова и его прототипа А. А. Бестужева. Позже стало известно секретное письмо, посланное из Петербурга в Тифлис, вслед за декабристом: «Государь император всемилоостивейше повелеть соизволил государственного преступника Александра Бестужева... определить на службу рядовым в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса... с тем, однако же, что в случае сказанного им отличия против неприятеля не был он представлен к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие будет им сделано». (Военный министр А. И. Чернышев графу И^н. Ф. Паскевичу 13 апреля 1829 г.).

Александр Петровичу, присовокупляя, что ему легче было бы достигнуть генерал-майорского чина, если б он не был пятнадцать лет тому назад разжалован, чем дослужиться до капитана теперь, как он сделал проступок. Ваш сын улыбнулся и отвечал: — Если так, то с этого дня не стану брать на себя обязанностей, не подлежащих моей части, буду только исполнять необходимое по роду моей службы и по чину, сделаюсь боевым офицером. Пускай употребляют кого хотят на другое. Я почитаю, что исполнил долг подданного, и я уж расплатился с лихвою за свой проступок. — Тщетно представлял я ему, что без него обойдутся и он только навлечет на себя новые неприятности. Александр Петрович отвечал: — По крайней мере я сохраню здоровье, спокойствие и свои деньги. — Как сказал, так и делает: его способности, богатая опытность потеряны для службы и, стало быть, без пользы для него. Начальники недовольны им; на всякое предложение о командировке он говорит: — Служа и сдитаюсь во фрунте, я не могу иметь нужных познаний для исполнения этого поручения. — За такой ответ его раз отправили в укрепление, лежащее в ужасной глуши, а ему и горя мало! Всему смеется! Нечего было делать. Не хотелось скучать, он взял переводчика и давай учиться туземному языку. Около двух месяцев пробыл он там, занемог: его привезли на линию; наконец выздоровел; хотели дать поручение, он опять свое. Это надоело, и его отпустили в свой полк, где я сына вашего и оставил». Вот, матушка, за что мы недовольны Александром и решились не писать к нему! Авось ли бог даст, он в угоду нашу покинет упрямство, вредное для него же самого.

Камердинер Петра Петровича вошел доложить, что Прасковья Петровна уже три раза за ним присылала: он встал поспешно, хотел идти, но старуха удержала его и сама с ним отправилась к дочери.

Петр Петрович рассказал всю истинную правду, только выдал женино заключение и решение за свое. Это был пунктуальный разговор Прасковьи Петровны, давно уже искавшей благовидной причины прервать все сношения с Александром.

Когда все три лица собрались вместе, умная Прасковья Петровна, разумеется, со всевозможною почтительностью к старухе, доказала, что она примерная мать и готова с первой почтою написать к Александру, хотя полагает, что было б лучше, если б бабушка взяла на себя уведомить его о причине гнева родительского. Ей кстати баловать внука; родители же должны всегда и во всем быть в полном смысле отцом и матерью для своих детей, а отец и по давню, как глава семейства. Петр Петрович подтвердил это мнение, не из убеждения и. не по чувствам, а потому что не смел противоречить жене. Добрая, почтенная старуха радехонька была, что нашлась на что-нибудь полезною, и охотно приняла предложение.

— Беда с детьми! — сказала несколько времени спустя Прасковья Петровна. — Александр, кажется, довольно стоит нам слез и хлопот: пора бы дать старикам отдохнуть, а тут Николаша начинает. Он умоляет меня выпросить, Петр Петрович, твое позволение выйти в отставку и поехать в чужие края. Я долго отказывала ему в этом, но, убедаясь, что это в нем не ветренная мысль, а обдуманый план, рассудила: не будет толку его принуждать служить!.. Он сделается

нерадивым, пожалуй, еще наделает глупостей и попадет в беду. Поэтому я и решила поговорить, с тобой и спросить твоего согласия. Надеюсь, однако ж, что ты не позволишь ему ехать в Европу. В самом деле, что ему там делать? Все любопытное описано сто раз, нарисовано еще более. На иностранцев всех наций он довольно может насмотреться и в России, от сапожника до аристократа. Я полагаю даже опасным молодому человеку ехать путешествовать по Европе: во Франции, того и смотри, попадет в круг либералов, наговорит или наделает на свою шею глупостей. В Германии боюсь философов, а пуще всего пантеистов. В Италии он как раз влюбится, женится, перекрестится, и не видать нам Николаши; сверх того, опасаясь вообще нравственного разврата: он заживется в Европе, не скоро, его оттуда выживешь, а возвратится — что толку из его путешествия? Будет с ума сходить по чужим краям, не из убеждения, а потому только, что все это делают; будет осуждать отечественное, тогда как он русский и в России должен жить: здесь прах его предков, его имение, его обязанности. Пожалуй, еще воротится развращенным чудачком, причесанным *a la toujik*²⁷, или арапом! Где его молодой голове перенимать что-нибудь полезное, истинно хорошее!.. А причуды, пороки, странности как раз переймет и поработит ими себя. Поэтому, мое мнение, если Николаша будет у тебя просить позволение путешествовать, назначить ему содержание приличное и отпустить в Персию, в Турцию, даже в Египет, но ни под каким видом не соглашаться на его желание видеть Европу.

27 ...причесанным *a la toujik*... — Под мужика (франц.).

Только что Прасковья Петровна окончила речь, которая ужасно надоела ее мужу, почтенная старуха сказала:

— Правда твоя, Параша, истинная правда! Только надолго ли поедет Николай? Ведь ты и отец его немолоды; ужель никому из ваших детей не достанется закрыть вам глаз? Я не говорю о себе!

Прасковья Петровна не любила вспоминать, что ей должно когда-нибудь умереть; она боялась смерти и даже встречи с похоронами: ее люди объезжали улицы, где замечали приготовления к погребению. Впрочем, эта странность не ее изобретение: найдете много подобных москви-тянок. Замечание старухи не очень понравилось дочери, которая возразила:

— Матушка, я и об этом думала; не беспокойтесь, Николаша там не заживется, скоро соскучится, особенно при воспоминании, что на родине гораздо лучше и веселее. Петр Петрович, если ты согласен на просьбу сына и одобряешь мое мнение, так сам ему объяви о том, а я пойду одеться к столу: уже пора.

Петр Петрович, размышляя, что уже дзвно время обеда, и желая узнать скорее вкус выбранной стерляди, очнулся и сказал:

— Согласен!.. Согласен, Прасковья Петровна!.. Правда! Истинно так! — Потом позвонил и приказал позвать Николашу.

Долго искали по всему дому мечтателя; наконец, догадались, что он должен быть на половине своей бабушки; догадались потому именно, что она была у Прасковьи Петровны. Николаша возился в девичьей: когда отец прислал за ним, он взглянул на себя в зеркало, нашел, что слишком растрепан и красен, а потому отвечал: «Сейчас приду». И сам побежал умыться к себе в комнату.

Николаша боялся отца. Это внушила ему мать: показаться растрепанным и красным казалось ему сознаться, от каких занятий его отозвали. Притом отец, по наущению жены, часто бранил его за всегдашнюю праздность.

Наконец Николаша явился. Отец спросил, где он был, что не дожدهшься его.

— У себя в комнате, папенька!

— Зачем у тебя волосы мокры?

— Со сна умылся, папенька!

— Все спишь да спишь!.. Какое мясо!.. Что бы заняться делом?

— Голова ужасно болит, сам не знаю, отчего. Николашу усадили, Петр Петрович передал ему за свое все сказанное Прасковьей Петровною и кончил словами:

— Вот тебе мое позволение и мои условия: хочешь их принять, выходи в отставку, не хочешь, оставайся на службе. Ты знаешь, я никогда не переменю своего: что сказал, то свято!

После обеда все разошлись. Николаша уехал со двора: у него были причины, по которым он не хотел еще объявить, на что решается.

Вечером он отправился в знакомый дом, где обыкновенно проводили время за карточными столиками²⁸. Войдя в гостиную,

28 ...обыкновенно проводили время за карточными столиками — Игра в карты была чрезвычайно распространена. В любом дворянском доме была отведена особая комната, где стояли обитые зеленым сукном столы для карточной игры. Мужчины проводили за ними ночи напролет, проигрывая нередко целые состояния. В карты играли и женщины, подчас с неменьшим азартом.

он подошел к хозяйке дома, потом к хозяину, пробормотал какие-то приветствия и начал оглядываться. Скоро заметил он Елизавету Григорьевну, молодую женщину его лет. Она сидела в углу комнаты между четырьмя молодыми людьми. Все они стояли, пятый сидел рядом с нею; разговор оживлялся занимательностью и смехом. Елизавета Григорьевна была прелестна, мила: черные орлиные глаза, открытый лоб, черные волосы, римский нос, рот с тоненькими губками, родимое пятнышко на подбородке, смуглый цвет лица, хороший рост, пленительный стан — все в ней очаровывало с первого раза. Николаша посмотрел на эту беседу, нахмурился и подошел к хозяйке дома, дряхлой старушке, подсел к ней и начал толковать не знаю о чем. Стали составлять партии. Николаша просил хозяйку позволить ему быть в ее бостоне — это очень обрадовало старуху, которая тут же начала составлять десятикопеечный бостон; нашли еще старика, не находили только четвертого, и немудрено! Бостон невесел сам по себе и делается убийственно скучен, когда составляется для забавы глухой старухи. Не найдя никого, посадили восемнадцатилетнюю прекрасную немочку Китхен, воспитанницу дома.

Елизавета Григорьевна отказалась от игры и по приглашению хозяйки села за фортепиано. Окруженная своими обожателями, она начала петь. На многих столах приостановились играть, чтоб вслушаться в этот голос, пленительный до волшебства.

Наконец Елизавета Григорьевна встала, сказав своим окружающим: «Я еще не сидела около бабушки». Молодежь в один голос пожелала ей удовольствия в этой приятной беседе; она отправилась

к бостонному столу, за которым Николаша сидел задумчиво.

Николаша был высокий и стройный мужчина с лицом правильным и красивым. Он был белокур и имел взгляд словно подернутый туманом. Бледность лица и губ доказывала, как рано он предался страстям, насыщая их обманами. Но вид его имел всю прелесть и нравился женщинам.

Заметь, как Елизавета Григорьевна подходит, он вперил глаза в немочку и стал пристально на нее глядеть. Китхен, полусмущенная, проводя рукою по волосам, спросила:

— Что вы так на меня смотрите?

— Тщетно я стараюсь найти одну хоть малейше неправильную черту в вашем лице!

— И ручаюсь, не найдете! — возразила Елизавета Григорьевна. Николаша взглянул на нее, встретил ее гневный взор и с полуулыбкою отвечал:

— Дай бог вашему предсказанию сбыться и мне, наконец, найти совершенство, которого до сего времени я искал тщетно. Когда найду его, дай судьба — более не разочаровываться!

— А вам случалось разочаровываться?

— Случалось!

— Часто?

— До этого времени всегда!

— Без исключения?

— Без всякого!

— Жалею вас, и более, чем вы, вероятно, думаете.

— Благодарю, но не принимаю вашего сожаления, потому что оно мне не нужно.

Елизавета Григорьевна задумалась и с приметным не годованием начала наблюдать Николашу, который притворился еще задумчивее и исподтишка поглядывал на немочку. Наконец Елизавета Григорьевна сказала:

— Как вы задумчивы сегодня, Николай Петрович! Кажется, вы со мной еще не кланялись.

— Извините, я вам кланялся, но вы этого, вероятно, не заметили, слишком были заняты каким-то новоприезжим, которого в первый раз я вижу.

Елизавета Григорьевна, улыбаясь, отвечала:

— Простите, если я вас не заметила; сознаю, что этот приезжий обратил все мое внимание.

Сдача кончилась, начались переговоры. Немочка играла бостон, Николаша ей вистовал, притворяясь еще угрюмее. Елизавета Григорьевна спросила его насмешливо:

— Вы, верно, так задумчивы оттого, что проигрываете? — Напротив, я очень рад, что мне нечего терять.

— Как нечего? — спросила с гневом Елизавета Григорьевна.

— Да, я все фишки проиграл! Виноват, хотел сказать, избавился, передав желающим.

— Я вас, Николай Петрович, не понимаю; скажите, пожалуйста, что с вами?

— От сегодняшнего пресыщения и излишнего удовольствия я устал.

— Я все-таки ничего не понимаю; пожалуйста, объясните эти выражения.

— Весьма сожалею, что не могу.

— Так прошу вас хоть намекнуть... я пойму. Николаша взглянул на Елизавету Григорьевну, встретил ее гневный взор и значительно посмотрел на немочку.

— Понимаю, но не верю, — рассмеявшись, сказала Елизавета Григорьевна.

— Ошиблись, — отвечал Николаша, — я намекаю на причину молчания.

Пошли переговоры, сыграли бостон; немочка поставила ремиз: Елизавета Григорьевна заметила, что она плохо играет, и предложила сесть за нее. Китхен ушла. Елизавета Григорьевна спросила у Николаши: где он был и что делал во весь день?

— Одному духовнику я каюсь в своих поступках имышлениях; был сегодня после обеда сначала у цыган, а после в театре за кулисами, — отвечал Пустогородов.

— Я уверена, что вы нарочно это говорите, по страсти нынешних молодых людей казаться хуже, чем они в самом деле.

— Уверяю вас, я говорю истину; да и не вижу, почему нам, холостым, не бывать там, где встречаешь женатых людей, предпочитающих актрис своим женам, которые, без сомнения, несносно им надоели.

— Зачем же вы приехали сюда? Лучше было отдохнуть дома.

— Я желал вас видеть; муж ваш, которого я встретил за кули-

сами, сказал мне, что, вероятно, вы здесь проведете вечер.

Начались переговоры. Елизавета Григорьевна играла бостон, проиграла и, ставя два ремиза, разгневанная, сказала Николаше:

— Видите эти ремизы, вы им виноваты; вы должны были мне вистовать, вам угодно было меня оставить: я не прощу этого, не надейтесь более на меня, не стану вам вистовать.

Николаша, засмеясь, отвечал:

— Судьба мне не изменяла еще, и я уверен, что найду вист гораздо лучше вашего.

Все утихло и молча играли; наконец Елизавета Тригорьевна спросила:

— Что же хорошего за кулисами?

— Новая молоденькая балетчица.

— Верно, красавица?

— Довольно что новая, моложе и свежее прочих, чего более желать? Особенно когда прежние пригляделись, надоели!

Опять переговоры. Елизавета Григорьевна сердито сказала:

— Не забудьте же, Николай Петрович, я вам непременно отомщу.

— Трудно будет, когда я сам не хочу вашего виста. Да куда девалась Китхен?

Тут подошел новоприезжий мужчина, на которого намекал Николаша, и сказал Елизавете Григорьевне:

— Сестра! ты уселась играть, а я хотел ехать домой, устал с дороги.

— Подожди немного, я играю за Китхен; она сейчас придет, тогда пойдем.

Мужчина удалился. Николаша спросил у Елизаветы Григорьевны, кто он такой. Это был ее родной брат, только что приехавший в Москву.

Между тем Китхен пришла. Во время игры Николаша, несколько пристыженный, сказал Елизавете Григорьевне:

— Я забыл просить вас прислать мне непременно вторую часть книги, которую я у вас взял; завтра утром возвращу вам первую.

— Я не пришлю книги, потому что сама ее читаю. Пора мне ехать; жаль, не обремизила вас, но знайте, что сдержу свое обещание.

— Хорошо, мстите; где гнев, там и милость! Только шутки в сторону, прошу вас прислать мне книгу; я скоро вероятно, уеду и хочу дочитать описание, которое мне, — не говоря о любопытстве, — нужно, даже необходимо.

Елизавета Григорьевна уехала, не дав никакого ответа. Бостон кончился. Гости разъехались. Николаша очутился у себя, весьма довольный всем своим днем.

Надев халат и расхаживая по комнате с трубною, он вдруг ударил себя кулаком в лоб, промолвив: какой же я дурак! Сегодня вечером принял брата за будущего любовника, поссорился с Лизой, тогда как необходимо было с нею серьезно поговорить; план наш расстроен, покамест прощай Италия, где мы должны были обвен-

чаться и провести остальные дни вместе! Отца никогда не переспорю. Завтра с утра родители будут требовать от меня на что-нибудь решиться, а я не знаю, чего хочет Лиза!

Он вздумал написать Елизавете Григорьевне.

Обычай, во всем изменяются. Давно ли сентиментальные письма, записки писались на прекрасной розовой бумаге, изукрашенной разными виньетками? Тут чаще всего изображены были или пара голубков, соединяющих носики, или амур-колченосец, пронзающий сердце легкой стрелой. Эти записки запечатывались аллегорически-сентиментальными изображениями и всегда были раздушены как благовониями, так и выражениями. Теперь все это считается варварством, незнанием правил *du comme il faut*²⁹. Письмо, или записка любовной связи должна быть написана на самой обыкновенной бумаге, притом потаенными чернилами, самое легкое сентиментальное выражение — есть непростительная пошлость, совершенное незнание общежития; нынешнее любовное письмо непременно должно служить оберткою книги или чего другого, посылаемого к возлюбленной. Если хотите совершенно исполнить требования этикета, закурите эту обертку табаком, сделайте на ней несколько чернильных пятен; впрочем, эти пятна иногда имеют иероглифические значения.

Николаша, в полном смысле поклонник моды, велел подать

29 *Du comme il faut* (франц.). — Прилично; порядочность. ...стал писать потаенными чернилами... — Потаенными (симпатическими) чернилами называли жидкости, которые при письме ими не оставляли на бумаге никакого видимого следа. Текст мог проявиться только при нагревании, смачивании водой или каким-нибудь раствором.

себе лист простой бумаги и стал писать потаенными чернилами; несколько раз задумывался, чернила высохали, он не знал, как продолжать, и начинал строку где попало. Он описывал условия, на которых отец позволяет ему выйти в отставку, жаловался на скотские понятия старика о Европе, сожалел, что не зависит от умной и просвещенной матери, грустил о зависимости состояния, которое его столько угнетает, и в заключение всего умолял Лизу дать скорее совет и требовал свидания; намекал слегка на вечернюю встречу с уверенностью, что комедия, разыгранная им, будет забыта в обстоятельствах столь важных. Он взял книгу, прожег ее в одном месте и, небрежно завернув в письмо, приказал камердинеру утром в девять часов отнести к Елизавете Григорьевне и просить следующую часть. Николаша, кончив это, был очень доволен собою и, ложась спать, не велел будить себя, а если Отец или; мать спросят, сказать, что он очень поздно заснул.

Елизавета Григорьевна, возвратясь домой, забыла о всем происшедшем на вечере и долго сидела с братом, которого давно не видела. Муж ее, Илья Денисьевич, изволил уже почивать.

Илья Денисьевич был человек лет сорока пяти, в молодости лихой гусар; он утратил здоровье и силы в распутной и разгульной жизни; несколько раз ездил лечиться на Кавказские воды и, наконец, вышел в отставку, получив огромное имение от отца. Как все мужчины, он был ревнив, когда был холост, несмотря на то, что смеялся глупости мужей, опасаящихся быть роконосцами, между тем как никто еще не видел ни одной пары человеческих рогов. В этих случаях он прибавлял: «Пуускай муж сам не будет плох, так нечего ему

и опасаться!» Несмотря на-это, он не расчел и женился почти истощенный.

Не за него, а за его состояние отдали Елизавету Григорьевну. Она не знала его почти, да, кажется, чуть ли не была влюблена в молодого человека, которого судьба от нее оторвала. Сначала она не хотела выходить замуж; но домашние убедили ее, представляя, что эта свадьба необходима для счастья всего семейства. Этими доводами бедняжку уговорили. Первые годы брачной жизни домашний их быт шел кое-как; но Илья Денисьевич преждевременно одряхлел. Тут настала трудная эпоха. Муж чем ранее дряхлеет, тем более самолюбие его скрывает это; тогда-то он прикидывается волокитой. Молодая жена сначала не понимает этого. Самолюбие бушует в ней: она подозревает, что покинута, променена на соперницу. Начинаются слезы, ревность, ссоры и замыслы мщения. Если же жена постигнет истину, что, впрочем, не всегда случается. — она делается самым усердным сообщником мужниной тайны, но, скрытно от него, — у нее свои виды! Вот они. Всякая женщина притворяется чуждою огня страстей, подавая вид, что выше их; в любовной связи она уверяет любовника, клянется, что увлечена его нравственными добродетелями, дарованиями. Ее прямой расчет, следовательно, скрывать дряхлость мужа; она никогда в ней не сознается, Муле, со своей стороны, на все-готов согласиться, лишь бы только лучше скрыть свою тайну, которую он никому ни за что на свете не поверит. Тут заключение брачного мира обыкновенно имеет следующую форму: «Любезная жена! Я тебя искренно люблю и предан тебе, будь в этом уверена:

ты полная хозяйка в доме и моем имении, но прошу тебя, не будь так строга ко мне, извиняй кое-как брачные измены, ведь твоя ревность ни к чему не послужит, кроме семейных ссор; мы, мужчины, так сотворены, таковы наши права, наши привычки! Об одном только тебя прошу: не забывай, что я поверяю тебе свою честь». Эта последняя речь в женском лексиконе переводится так: «Ты, жена, можешь иметь любовника, только тщательно скрывай свою связь от мужа, а пуще всего от света!»

Семейный быт Елизаветы Григорьевны и Ильи Денисьевича, лиц, впрочем, весьма обыкновенных, был таков, как выше сказано. Их брачная жизнь дошла до периода только что поясненного; формула наша. оказалась в этом случае весьма уместной. Условия ее исполнялись со всевозможной точностью.

Елизавета Григорьевна неоднократно замечала, что ее муж делается одолжительнее после головомоек, которые даны ему при свидениях, под предлогом ревности. Она взяла это себе на ум.

На другой день после описанного вечера, в десятом часу утра, она сидела за чайным столом со своими тремя детьми, уродцами, черными, нечесаными, неумытыми, которые, скоро между собою передрались и расплакались, так что мать их прогнала. Илья Денисьевич вошел, как добрый муж, поздоровался с женою, поцеловал ей ручку и уселся в ожидании чая.

Елизавета Григорьевна, понюхав табаку, сказала очень гневно: — Послушай, если ты дурачишься и забываешь, приличие, так я по крайней мере требую, чтобы ты не смел поминать обо мне в

местах, где, если б у тебя была совесть, ты б никогда не заглядывал.

Пошли прения, ссоры, и когда Елизавета Григорьевна пришла вне себя, то есть притворилась разгневанной, послышались шаги. Это был домашний доктор. Невозможно было явиться более кстати. Доктора в домах — семьяне. Они все видят; все знают, все слышат и удивительно верно отгадывают то, чего им не сказывают. Редко кому рассказывают они важные семейные тайны; зато ссоры, мелочные или смешные происшествия столько же раз в сутки повторяют, сколько получают десятирублевых ассигнаций. Высыпаясь в каретах, они почти всегда видят во сне семейные распри: это случаи для них самые выгодные. Обыкновенно они пропишут жене успокоительное лекарство, чаще всего отварную воду с сахаром, на рецепте сделают незаметный иероглиф; аптекарь, обязанный платить значительный процент врачу, возьмет в двадцать, а иногда в сто раз более ценности медикамента; больная, очень довольная вкусом сладкой воды, прославляет удачное лечение ее притворной болезни, а медик в продолжение дня должен сделать второй визит, узнать о действии лекарства, то есть получить другую ассигнацию. Серьезные болезни — несчастья для медика: во-первых, его слава страдает, когда больной умирает на его руках; во-вторых, доктора, занимающиеся практикой, всегда добродушные люди, привязанные к пациентам. В них чувства не грубеют, как у госпитального лекаря, на которого смерть больного не производит ровно никакого впечатления.

Доктор, старый немец, вошел, поклонился, посмотрел на Елизавету Григорьевну и спросил, что с ней? Видно, она очень расстроена?

— Муж сокрушает. Вообразите, вчера изволил провести вечер в театре за кулисами. Мало того — не о чем было говорить, у него достало духа завести разговор о жене. С кем же? С молодым ветре-ником.

Доктор начал успокаивать Елизавету Григорьевну, пощупал пульс, потребовал бумаги, и чернильницу, прописал рецепт, приказал тотчас же послать в аптеку, принимать лекарство через час по чайной ложке, и никак не держать его в слишком теплом месте, разумеется, не ставить в печку, а то склянка может лопнуть. Говорите после этого, что доктора вообще аллопаты!³⁰ Нет-с, они гомеопаты, коль скоро велят принимать по чайной ложке лекарства, которое всякий из нас в детстве охотно пивал полными стаканами.

Илья Денисьевич находился в весьма затруднительном положении; душевно желая прослыть волокитой, он должен был из приличия показаться смущенным, немного прогневанным, почти при-совещенным. Как водится, он сделал тут прежалкую фигуру.

Вошел официант с завернутою книгой, Илья Денисьевич спросил:

— Что это такое?

— К Елизавете Григорьевне от Николая Петровича Пустого-родова, приказали просить другую.

— Подай сюда! — Илья Денисьевич развернул книгу, заметил, что она прожжена, и, пересматривая, сказал:— Какова нынешняя

³⁰ Говорите после этого, что доктора вообще аллопаты! Нет-с, они гомеопаты... — См. примечание к с. 177.

Молодежь! Какие невежды! Вот прожег книгу, хоть бы строчку написал в извинение! — завернул ее опять и отдал официанту. Елизавета Григорьевна, не смотря на человека, приказала положить ее к ней в будуар, на стол, и велела сказать, что другую книгу сама читает.

Сметливый доктор, понявший одолжение, которое сделает обоим супругам, если заведет разговор, спросил у Елизаветы Григорьевны, где она провела вечер?

— У бабушки! — отвечала она. — Играла в бостон за вашу дочь Китхен.

Илья Денисьевич воспользовался этим удобным случаем, чтобы встать и поскорее уйти. Доктор последовал его примеру немного погодя, а для Елизаветы Григорьевны начался день светской женщины, то есть во все утро до второго часа — получение и отправление дюжин двух записок, потом принятие и делание визитов. Не приняла однако ж она Николашу. Это взбесило его, потому что, не получив ожидаемой книги, он отправился к ней объяснить. Позднее, когда он ехал по городу, он встретился с матерью, которая остановилась, посадила его к себе в карету и вынудила согласиться выйти в отставку и отправиться путешествовать на Восток.

Николаше необходимо было видеть Елизавету Григорьевну. Он начал ломать голову, где она проведет вечер? Но все его предположения были сомнительны. Наконец он решился послать своего камердинера прохаживаться около ее дома и подслушать, куда она поедет. Поручение не совсем приятное, особенно когда на дворе мороз

в 25° по Реомюру³¹. Камердинер довольно долго прогуливался около дома, проклиная про себя влюбленных бар и все в мире любовные связи. Очень приятно был он обрадован, когда увидел на дворе фонари и кучеров, запрягавших экипаж; карета выехала со двора, ее подали к крыльцу; вскоре лакей отворил дверцы, посадил Илью Денисьевича и ожидал... Ведь только женихи сажают в карету невест. Мужья делают это со своими женами лишь в первый год женитьбы, а со второго передают эту обязанность лакеям. Впрочем, разве эта одна обязанность им передается? Не берусь решать. Жених, любовник, сажая в карету предмет своего обожания, всегда пожмет рукою локоть, подавит ладонь, и счастливец получает в ответ почти незаметное движение пальцами, которое в светском лексиконе переводится словами: «Она пожала мне руку!» Наконец, явилась Елизавета Григорьевна. Ее посадили. Камердинер Николаши услышал ее голосок: «В Петровский театр!», потом громкий голос лакея: «Пошел в Петровский театр!» Полупьяный бас кучера яревел: «Пошел в Петровский театр!» и карета помчалась. Через четверть часа Николаша у дома своего садился в сани, говоря: «В Петровский театр!»

Первое действие началось, когда Николаша вошел в театр и, остановившись у входа залы, навел свой лорнет на ложу Елизаветы Григорьевны. Она сидела вдвоем с мужем и, казалось, была очень задумчива, даже скучна, «Ага! — подумал Николаша. — Каешься, что со мною поссорилась! Боишься быть покинутой! Я же проучу, помучу ее порядком!»

31 на дворе мороз в 25° по Реомюру. — Это соответствует примерно 31° по Цельсию (шкала Реомюра между точками замерзания и кипения воды разделена на 80 градусов).

Входя в залу, Николаша прошел к своему креслу и уселся тихо, поглядывая, смотрит ли на него Елизавета Григорьевна? Но незаметно было, чтобы она обращала внимание в ту сторону.

Занавесь спустилась. Николаша отправился в ложу Елизаветы Григорьевны, где очень сухо был принят ею и мужем. Не обращая на это внимания, он спросил:

— Вы получили книгу? Видели, она прожжена?

— Да, получила, но не развертывала ее; впрочем, муж открывал и сказал мне, что она прожжена, — Вы меня прощаете?

— Что толку, если б я не простила!

— Вы дадите мне завтра другую часть?

— Нет, не дам! Не умея сберегать, что вам дают, вы лишаетесь доверенности.

— Не стану беспокоить вас просьбами.

Илья Денисьевич вышел из ложи. Николаша спросил Елизавету Григорьевну, что за причина ее грусти, и получил в ответ:

— Я скажу вам правду, вы должны это знать. Вчера у бабушки вы сказали мне, что встретили мужа за кулисами. Это возбудило во мне сильную ревность. Огорченная, я всю ночь не спала и, наконец, опомнилась: с какого права, подумала я, волнует меня измена мужа, когда я сама ему неверна? Этот вопрос успокоил меня, и ревность затихла. Я стала хладнокровно рассуждать и убедилась, что истинно привязана к мужу. Он также любит меня. Я разочла, сколько моя измена его огорчит, упрекала себя в ветренности, по которой нарушила священные обязанности и узы; с угрызением совести, с благо-

дарностью к судьбе, скрывшей от мужа мой проступок, я решила расстаться с вами.

Илья Денисьевич возвратился. Жена его хладнокровно спросила Николашу:

— Где для вас приятнее быть во время представления; за кулисами или в зале?

— Этого нельзя сравнивать: в зале увлекаешься, прельщаешься, но все это пустой призрак, свет со своим ослепительным обманом. За кулисами темно, грязно, загромождено машинами грубой работы; видишь черную и безобразную изнанку декораций, уродливо накрученных актрис и актеров, их мишурное одеяние. Мнится, будто перед тобой масляничные паяцы и шуты. Чтобы вернее объясниться, скажу, что за кулисами весь чар, все волшебство исчезает; видишь предмет своего наслаждения во всей его отвратительной наготе, во всем наглом обмане, в презрительном ничтожестве. Первый раз, когда я увидел закулисный быт, мне сделалось грустно и зала не развлекала меня более; но я скоро привык и с той поры к тому и другому равнодушен.

— Зачем же вы бываете в театре, если он вас не развлекает?

— Мало ли что делаешь от нечего делать! Ездишь в театр, на бал, на вечера, волочишься.

— Ужели это все делается от нечего делать?

— Помилуйте, да это вся наша бесплодная светская жизнь! К тому же всё это — вечное одно и то же.

— Каким образом одно и то же? Желая, чтобы вы это доказали мне.

— Ничего нет легче. Разительное противоречие между театральной залой и кулисами вы встречаете между блеском женских бальных нарядов и их наготой в уборных, когда они приедут домой уставшие, полусонные. В волокитстве точно так же предмет нашего внимания есть сначала то же, что театральная зала. Когда достигнем желаний, перешли за кулисы в полном смысле слова:

— Скажите, пожалуйста, как вы так молоды и уже так разочарованы; с таким мрачным предубеждением смотрите на жизнь, и где вы набрались подобных мыслей?

— Я, конечно, молод годами, но стар опытом; рожден с пылкими страстями и предался было им чистосердечно, с полным самозабвением; я даже чувствовал себя в состоянии всем жертвовать для страсти, но преданность моя не была оценена. Раз навсегда я разочаровался, ко всему охладел и на все смотрю без соучастия и озлобления, без любви и без ненависти.

Елизавета Григорьевна расхохоталась, заметив, что озлобленный философ предпочитает однако ж сидеть в ложах и креслах, чем идти за кулисы.

— Я еще буду и за кулисами, — отвечал Николаша, откланиваясь, и вышел в полном смысле взбешенный:

Скоро наш скептик явился в директорской ложе, против яруса, в котором сидела Елизавета Григорьевна.

Занавесь поднялась. Николаша стоял уже за кулисой и смотрел в ложу Елизаветы Григорьевны. Заметно было, что он разговаривал с большим жаром; но с кем, не было видно. Только по краю

юбки, которая видна была из ложи, можно было подумать, что это было с женщиною. Лорнет Елизаветы Григорьевны не сходил с Николаши; он притворялся, что даже не смотрит в ту сторону. Наконец, и он и юбка скрылись. Только подошва со шпорой осталась на том месте, где он стоял. Нетрудно было догадаться, что проказник был на коленях, но мгновенно — из-за этой кулисы выбежала молоденькая, хорошенькая актриса, которая начала разыгрывать свою роль. Илья Денисьевич обратил на нее все свое внимание. Елизавета Григорьевна, вне себя, готова была уехать, но, не видя более Николашу за кулисами и хорошенькую актрису на сцене, начала лорнетом рассматривать ложи. Глядь — Николаша над директорскою хохочет с четырьмя румяными женщинами. Показывая в эту сторону, она спросила у мужа:

— Пуфинька! У кого в ложе Пустогородов? Илья Денисьевич по-нашему, а по жениному ласковому выражению пуфинька, угрюмо посмотрел и, зевая, отвечал:

— А кто его знает? Это ложа каких-то актрис. Всматриваясь внимательнее, он начал однако ж оказывать признаки сильного нетерпения.

Посидев у этих женщин, Николаша опять очутился у директора. Занавесь опустилась.

Затем Пустогородов явился опять к Елизавете Григорьевне и сказал пуфиньке:

— Илья Денисьевич! Директор поручил мне просить вас после театра приехать в английский клуб.

— Ах, благодарю; совсем было забыл, что надо мне с ним видеться. Если вам нечего делать, посидите, пожалуйста, здесь с женою, а я к нему схожу на минуту.

— Очень хорошо! — отвечал Николаша самым скептическим голосом, а Илья Денисьевич отправился. Елизавета Григорьевна, внутренне раздраженная, насмешливо сказала Николаше:

— Я вас видела за кулисами.

— Я сказал вам, что туда иду,

— Как я рада, что наконец опомнилась! Какому развратному человеку я было вверила себя, какому неблагодарному! Никогда себе этого не прощу. Перед какою актрисою вы становились на колени? Я это видела, не отпирайтесь.

— Послушай, Лиза! Мне отпираться нечего, я тебе был верен всегда; теперь же ты сама мне объявила, что мы расстаемся, стало быть, ты не имеешь более ни малейшего права требовать отчета в моих поступках! Я к тебе истинно привязан и верно не подавал повода называть себя неблагодарным. Если бы ты сегодня прочла мое письмо, ты это увидела бы. Я просил твоего совета, ты мне его не дала; теперь уже поздно. Я стремился покинуть отечество, родных, все для тебя, и по нашему условию ехать в Италию; но решено иначе. Я выхожу в отставку, родители меня отправляют путешествовать на Восток.

— Да, ты мне всегда был верен! А Китхен? Что на это скажешь? Я знаю твое оправдание: ты шутил! Не стыдно ли, шутя, соблазнять беззащитную девушку? Дели она дастся в обман и сердцем

привяжется к тебе, что ты ей скажешь? Как сметь презирать до такой степени пол, к которому я принадлежу? А меня ты уверяешь, будто привязан ко мне. Если бы ты чувствовал, что говоришь, так уважал и почитал бы меня во всем моем поле.

— Ошибаешься, Лиза! Я не то скажу, а напомним мои всегдашние мольбы к тебе отдалять от себя мужчин, менее стараться им нравиться. Чувство мести, ревности внушило вчера мое поведение с Китхен.

— Стыдись! К кому меня ревновал — к родному брату! Каковы должны быть правила человека, у которого рождаются такие подозрения? Не стараться нравиться мужчинам, — ты меня просил? Ужели ты полагаешь, я тебе бы нравилась и ты продолжал бы за мной ухаживать, если б увидел, что никто меня не замечает? Нет, видя меня покинутою, не обращающею ничьего внимания, ты покинул бы меня. С того же дня я стала бы тебе в тягость, сделалась несносною, надоела бы неблагодарному. Любя тебя, желая сохранить твою привязанность, я стараюсь пленять собою людей, быть окруженной мужчинами; а ты упрекаешь меня этим, ты, которого я одного отличаю среди всей этой ничтожной толпы!

— Лиза, прости меня, забудь прошедшее; виноват! Скажи скорее, простила ли ты меня? Твой проклятый пуфинька вышел из ложи, сейчас сюда придет. Нам надо непременно видеться, дело важное! Когда же и где?

Елизавета Григорьевна, взглянув на директорскую ложу и видя, что муж ее уже вышел, поспешно отвечала:

— Послезавтра на Кузнецком мосту, в два часа пополудни. Завтра я больна; на другой день утром пошлю просить модистку привезти мне новый корсет и бальное платье. Она должна отказать под каким-либо предлогом. Я с пуфинькою приду в магазин, модистка попросит меня в свои комнаты примерить корсет и платье, будет перешивать то и другое, а его отправит.

Послышались шаги. Она прибавила:

— Хорошо, Николай Петрович, если послезавтра останусь на бал до мазурки, то буду ее с вами танцевать.

Илья Денисьевич вошел, поблагодарил Николашу и извинился, что долго его задержал в ложе. Того требовала учтивость. Пустогородов, посмотрев на часы, сказал:

— Ах, опоздал! Я дал слово быть в десять часов в од- -ном месте, а теперь скоро одиннадцать. — Потом встал и откланялся.

На другой день утром Елизавета Григорьевна не вставала; она была нездорова, имела сильный мигрень. Доктор пощупал ей пульс, прописал нюхательный спирт и какое-то лекарство и ждал, покуда все принесут.

Между тем Елизавета Григорьевна спросила у доктора, скоро ли будет свадьба его дочери, и получила ответ, что еще дело не решено.

В первом часу Николаша вошел в модный магазин на Кузнецком мосту к мадам Комплезанс. Несколько покупательниц занимали толстую, краснощекую, затянутую в корсет, с лишком сорокалетнюю хозяйку. Когда она поотделалась, подошла к Николаше и спросила, что ему угодно.

— Мне из провинции прислали деньги, чтобы по этому реестру я накупил женских уборов; вот вам деньги, возьмите на себя труд комиссии.

Содержание реестра было: «Завтра в два часа пополудни мне надо иметь свидание с известною вам особой, прошу одолжить ваши комнаты. Теперь меня вызовите, мне нужно с вами переговорить».

Мадам Комплезанс объявила, что у нее все это есть, с радостью берет комиссию и просила Николашу войти в ее комнату взглянуть на вещи.

Николаша вышел из магазина и наедине передал ей все, что Елизавета Григорьевна ему сказала о плане для свидания. Дело решено.

Елизавета Григорьевна целый день пролежала, не думала даже выезжать. На другое утро лекарство принесло пользу: она хорошо спала ночь, встала как встрепанная и послала карету за мадам Комплезанс, чтобы привезти ей корсет и несколько платьев на выбор для вечернего бала. Она еще сидела за чайным столом со своим благоверным супругом, когда официант пришел доложить, что карета воротилась, а мадам не приехала по причине болезни.

Трудно описать сокрушение Елизаветы Григорьевны. Пуфинька начал ее утешать, и решили, что в два часа они вместе поедут в магазин Комплезанс, где пуфинька выберет платье для жены. Вы спросите: зачем же его возить? Подумайте, так и узнаете, что расточительные жены, щеголихи, всегда притворяются скупыми. Несмотря на то, мужья поварчивают о деньгах, кидаемых на туалет, а

когда жене вздумается блеснуть своим бальным нарядом, она везет своего пуфиньку в модный магазин, и он должен выбрать сам платье. Мужья самолюбивы и любят видеть жен пышно наряженными. Поэтому их выбор всегда бывает щегольской; жена на другой день получает счет от модистки, передает его мужу, который посмотрит на итог, почешет себе лоб и вынимает деньги.

В два часа Елизавета Григорьевна с пуфинькой входила в магазин мадам Комплезанс. Подвязанная хозяйка, кашляя, извинялась, что не могла приехать. Спросили корсет: сказали есть, спросили бальные платья, их целую дюжину вынесли. Пуфиньке позволено было выбрать; он не ударил лицом в грязь. Надо примерить выбранное платье. Елизавета Григорьевна пошла в комнаты мадам Комплезанс; и стали раздевать ее в премилой уборной, в которой, разумеется, находились и прекрасное трюмо и... кушетка, и все нужное...

Сначала примерили корсет; в нем почти нечего было переделывать. Через полчаса будет готов. Как мила хорошенькая женщина, когда примеряет корсет. Без корсета же, сознаюсь, не всякая хороша, иную упаси судьба видеть! не захочешь глядеть и на истинно хорошеньких. Решив одно, принялись за платье. В нем было более переделки, чем в корсете; а потому мадам Комплезанс пошла в магазин объявить зевавшему пуфиньке женино позволение: взять экипаж и ехать куда ему угодно; но чтобы через два часа прислал обратно карету. Между тем Елизавета Григорьевна дождетя, покуда платье поспеет. Сама же не может выйти, потому что раздета. Покорный муж посмотрел на часы и обещал прислать карету через два часа.

Недели полторы спустя в этой же уборной Елизавета Григорьевна просталась с Николашею. Ничего не было забыто при этом случае; лились обеты взаимной вечной верности и обещания писать друг к другу! Впрочем, тут нечего распространяться. Не раз случилось мне подсматривать в замочную щелку прощания этого рода и подслушивать такие обещания. Я убедился, чем притворнее они, тем смешнее, глупее и приторнее! Когда же в таких случаях прощающиеся истинно тронуты, тогда они не *плачут*, не пустословят, а глубоко, сильно чувствуют и — молчат.

Николаша совсем собрался ехать в полк и там подать в отставку. В присутствии семейства отслужили молебен с водосвятием. Бабка и мать чистосердечно плакали благословляя Николашу. Петр Петрович воспользовался тем временем взглянуть на часы — грустная дума волновала его... Он боялся опоздать в рыбный ряд и уже в тот день не достать лучших стерлядей. Наконец и до него дошла очередь благословить отъезжающего.

Драма кончена. Николаша несется по столбовой и вместо сурбровок в девичьих возится на станциях, пока зрители, по своему обыкновению, с тысячью грубостей отказывают дать лошадей, страшая и всячески притесняя проезжающего.

Да с кем же он возится? — спросите вы. Разумеется, с ямскими кухарками.

II

Приезд на Кавказскую линию

*And as far as mortal eye can compass sight,
The mountain howitzer, the broken road,
The bristling palisade, the fosse o'erflow'd,
The station'd bands, the never vacant watch.
The magazine in rocky durance stow'd,
The holster'd steed beneath the shed of thatch,
The ball-piled pyramid, the ever blazing match.*

*Byron*³²

Кавказская линия. — Основанием Кавказской укрепленной линии” послужили русские поселения, издавна возводившиеся на

32 Эпиграф взят автором из «Паломничества Чайльд Гарольда» Д. Г. Байрона (песнь первая, строфа 51).

С нагих высот Морены в хмурый дол
Стволы орудий смотрят, выжидая.
Там бастион, тут ямы, частокол,
Там ров с водой, а там скала крутая
С десятком глаз внимательных вдоль края,
Там часовой с опущенным штыком,
Глядят бойницы, дулами сверкая,
Фитиль зажжен, и конь под чепраком,
И ядра горками уложены кругом.
Перевод В. Левика

Тереке и Кубани; полного развития она достигла в конце 40-х, начале 50-х годов XIX века. Кавказская линия сыграла важную роль в защите южных границ, особенно в ходе русско-турецких войн. Действие романа «Проделки на Кавказе» происходит на правом фланге Кавказской линии, который включал в себя линии Кубанскую и Лабинскую.

По общему выражению *Кавказская линия*, по военно-техническому — *Кавказская кордонная линия* есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом недлинную сухою границей, — и наконец по левым берегам рек Малки и Терека.

По этой линии проложена большая почтовая дорога почти круглый год безопасная. На противоположных же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схваченным в плен или убитым хищниками³³.

Впрочем, каждый год временно воспрещается ночная езда по большой дороге; такое время называется на линии *тревогою* и продолжается иногда недели две. Тревога состоит в следующем. Лазутчики (военные шпионы) уведомляют, что горцы в таком-то числе собрались в известном месте и намерены вторгнуться в наши пределы: здесь делаются распоряжения для прикрытия пространства, грозимого прорывом, и принимаются меры предосторожности, пока начальник участка, который называется еще кордонным, не со-

33 ...*быть схваченным в плен или убитым хищниками*, — Так называли горцев, промышлявших грабежом.

средоточит легкого отряда и не нападет внезапно на скопище. Меры предосторожности всегда одни и те же: всех казаков, служащих и не служащих, расположенных внутри линии, высылают в пограничные станицы. Эти последние запирают, т. е. жителей не выпускают из них на полевые работы, а скот выгоняют на пастбище, лишь когда нет тумана и солнце уже довольно высоко на небе; проезжающих задерживают по ночам и рано утром.

Раннею весною, то есть в конце марта, по большой дороге, прилегающей к Кубани, катилась коляска, запряженная шестью изнуренными лошадьми. Сырой туман, падавший влажной, едва заметной росой, не совсем еще рассеялся. Молодой человек, сидевший в коляске, курил трубку и гневно повторял ямщику: «Пошел! Пошел же!», прибавляя к этому несколько известных национальных фраз.

Дорога эта стелется по крутому, возвышенному берегу Кубани, так что реки не видно. Вдали лежат безлюдные закубанские степи; на горизонте рисуются горы в вечной синеве. Мрачен их вид! Горы вдали наводят всегда уныние, взор не перекатывается по живописному разнообразию уступов, не наслаждается зрелищем очаровательных горных потоков, и воздух не навеивает чувств доблести и отваги, которыми дышится в горах. Природа гор и жизнь их обитателей — все скрыто. Лишь горизонт заслонен мертвыми, однообразными массами.

Путешественнику наскучила дорога, надоело и браниться с ямщиком. От нечего делать он стал расспрашивать мужика о предметах, которые попадались ему на глаза.

— Что за столб на холме с камышовой крышей? И вот человек стоит около него, другой лежит, видишь — вон впереди? Вот и две оседланные лошади! Да это не черкесы ли? Говорят, у вас здесь тревога, меня не пустили ехать ночью, задержали в станице даже утром, черт знает до какой поры. — Сказав это, проезжий стал вынимать пистолеты.

— Нет, барин! Это не черкесы, а линейные казаки на дневном бекете; стоит часовой и смотрит за Кубань; лежит его товарищ; а это их лошади ходят стреноженные; столб с крышею сделан для лета, чтоб от солнца был холодок.

— Да разве этот пикет не по случаю тревоги выставлен?

— Нет, он тут круглый год и сплошь по всей линии, каждые две или три версты такие же.

— А ночью куда деваются эти казаки? — Уезжают на пост.

Проехав несколько верст, проезжий опять спросил:

— А это что за плетень на возвышенности? За плетнем видны крыши, вон там высокая каланча также с крышею: на ней человек стоит?

— Это пост, каждые семь верст такие же.

— Ну, а это что за лошади возле нас?

— Казачьи лошади, барин, целый день оседланные и встреноженные ходят около поста; вон там лежит казак в бурке и на аркане пасет своего коня — то табунный часовой.

— А эта канава зачем вокруг плетня и сверху хворост?

— Посты окопаны. По верху плетня прикрепляется сухой ко-

лучий кустарник, чтобы нельзя было перелезть.

— Ну, а эта высокая каланча — что такое?

— Это по-нашему *вышка*, на ней стоит часовой и смотрит за Кубань.

— А это что за крыши видны на посту?

— Одна — казарма, другая — конюшня, третья — сарай для орудия.

— Разве есть и орудия на этих постах? — Нет, теперь не ставят без особой надобности. — Много ли казаков на постах?

— Разно, от тридцати до сорока и более. Ведь им большой расход: ночью занимают секреты по Кубани, делают разъезды, днем конвоируют проезжих, возят бумаги.

— А это что за трое верховых перед нами едут? — А кто их знает, казаки!

Три всадника ехали по дороге в бурках и башлыках³⁴: один был на серой, видной, с огромным шагом лошади; за ним другие два рысью. Поравнявшись с постом, они повернули по тропе, которая вела к нему. В это мгновение из поста стремглав выехал верховой в черкеске, с обнаженным ружьем³⁵ за плечом. Не удерживая коня, он спустился в глубокий овраг, выскочил из него и, доехав до всадника на сером жеребце, быстро остановил поворотом свою лошадь и с

34 *Башлык* — суконный капор, надеваемый черкесами на голову сверху шапки в непогоду, чтобы защититься от дождя и холода; иногда — чтобы укрыться от людей и не быть узнанным, тогда обертывают концами шею, часто и нижнюю часть лица, до глаз. (Здесь и далее сохранены примечания автора).

35 У черкесов и у линейных казаков ружья всегда в бурочных чехлах.

видом почтения что-то сказал ему. Тот, не обращая внимания, продолжал ехать.

Путешественник спросил у ямщика, что значило виденное.

— Это постовой урядник выехал рапортовать, а тот верно какой-нибудь кордонный пан.

— Как его зовут?

— Кто его знает! Этих панов мы не возим, они ездят всегда на станичных почтах.

— А это что за почты?

— Во всякой станице держат по десяти троек, почтарь нанятый от станицы.

— Какой почтарь?

— По-вашему подрядчик, что ли? Коляска въехала в станицу.

Путешественник велел везти себя на квартиру Пустогородова.

Выйдя из экипажа, он спросил Александра Петровича, ему отвечали, что нет дома, но скоро будет. Приезжий приказал отпрягать коляску, а сам остался ожидать хозяина.

Квартира Пустогородова состояла из двух чистых комнат; стены, выбеленные мелом, придавали ей вид чрезвычайно светлый. В первой комнате, очень невеликой, которая была однако просторнее второй, стоял большой подушечный диван, несколько складных походных стульев и стол простого дерева и изделия; в одном углу находились чубуки с трубками. В другой комнате, против окна, на большом складном столе были чернильницы, перья, ножницы, несколько ножей, карандаши, писчая бумага, сургуч, печать и облат-

ки³⁶; к стене прислонена была складная кровать, покрытая красивым вязаным шерстяным одеялом; вышитая по канве подушка лежала в изголовье. У кровати стоял складной столик, на нем было несколько номеров русских и иностранных газет, сочинение Байрона, английский словарь, вторая часть сочинения Дюбуа о Кавказе³⁷, несколько сигар, сигарочница, фосфорические спички и футляр для часов. В этой комнате находились также три походных складных стула, к стене приделаны были полки, на которых лежало несколько больших портфелей и кипа журналов. Около кровати, на прибитом к стене персидском копре, висели две шашки, двуствольное и одно черкесское ружье, пара европейских пистолетов, кинжал с поясом, несколько разнovidных пороховниц, плеть и казачье богатое форменное офицерское седло. Несколько пустых мест доказывали, что не вся оружейная была налицо; у постели, на полу, разостлана была тигровая кожа. На противоположной стене висели два черкесских седла с бурочными чехлами.

Путешественник застал в первой комнате слугу Пустогородова и мальчика лет двенадцати в красных шальварах, в чебеках³⁸ и бешмете³⁹, перетянутом поясом, на котором висел кинжал; сверху

36 *Облатки* — приготовляемые из крахмальной муки кружка или капсулы для вкладывания в них лекарств, принимаемых внутрь в виде порошка, во избежание их неприятного вкуса.

37 *...вторая часть сочинения Дюбуа о Кавказе...* — Фредерик Дюбуа де Монперё (1798—1850) — французский путешественник, археолог, этнограф, натуралист. Изучал Россию, Крым, Кавказ и Закавказье.

38 Черкесская обувь.

39 *Бешмет* — верхняя мужская одежда, распространенная в частности, у народов Кавказа. Распашная одежда, доходящая до колен, в талии собирается в складки и подпоясывается.

была на нем темно-желтого цвета черкеска, а на голове кабардинская шапка. Прекрасное лицо и благородная осанка мальчика, родом тавлинца⁴⁰, обратили на себя внимание приезжего. Вскоре оно еще более привлечено было шестилетнею, в полном смысле очаровательною девочкой, которая вошла в комнату. На голове у нее была чалма темного цвета, желтая шелковая коротенькая рубашка виднелась из-под расстегнутого голубого шелкового бешмета, опушенного мехом, из-под рубашки выходили красные шелковые шальвары, чрезвычайно широкие, так что походили на юбку; ножки ее удивительной белизны оставались босые; для ходьбы она надевала туфли на двух каблуках, один у носка, другой у пятки; между ними находились небольшой колокольчик и два бубенчика, которые извещали издали о ее приближении — изобретение азиатской ревности! Женщины отвечают за подошву ног своих, в туфлях же слышно, когда и куда они идут. Девочка называлась Айшат. И она и Дыду остались в плену под Ахул-го⁴¹ и взяты были Пустогородовым на свое попечение.

Человек Пустогородова взглянул в окно, сказал: «Вот я Александр Петрович идет!» Приезжий выглянул и, не видя никого, спро-

40 ...мальчика, родом тавлинца... — Тавлинцы — устаревшее название горцев Дагестана.

41 *Ахул-го*, Ахульго — на аварском означает дословно «сборный пункт на случай тревоги». Военное укрепление в Дагестане в период Кавказской войны. В 1837 году было взято и разрушено русскими войсками. Шамиль немедленно построил новый Ахульго рядом со старым и сильно укрепил его. Ахульго защищался гарнизоном, составленным из наиболее фанатичных приверженцев имама. В июне 1839 года отряд русских войск приступил к осаде этого пункта, но только после нескольких отбитых штурмов, к концу августа Ахульго был взят.



сил: «Где же?» — «Да вот его борзые бегут, сам верно к полковнику заехал».

Путешественник по привычке, желая поправить длинные волосы свои, причесанные а la moцјіk и бороду а la St. Simonienne, стал искать по стенам зеркало, и не найдя его нигде, подумал: «Вот вандал! Даже зеркала в доме не имеет».

— Неужели у вас и зеркала-то нет? — спросил он, обращаясь к слуге.

— Как же-с, есть. Александр Петрович всегда сам изволит бриться,— отвечал слуга, подавая небольшое складное зеркало.

— Только для бритья; разве он в другое время не смотрится?

— Никогда-с.

Едва приезжий, совершенный денди, успел поправить свою прическу и запретил людям сказывать, кто он, как на двор въехал всадник на сером жеребце с двумя спутниками, которые проворно соскочили с коней. Один из них взял за повод серую лошадь и держал за стремя, покуда офицер медленно слезал, спрашивая: «Чья это коляска?» Ему отвечали: «Не можем знать». Другой взбежал на крыльцо и снял с него башлык и бурку. Между тем легавые и борзые собаки визгом приветствовали хозяина, отталкивая друг друга от рук его.

Александр Петрович вошел в комнату и в спальне своей нашел приезжего, который, кланяясь, подал ему письмо.

— От матушки! — сказал он и, взглянув на адрес и кидая письмо на столик, спросил: — Откуда едете?

— Из Крыма, в Грузию.

— Вероятно, по новому переобразованию края?

Путешественник молча любовался Александром, высоким, плечистым мужчиной, стоявшим пред ним в шапке. Лицо его было открыто и приятно; он не носил бакенбард; в глазах выражалась предприимчивость и решительность; одяние состояло в простой туземной черкеске, ловко перехватывавшей стройный стан; обувь на нем была также туземная. Но приезжему не долго пришлось любоваться им; слуга стал отстегивать шашку, Дыду снимал три пистолета, заткнутые за пояс, между тем как сам Пустогородов вынимал из карманов часы, платок, кошелек и расстегивал пояс, на котором висел кинжал. Приказав вытереть хорошо оружие и разрядить пистолеты, он сказал: «Я весь промок, выкупался в Кубани». В самом деле, он был мокрехонек. Дыду, взяв оружие, вышел вон. Пустогородов обратился к приезжему со словами: «Извините, что при вас стану раздеваться». Сбросив с себя черкеску, бешмет, он надел халат и уселся на кровать, покуда человек его разувал. Айшат явилась с длинною трубкою; Александр Петрович, затянувшись дымом, поставил чубук около себя и, взяв на колени Айшату, стал ее целовать. Тавлинка обняла его обеими ручонками и спросила: — Зачем так мокр твой?

— Искал броду по Кубани; твои земляки хотят к нам прийти, надо знать, где могут переправиться.

Когда человек разул Александра Петровича, он лег в постель и приказал послать к себе старшего урядника; между тем спросил водки, жалуясь на внутреннюю дрожь, и велел готовить стол к обеду.

Айшат села возле него и играла усами, покуда он с заметной грустью распечатывал письмо матери своей. Прасковья Петровна начинала так: «Пишу к тебе, любезный!..» Необыкновенное выражение! Удивленный, он всматривался в строки, перечитывал их, желая убедиться, не чудится ли ему; но письмо действительно было начертано ее рукою. Он продолжал: «Любезный Александр! чрез брата твоего Николашу...»

Александр Петрович, устремив взор на путешественника, сказал:

— Николаша! Это ты?

— Я, — отвечал он лукаво.

— Ты приехал играть комедию?

— Я хотел видеть, узнаешь ли ты меня?

— Ты с ума сошел! Ведь я оставил тебя десятилетним ребенком и баловнем; а теперь передо мною двадцатипятилетний модник, чиновник с бородою. Да полно ломаться, поди поцелуй меня, видишь, я босой, не могу встать; впрочем, если не хочешь... — тут нахмурились брови Александра Петровича, — делай как знаешь, мы, казаки, не просим. Я вам — счастливым света, матушке и тебе — ничем не обязан и кланяться не стану, отвергать также не буду; вы мне не нужны: я на опыте узнал это; многие бедственные, горчайшие годы прожил я без вас!..

При этих словах он опустился на подушку и держал письмо перед глазами, будто читая. Негодование к несправедливости матери и света овладело им; он ничего не видел, ничего не понимал;

нравственные силы в нем замолкли; он чувствовал лишь несносное давление в груди; слышал только, как кровь ударяла ему в сердце и потом останавливалась, словно застывая в его жилах. Это трудное мгновение казалось ему удушливою вечностью.

Николаша сначала оскорбился, что брат затронул его фашьюнабельное самолюбие⁴²; но вскоре кровь, кровь родства поработила в нем все прочие чувства. Он подошел к кровати и крепко поцеловал брата, несмотря на крик маленькой Айшаты, которая ручонками своими старалась оттолкнуть приезжего. Александр Петрович с искренностью прижал к груди Николашу и сказал:

— Послушай, соперничества между нами быть не может: мы братья, носим одно имя. Предрассудки света не приковывают нас ко мнению, что между нами может существовать оскорбление, которое мы должны были бы смыть кровью; среди достоинств светских, я должен гордиться твоему счастью, точно так же, как ты должен показывать, что радуешься моему; даже и тогда, когда б мы чувствовали иначе — мы не можем не показывать этого перед светом, если не хотим подвергнуться общему суду и презрению. — Улыбаясь, он прибавил: — В женщинах разве могло бы быть между нами соперничество; но вот тебе доказательство, что и тут его не будет. — Он приподнял шапку и обнажил голову, совершенно седую, коротко обстриженную.

Александр Петрович взял опять письмо в руки и продолжал

⁴² ...брат затронул его фашьюнабельное самолюбие... — От англ. *fashionable* в значении: светский человек; шеголь, хват.

читать. Прасковья Петровна писала ласково, даже нежно; она обвиняла себя в несправедливости, в жестокости; благодарила старуху мать, что открыла ей глаза, и в заключение уговаривала Александра выйти в отставку и приехать усладить ее старость. Александр, всегда недоверчивый, подумав про себя: «Что-нибудь да под этим таится! Не проведут же они меня!», спросил у Николаши: долго ли он намерен гостить у него и как заехал сюда?

— Хотел тебя видеть, брат! Я еду в Персию, бог весть когда встретимся опять, погощу у тебя несколько дней. Да! Ведь у меня есть посылка к тебе от бабушки; только еще не разобрали вещей. Могу ли я остановиться у тебя?

— Разумеется, можешь; вон тебе та комната, здесь будет тесно.

Николаша вышел приказать своим людям выносить вещи из коляски. В это время вошел в комнату молодой человек красивой наружности, с выражением благородным, одетый в простую черкеску. Это был молодой горец, воспитанный в одном из кадетских корпусов⁴³ и выпущенный в офицеры с прикомандированием к Кавказскому казачьему линейному войску. Он состоял, в сотне у Пустогородова и был его закадычным другом.

— Здравствуйте, Пшемаф! Я хотел было за вами посылать — пора обедать.

— Верно, у вас нынче за обедом ветчина, что с таким нетерпением меня ждали, — смеясь отвечал черкес; потом примолвил: — Да, что это за модник к вам приехал?

43 ...горец, воспитанный в одном из кадетских корпусов, — Кадетский корпус — закрытое учебное заведение преимущественно для детей дворян. В кадетские корпуса принимались иногда и дети горцев.

— Это брат мой,— отвечал Александр, улыбаясь.

— В самом деле? Нет, вы шутите; он на вас совсем не похож.

А что, хороший малый?

— Право, родной брат мой! А каков он, совсем не знаю; я его в первый раз вижу.

Николаша возвратился в комнату. Пустогородов сказал ему:

— Брат! Вот мой короткий кунак (приятель) Пшемаф, познакомься с ним.

Франт отставил ногу вперед, протянул нежную, белую ручку с длинными прозрачными ногтями и чопорно отвечал:

— Господин Пшемаф, очень рад иметь честь с вами познакомиться.

Черкес сильно, смуглою рукою ударил по протянутой ручке и сказал:

— Будемте знакомы! Александр рассмеялся.

— Пшемаф! — заметил он, — если б ты меня слушался да мыл руки, так они были б у тебя так же чисты, как у брата.

Черкес вспыхнул.

— А на что мне такие руки? — отвечал он. — Прозументы разве ткать? Я их мою пять раз в день, по заповеди пророка; а теперь они черные потому, что я возился с вашими пистолетами здесь на крыльце: казаки нехорошо их разряжали. Дыду пришел с шашкою, кинжалом и тремя пистолетами. Положив их на стол, он встал на кровать и повесил на стену шашку, походную трубку, зрительную трубу и ружье, принесенное за ним казаком; потом снял порохов-

ницу, мешочек с пулями, приборчик и подал их Александру, который стал заряжать один пистолет, между тем как Пшемаф заряжал другие два. Когда это было кончено, Дыду положил пистолет, заряженный Пустогородовым, с кинжалом под его подушку, другие два повесил с прочим оружием.

Доложили о приходе старшего урядника.

— Пускай идет сюда! — отвечал Александр Петрович.

В комнату вошел высокий, сильный мужчина в черкеске, при шашке, с кинжалом у пояса, с Георгиевским крестом и бантом на груди, что доказывало троекратную заслугу доблестного знака, и с медалями за персидскую и турецкую войны, равно и штурмовую ахулговскую.

— Ступай к станичному начальнику, — сказал ему Александр Петрович, — и передай приказание полковника тотчас же выслать десять человек неслужащих казаков на ближний пост для занятия ночных секретов у брода, открытого мной, — приказный на посту покажет его. Я вплавь переехал через Кубань и нашел на том берегу следы черкесов, искавших брода. Их было, должно быть, не более десяти человек, но зато напали на славный брод, по брюхо лошади не хватает. Сегодня или завтра надо непременно ожидать прорыва. Полковник приказал мне быть наготове с сотнею и ехать за Кубань; так смотри, чтобы у тебя было человек восемьдесят молодцев начеку и лошади на ночь оседланы. Да объяви — беда тому, кто опоздает выехать на тревогу. Те же, которые в деле всегда при мне, пускай ночуют здесь на дворе: жены их не станут очень горевать.

— Слушаю, ваше благородие! Только людей нельзя набрать.

— Да, полковник приказал сменить с постов недостающих людей в моей сотне, а вместо их послать туда прикомандированных из новых станиц, которых не велено брать за Кубань. Сколько их у нас?

— Было, ваше благородие, двести пятнадцать; да вряд ли все налицо.

— Где же они?

— Офицер пораспустил. Наверно не знаю, а стороною слышал, что сегодня утром человек двадцать домой ушли.

— А ты чего смотришь? Позвать ко мне хорунжего. Урядник вышел.

Черкас с истинным, непритворным восхищением сказал:

— Александр Петрович! В самом деле будет тревога? Вы возьмете меня с собою за Кубань? Славно подеремся!

— Нет, не возьму. Полковник приказал назначить для вас человек сорок; он, кажется, намерен послать вас по сакме⁴⁴; впрочем, не стоит об этом говорить — бог даст, не будет и прорыва, а то, право, жаль лошадей — их совсем загоняли. Куда скучны эти непрерывные тревоги!

Доложили об обеде. Не стану распространяться о нем: фазаны, олени, кабаны, осетры и другая лакомая рыба, овощи — все это в изобилии на Кавказе и за бесценок; вина также изрядные, нередко и хорошие, за умеренную плату. Поэтому вино пьется не рюмками, а стаканами.

44 По следу.

Во время обеда явился казачий офицер, за которым посылал Александр Петрович, Он был видный собою мужчина, с наглым взором, одетый в форменную одежду. Бешмет его и все платье было в пятнах и совершенно полиняло.

— Здравствуйте, хорунжий! — сказал ему Александр Петрович. — Я вас не приглашаю за стол, потому что вы поститесь. Пожалуйста сюда... — и оба вышли в другую комнату. Александр затворил за собою дверь.

— Послушайте! Долго ли вы будете своевольничать? У себя в станице делайте с сотней что хотите — это не мое дело; но здесь, когда вы вошли в состав моей команды, я не позволю делать все, что вам вздумается. Вы пришли сюда с двумястами пятнадцатью казаками: извольте мне сказать, сколько их теперь у вас налицо?

— Много в расходе, капитан! То нарочными отправлены, то на постах...

— Не о том я вас спрашиваю. Сколько вы отпустили казаков домой?

— Сегодня двадцать человек.

— А кто вам позволил?

— Помилуйте, капитан! Я обязан вникать в положение казака моей сотни; я взял наскоро из станицы кого попало, а теперь отпустил худоконных, бедных и одиноких; вместо же их велел выслать доброконных и достаточных⁴⁵.

45 ...велел выслать доброконных и достаточных (казаков). — Доброконный — у кого добрый, надежный конь. Достаточный — богатый, зажиточный.

— Во-первых, вы не должны были отпускать ни одного человека без моего ведома, потому что вы здесь покамест не начальник сотни, а офицер, состоящий под моею командою. Я ваш сотенный командир — пора вам службу знать, то есть исполнять, потому что вы ее знаете. Во-вторых, вы отпустили не художонных и не бедных, а тех, кто заплатил вам по рублю серебром. За что извольте сдать вашу часть Пшемафу, а сами останетесь в моей сотне без команды. О вашем же поступке я представлю. Только за этим и звал я вас.

— Напрасно, капитан! Я не брал по рублю серебром с казака; вам ложно донесли. Если когда-либо и воспользуюсь — войдите же в мое положение: вот год, как я произведен; обмундировка мне стоила 350 рублей; за лошадь заплатил 250 рублей — она в пух уже разбита; мундир — вы видите. Прошлую осень я конвоировал генерала 28 верст; скакали во всю конскую мочь; солнце палило, пыль вилась столбом; когда мы подъезжали к станции, пошел сильный дождь, бурки я не смел надеть — и вот как отделал мундир; между тем к инспекторскому смотру должен сшить новый — так от нас требуется. Состояния у меня вовсе нёт, это вам известно, а должен одеть, прокормить жену и четверых детей; получаю я всего 16 рублей ассигнациями годового жалованья: как прикажете быть? Хорошо вашему старшему уряднику, который смолоду догадался, отперся, что знает грамоту — теперь ему и горя мало! Хотят представить в офицеры — нельзя: грамоте не знает, а он лучше меня пишет, только скрывает, не хочет быть офицером. Он предпочитает остаться бедным, да честным. Воля ваша, вы можете меня представить, но войдите же в мое положение!

— Это не мое дело. Я должен иметь вверенную мне часть в надлежащем виде, иначе могу сам попасть под ответственность. Полковник будет иметь право взыскать с меня. Теперь судите сами, приятно ли за других отвечать? Дай бог и за себя не подвергаться неприятностям!

— Что ж мне делать, капитан? Помогите.

— Я не могу и не желаю вам помочь; ваш поступок довольно черен, чтобы подавить всякое сожаление. Советую вам идти просто к полковому командиру, объявить ему, что я отнял у вас часть, сознаться в вине своей и просить на этот раз пощады. Наш полковой командир почтенный человек, с ним стыдно не быть откровенным. О поступке вашем, во всяком случае, он будет знать, ибо я никак этого не скрою.

Александр Петрович вышел в столовую и, обращаясь к черкесу, сказал:

— Пшемаф! Тотчас после обеда вы примете от хорунжего людей; да велите старшему уряднику приготовить от меня донесение к полковому командиру о числе казаков, своевольно отпущенных офицером, и просить распоряжения полковника, чтоб возвратили нам людей.

Потом он поклонился офицеру, который вышел вон.

— Какой мошенник!—заметил Александр Петрович Пшемафу.

— Как вам его не жаль?—отвечал последний,— он так беден, к тому же, молодец в деле.

— Вы мне не говорите о нем. Я знаю, он беден и из лучших боевых офицеров в полку, так пускай же будет и честен, а не взяточник. Прошу вас поверить казаков его сотни как можно точнее и объявить старшему уряднику, ежели он скроет хотя одного человека — дешево со мною не разделается. Между тем в нашей сотне прикажите узнать обо всем подробно; наш старший урядник — вот честный человек, и в деле никому не уступит!

— Отчего ж этому бедняку не помогает полковой командир? — спросил Николаша.

— Чем прикажешь? — отвечал Александр, — ведь с казачьего полка ровно ничего не получишь; между тем как жалованье одинаковое, столовых денег втрое меньше, чем в регулярных полках.

Тотчас после обеда Пшемаф ушел. Николаша, оставшись с братом наедине, велел подать посылку, привезенную им от бабушки, — это был портфель. Александр Петрович вынул из него два письма: одно от отца, совершенно дружеское; другое от бабушки, в котором старуха уведомляла, что, получив согласие зятя своего, она назначает ему в наследство имение, бывшее приданым матери и переданное старухе по купчей. Она писала об истинной любви к нему отца, но прибавляла, что мать, по-видимому, имеет что-то против него. Это обстоятельство вынудило старуху на назначение, которое она делает своему имению, из опасения, что из отцовского ему ничего не достанется, хотя зять и уверяет, что этого не случится. Она советовала Александру все-таки не надеяться на имение отца. К письму была приложена копия с духовного завещания старухи, засвидетельствованная Петром Петровичем.

Прочитав все, Александр лег в постель: его клонило ко сну. Николаша вышел в другую комнату и также лег; он долго думал на кровати, как бы удостовериться, справедлива ли молва об увлекательности линейных казачек?

Под вечер оба брата сидели и пили чай, когда к ним вошел низенький старичок, в простой черкеске, украшенный сединами и ранами. Радушие, изображавшееся в его чертах, внушало какое-то невольное уважение к нему. Александр, вскочив с места, почтительно сказал ему:

— Извините, полковник, что застали меня в шубе: после давешнего купания никак еще не согреюсь. Представляю вам брата моего, который сегодня приехал.

Старик наречием, доказывавшим германское происхождение, отвечал;

— Очень приятно познакомиться! А вы, Александр Петрович, напрасно не пьете сбитню; кроме того ложка рому, и все прошло бы. Под Лейпцигом я заболел лихорадкою, пил и английский пунш и немецкий глинтвейн — ничто не согревало. Я командовал гусарским эскадроном. Гусары меня любили. При рапорте вечером: «Вахмистр,— сказал я,— я болен; скажи адъютанту, у меня лихорадка». — «Слушаю, ваше благородие! Позвольте вылечить». — «Ну лечи, черт возьми!» Он взял стакан водки, насыпал туда горсть перцу и .сказал: «Кушайте на здоровье, ваше благородие!» — «Черт возьми,— отвечал я,— какое на здоровье — я издохну!» Выпил стакан, сильно опьянел и заснул. Просыпаюсь, вахмистр тут подает стакан сбитню с ромом

и опять говорит: «Кушайте, ваше благородие, на здоровье!»— «Фу, черт! Разве на смерть»,— сказал я и выпил; опять заснул; с тех пор всегда здоров. Нет, немецкие, французские и английские лекарства все вздор,— одно русское хорошо. Право, славное лекарство! — И добрый старик уселся. Александр приказал подать чаю.

— Полковник! — сказал он,— я сегодня погонял хорунжего, он верно жаловался вам на меня. Хотя мне до него дела нет; но я не хотел подвергнуться вашему негодованию за то, что людей своевольно распустили.

— Фуй! Вы чем виноваты? Я четырнадцать лет команду этими казаками и знаю, что во всем свете нет подобного войска; но и знаю их *блочи*: мы после поговорим; такой спектакль должен кончиться в полку между своими. Ведь этот хорунжий прехрабрый; он нужен в полку, а надо между тем и проучить его. Если представить теперешний поступок, с ним будет беда,— а я вот что думаю сделать: за другую вину отниму сотню и представлю его на шесть месяцев в Капыл, покормить комаров. За казаками, которых он отпустил, я уже послал и назначу их на целый месяц без очереди на кордон. Как вы думаете, Александр Петрович?

— Я думаю, для казаков это будет тяжело. Верно, домашний быт требовал их присутствия, поэтому они и решились откупиться деньгами. Если же хорунжего послать в Капыл, это совершенно его разорит.

— Фуй! Поверьте, бедный казак не заплатит, чтобы его отпустили; он усерден к службе, притом ему нечего дать; зажиточные

лентяи одни откупаются. Хорунжего — черт возьми! И сухаря по-жует, так не беда! Если по бедности дозволить им мошенничать, особенно во время тревоги, тогда вся служба пропадет: офицеры станут грабить свои сотни пуще черкес. В случае прорыва вы, Александр Петрович, с восьмьюдесятью казаками скачите за Кубань наперерез хищникам; туда же понесутся сотни прибрежных соседственных станиц верхней и нижней; у нас останутся только малые команды. Пшемаф с сорока казаками отправится по сакме, а из остальных я составлю резерв и, если нужно, пришлю к вам с одним орудием нашего полка. Говорят, у неприятеля сильное скопище; вероятно, прежде нескольких дней они не предпримут ничего важного, а теперь разве небольшие партии в сто или двести человек могут покуситься на грабеж.

— Давно ли вы на линии, полковник? — спросил Николаша у старика.

— Четырнадцать лет.

— И не надоело вам?

— Что же? Смолоду здесь скучал, да делать было нечего: служить в России я не мог.

— Почему же, полковник?

— О! Я там спектакль наделал. Наши отчаянные гусары много терпели от командира; наконец, потеряв терпение, вздумали его похоронить; заказали гроб, подушки для орденов и все нужное на погребение. В один летний день процессия прошла мимо его балкона; он послал узнать, кого хоронят, и получил в ответ: такого-то,

т. е. его самого. Разумеется, процессию до кладбища не допустили, а поворотили на гауптвахту; после этого никому из нас оставаться в корпусе нельзя было; кто вышел в отставку, а кто в перевод; я же попал на Кавказ. Когда явился к Алексею Петровичу⁴⁶, он тотчас же представил меня в командиры этого полка. Однако прощайте, господа, я заговорился, у меня есть дело дома.

Полковник ушел. Николаша спросил у брата, куда хочет старик послать провинившегося офицера?

— В Капыл, — отвечал Александр, — это пост в Черноморском войске, посреди камышей, где такая гибель комаров, что самые за-грубелые черноморские казаки и те изобретают всевозможные средства, чтоб укрыться от этих ничем не одолимых насекомых; туда посылают за наказание офицеров и нижних чинов.

Вскоре явился Пшемаф с полковым лекарем. Поставили стол. Подали карты и сели играть в преферанс. Старший Пустогородов, когда вошел урядник с рапортом, оставил карты, отдал все нужные приказания в случае тревоги и возвратился к игре.

46 *Когда явился к Алексею Петровичу... — Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — русский генерал от инфантерии и от артиллерии, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой войны 1812 года. С 1816 г. командир отдельного Грузинского (позже Кавказского) корпуса, главнокомандующий войсками в Грузии, одновременно посол в Иране.*

Возглавляя военную и гражданскую власть на Кавказе, Ермолов проводил жестокую колониальную политику. Вместе с тем выделялся независимостью суждений и оппозиционным отношением к аракеевскому режиму, покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам. В военном деле критиковал сторонников линейной тактика и кордонной стратегии, разоблачаемой на страницах романа «Проделки на Кавказе». С усилением реакции при Николае I был вынужден уйти в отставку в 1827 г.

Николаше очень не нравились собеседники брата. Привыкший уважать людей по богатству, по наружному блеску, по почестям, он не мог ценить этих простых, безвестных людей, проводящих жизнь в добродетелях без тщеславия, в доблестях без суетности. В его глазах никакой цены не имела жизнь этих людей, жизнь без блеска, соединенная с трудами, с ежечасными опасностями, с забвением собственных выгод. Эти простые стоические нравы казались ему невежеством. Ему не приходило и на ум, что уметь обманывать скуку, не предаваться порочным страстям в такой безотрадной, безвестной глуши — есть уже великая добродетель, нравственный подвиг, заслуживающий полное уважение человека мыслящего.

На улице послышалась повозка, свист и понуканье ямщика. Александр Петрович заметил неосторожность путешественников, едущих по ночам во время тревоги и подвергающих себя опасности. Едва проговорил он, как к нему вошел священник лет по крайней мере шестидесяти; высокого роста, свежий и сильный мужчина. Густые и совершенно белые волосы, тщательно расчесанные, стлались по широким плечам его; большие черные глаза, осененные густыми бровями, сияли умом и чистотою помышлений. Седая, окладистая борода закрывала верхнюю часть его груди. Осанка его внушала почтение; одежда состояла из опрятной рясы, без всякой пышности.

— А, Иов Семеныч! — воскликнул Александр, пожимая руку старика. — Откуда неожиданный гость? Поздненько! Жаль, не слышали, что я сейчас говорил насчет поздних путешественников в тревожное время.

— Я не виноват, мне дали лошадей совсем присталых⁴⁷, на силу четыре версты в час ехал.

Преферанс кончился. Покуда готовили стол к ужину, отец Иов и Александр говорили наедине. Почтенный пастырь пользовался всею доверенностью капитана и знал все его семейные дела. Александр дал ему прочесть полученные письма.

Николаша от нечего делать расспрашивал лекаря: откуда он, кто он, где воспитывался и пр.

Лекарь Кутья, березовский уроженец из Сибири, был сын городского священника. Воспитание его началось в отцовском доме и кончилось в Тобольской семинарии, откуда, по вызову желающих, он отправился в Московскую медико-хирургическую академию. Кончив курс, он был произведен в лекаря и назначен в Кавказский корпус. Лекарь Кутья сознавался в своих ограниченных познаниях вообще и в медицинских науках в частности, но не менее того слыл одним из лучших медиков, потому что был человек добросовестный, усердный в отпращивании своей обязанности и очень внимательный к больным. Частою практикою он приобрел большую опытность в лечении болезней, свойственных климату, которыми наполнялись госпитали и лазареты Кавказской линии. Нравственные добродетели его состояли в посредственном уме, большой начитанности, трезвости, бескорыстии и строгой честности. Главный недостаток нрава его была строптивость. Во всех сношениях с людьми ему чудилось неуважение или желание его оскорбить.

⁴⁷ ...дали лошадей совсем присталых...— т. е. усталых.

Наши собеседники сели за ужин. Николаша и лекарь не прекращали разговора, который сделался общим. Любопытен был рассказ сибиряка о езде на собаках, о прогулках на лыжах по льдыстым степям, о том, каким образом в Березове хлеб заменяется осетровым тельным, как толкут эту рыбу в порошок и делают из нее продовольственные годовые запасы; как жилые дома заносятся снегом и тем предохраняются от стужи. Дабы сразить своих слушателей противоположностью, лекарь заговорил вслед за этим о благодатном крае, известном под названием Сибирской линии, о прекрасном климате и богатстве природы, как например, Бухтарминской крепости, превозносил радушие и простоту нравов жителей; коснулся только слегка Восточной Сибири, знакомой ему лишь понаслышке, и в заключение с гордым видом сказал:

— Но я говорю о временах былых, истекших, о которых я все-таки с удовольствием и гордостью вспоминаю. Теперь Сибирь, мой родной край, преисполненный богатейшей будущности, неизмеримо двинулся вперед. Здесь, на Кавказе, я встречал людей степенных, бывших в той стороне позднее; рассказываемое ими превосходит все ожидания. Они-то, полные благодарности к Сибири, называют ее милым отечеством, а сибиряков — дорогими соотечественниками.

Александр Петрович, смеясь, спросил у лекаря, не скажет ли он того же в честь Кавказа?

— Я крайне удивлялся бы такому вопросу, если б не знал вашего мнения о здешнем крае, — отвечал он, — но теперь лишь оскорбляюсь вашими словами, видя в них насмешку над тем, что

священно мне. Не вы ли часто говорили? Здесь между людей редко встретишь человека! Расчеты, честолюбие, желание не заслужить, а выслужить награду поглощают все истинные добродетели, порождают презрительную и постыдную искательность, обращаются в одно всеобщее сплетение лжи, обмана и каверз.

Александр Петрович, желая прекратить разговор, чересчур откровенный, посмотрел на часы и заметил, что уже полночь. Собеседники молча докурили трубки, потом разошлись.

— Что это за священник? — спросил Николаша у брата.

— Это искренний друг мой, которого я очень уважаю, — отвечал Александр с важностью.

— А Пшемаф?

— Храбрый и честный кабардинец.

Николаша вынул из портфеля тетрадь и под статьей, начинающейся с того месяца и числа, где было им написано имя станицы, начертал следующие строки: «Вечер я провел у брата; играл в преферанс; гости были — седой русский священник, татарин и лекарь сибиряк».

Александр спросил, что он пишет. — Журнал моего путешествия, — отвечал Николаша, подавая брату тетрадь и показывая последние строки.

— Позволь мне дополнить, — сказал Александр.

— Сделай милость! — примолвил Николаша, протягивая перо; Александр прибавил следующее: «Эти три человека с душою, умом и добродетелями; четвертый был приезжий из России, наду-

шенный fashionable». После того он встал и, простясь с братом, пошел спать. Николаша, прочитав прибавленное братом, почувствовал всю неприличность своей насмешки над приятелями Александра и; желая обратить ее в шутку, а вместе сделать упрек брату, пошел к нему и сказал:

— Александр! Ты не докончил. — Я уже лег, спать хочется.

— Так я за тебя кончу; ты разумел — дурак без души. Не правда ли? Написать?

Пиши, что хочешь, — отвечал полусонный Александр.

III

Тревога

*...И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по берегам Кубани
Сбирать насильственные дани.*

А. Пушкин

Все были погружены в глубокий сон, когда человек вошел торопливо со свечою в комнату Александра Петровича и, разбудя его, сказал:

— Извольте вставать — тревога!

— На дворе темно?

— Зги божьей не видать, дождь моросит.

Александр вскочил с кровати, накинув халат, взглянул на часы — был в исходе четвертый, — вышел на крыльцо и, покуда ему обливали голову холодной водой, расспрашивал казака, прибывшего с известием о тревоге.

— Где неприятельская партия и в каком она числе?

— Не можем знать, ваше благородие! Казак с поста прискакал к полковнику; я стоял в это время у ворот и тотчас побежал дать вам знать. Говорят, хутора берут; в той стороне словно зарево.

— Нарядчики побежали ли по сотне?

— Как же, ваше благородие!

Послышался один, другой удар в церковный колокол, и зазвонили в набат. Станица ожила. Женщины бежали по улицам к церкви, бормоча: «О боже мой! Проклятые черкесы! Мати пресвятая богородица, спаси нас! Ой лышачки! Батюшки, что с нами будет!» и пр.

В станицах церкви обнесены оградой с бойницами — это род станичной цитадели. Послышался конский топот казаков, скакавших на сборное место, т. е. на церковную площадь.

Александр Петрович, одевшись так же, как мы его видели утром на большой дороге, вскочил на коня, ничего не отвечая Николаше, который в испуге приставал к нему с вопросами. Крикнув на Дыду, умолявшего взять его с собою на тревогу: «Не нужно! Оставайся дома!», он ударил плетью по лошади и понесся к сборному месту в сопровождении четырех казаков, его телохранителей. Там было печальное зрелище! Казачки всех возрастов целовались с ка-

заками, которые нагибались к ним с коней: каждая опасалась, что в последний раз целует сына, брата или мужа. Гул звона сочетался с рыданиями прощавшихся женщин, с криком урядников, устраивавших, сколько возможно, порядок. Капитан прискакал — заревел: «Стройся! Урядники, что зеваете, прочь бабье! К черту проклятых! Плетями гони их!» Везде раздался крик: «Стройся, проворнее! Не копать!» и послышался визг нескольких казачек, сваленных и помятых лошадьми урядников, устраивавших фронт.

— Старшего урядника сюда! — закричал капитан, и раздался крик: «Старшего урядника к капитану!»

— Здесь! — сказал голос, запыхавшись. — Что прикажете, ваше благородие?

— Построить тотчас сотню, да без этой суеты! Поверить и расчитать людей, как я тебе приказал!

Между тем сам капитан повернул лошадь, чтобы ехать к полковнику.

— Слушаю, ваше благородие! — отвечал урядник и, подъехав к сотне, закричал: «Смирно!» и начал поверять казаков.

Александр Петрович встретил полкового командира, шедшего по площади. Он слез с лошади, подошел к старику, но звон колоколов заглушал его голос.

— Станичный начальник! Вели перестать звонить. Черт побори! Заглушили! — закричал полковник офицеру, идущему за ним. Колокола замолкли. Старик отдал приказание всем собравшимся офицерам с точностью, которую одна опытность может вселить.

Несколько раз повторил он им, что коль скоро кто завидит неприятеля — тотчас начинал бы бой и открывал перестрелку, дабы остальные сотни могли слышать, где неприятель. Капитану повторил уже сказанное днем, а Пшемафу велел скакать по кордону, чтобы открыть переправу хищников и их следить.

Александр Петрович подъехал к сотне, спросил у старшего урядника, где команда, отсчитанная для Пшемафа, и приказал последнему принять ее. Потом он обратился к своим казакам, велел назначить урядника и с тылу расторопного приказного, чтоб не позволял людям отставать. Сделав эти распоряжения, он скомандовал:

— Смирно! В два коня направо рысью, марш! Правое плечо вперед, за мною! — И на рысях отправился к Кубани.

Переправившись за речку, частью вброд, частью вплавь, он уже на противоположном берегу закричал:

— Пошел! — И все поскакали. Несшиеся всадники без дороги, по степи, часто падали в ямы вместе с лошадьми; но так как ушибов по штату не полагается, то каждый упавший, проклиная темноту ночи и товарищей, которые наскочили на него и, пока он еще не успел встать, порядком помяли, опять садился верхом. Пустогородов не избегнул общей участи; он падал и был смят. Проскакавши верст около пятнадцати, он повел своих казаков шагом, чтобы дать вздохнуть лошадям, и тихо доехал до брода чрезвычайно топкой речки. Это задержало его немного; но потом он опять пустился вскачь, дабы успеть к рассвету приехать к броду другой речки. Основываясь на словах лазутчиков, приезжавших в тот день к полков-

нику, думали, что хищники чрез нее переправятся.

Но возвратимся в станицу. Едва выехали все команды, как с хуторов, лежащих верстах в пятнадцати от полковой штаб-квартиры, прискакал казак к полковнику, который ходил по плошали. Услышав конский топот, он громко спросил:

— Кто там едет?

— Казак, ваше высокоблагородие!

— Откуда?

— С хуторов.

— Что там у вас?

— Все хутора забрали, зажгли строения.

— Велика ли партия?

— Более тысячи черкесов.

— Что ты врешь, дурак!

— Ей-богу, ваше высокоблагородие! Нас было шесть конных казаков на хуторском посту; пятерых изрубили, мой добрый конь один ускакал — долго за мною гнались.

— Вот что значит добрая лошадь! А вас — черт возьми — еще не уверишь, что тот казак и молодец, у которого добрый конь. Станичный начальник! Велите запрячь орудие, хоть оба пускай будут готовы! Да резерву прикажите иметь лошадей в руках и не расходиться. — Полковник продолжал ходить.

Все женщины окружили приезжего казака и расспрашивали в один голос о Яковлеве, Петрове, Федорове, Николаеве, Сидорове и пр. и пр.

Прошло несколько времени, прискакал другой казак. Полковник спросил:

— Кто там и откуда?

— Казак, ваше высокоблагородие! Корнет Пшемаф приказал просить орудие. Он переправился через Кубань у поста*** (казак произнес какое-то варварское название), открыл черкесов и начал перестрелку, только их больно много.

— А сколько примерно?

— Не можем знать, ваше высокоблагородие, — темно, земля гудет от конского топота.

Старик закричал:

— Резерв на конь! Оба орудия садись! — Потом, обратясь к станичному начальнику, сказал:— Вы ступайте скорее с этим резервом к Пшемафу и вступите к нему а команду. Поезжайте на брод***, — и назвал пост варварского имени,

— Слушаю!— И старик хорунжий вскочил на лошадь, скомандовал:

— Пошёл за мною!

Полковой командир провожал их словами:

— Ну, с богом, хлопцы! Смотри, молодцами!

Все в один голос отвечали ему: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» Вслед за тем послышался конский топот, шлепанье казачьих плетей и гул катящейся артиллерии.

Солнце взошло, когда прискакал еще казак с известием, что недалеко за Кубанью слышна сильная пальба из орудий. Часа пол-

тора спустя приехал черкес из мирного аула к полковнику с вестью, что весь плен у хищников отбит, что сами они прогнаны и понесли большую потерю, между тем как несколько казаков ранено, что владелец мирной деревни выезжал со своими подвластными на тревогу, дрался с хищниками, и что, наконец, капитан Пустогородов с казаками и отбитыми пленными отдыхает в их ауле. При вопросе, в каком числе был хищнический отряд, черкес отвечал: более двухсот человек!

Часов в одиннадцать утра прибыл урядник, присланный от Александра Петровича объявить полковнику, что хищники прогнаны, а он идет назад с ранеными. При распросе о последних узнали, что их порядочное количество и что из офицеров ранен один он только.

Добрый полковник пошел тотчас на квартиру Александра Петровича предупредить Николашу, что брат его ранен, и предложить ему, вместе с тем, отправиться в коляске навстречу капитану, которому спокойнее будет доехать в экипаже. Николаша, несмотря на то, что не кончил еще туалета, с радостью принял предложение. Верстах в двенадцати он встретил Александра Петровича, бледного, окровавленного, однако едущего верхом. Александр не хотел согласиться пересесть в коляску, ссылаясь на неважную рану, и предложил брату заводную лошадь⁴⁸. Они ехали рядом. Казаки, следуя, пели песни; двое из них наигрывали на камышовой дудке арию волынки; между тем несколько человек, спешась, выплясывали по дороге русского трепака, а иногда что-то вроде лезгинки.

48 ...предложил... заводную лошадь, — Т. е, запасную.

- Один из телохранителей капитана, подъехав к нему, сказал:
— Ваше благородие! Не угодно ли будет видеть Алима?
— Согласен.

Два казака подъехали; один, корча горца, мастерски переразвивал звуки черкесского языка; другой, искусно коверкая русский язык, представлял переводчика. — Здорово, Алим! Откуда явился? — спросил Александр, улыбаясь. Казак поклонился по черкесскому обычаю, пробормотав какие-то черкесоподобные звуки. Мнимый толмач перевел их так: — Алим сказал — из немецкого окопа.

— Откуда?

— Моя не знает. Алим сказал — из немецкого окопа. — Тут он начал корчить, будто бы говорит с товарищем по-черкески; потом, обратясь к капитану, молвил: — Ваше благородие! Немецкий окоп то, что ваше изволит называть Прочный Окоп⁴⁹.

Александр, смеясь, заметил брату вполголоса: — Какие шельмы! Ко всему приложат; в Прочном Окопе все немцы, как и по всему нашему флангу. — Потом обратился опять к переводчику: — Ну, а генерал-то здоров? Доволен ли нашим сегодняшним делом?⁵⁰

⁴⁹ *Прочный Окоп* — укрепление на правом фланге Кавказской линии. В настоящее время — станица Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Долгое время в Прочном Окопе жил декабрист М. М. Нарышкин, чей дом был приютом для всех сосланных на Кавказ участников восстания, бывавших в станице. Ныне здесь, в материалах народного музея колхоза им. Кирова, хранится память о сосланных на Кавказ декабристах. На месте, где располагался дом Нарышкиных, установлена мемориальная доска.

⁵⁰ *Ну, а генерал-то... доволен ли нашим сегодняшним делом?* — Имеется в виду начальник правого фланга Кавказской линии генерал Г. Х. Засс, выведенный далее в романе под именем кордонного начальника.

Толмач передал слова капитана Алиму; последний про-
бормотал что-то. Переводчик сообщил это следующим образом:

— Алим говорит, генерал сказал — казак хорош дрался; чер-
кес подлец! А на капитан очень сердит; покажет ему своя дружба!

— За что же? — спросил Александр.

После обыкновенного повторения он получил в ответ:

— Алим говорит, генерал сказал — о капитан! Все свой ка-
зак любит! Все черкесская шашка, отбитая им, отдал, а был славный
шашка и ружье! Что бы мне прислать! Моя все-таки один *целков* или
полцелков дал бы, да казак в *придач крест* навесил — тот казак мо-
лодец, который отбил оружие! А *капитан* им плеть даст, говорит:
«Подлец, а не казак, *сзади мертвых* грабил!» Генерал сказал, этот
капитан ничего не понимает.

Тут мнимый Алим что-то стал бормотать, переводчик делал
несколько вопросов, наконец перевел:

— Алим говорит, генерал очень сердис на капитан, сказал —
фу, черт! До *сорок тел* убитых черкес и башка не привозил; что бы
велел *казак голова руби* и притрочить к седло; да еще черкес пятнад-
цать ранен; взял в плен, на кой черт их? Голова долой и мне прислал!

— К чему же генералу мертвые головы?

Генерал был родом из немцев, отсюда смысл переименования Прочного
Окопа в «немецкий». По свидетельству современников, Г. Х. Засс обратил
войну с горцами в особого рода спорт, без цели и связи с общим положением.
Отличался невероятной жестокостью. В 1842 году был удален с Кавказа. (См.
также примечание к с. 104)

В отряде генерала Засса несколько месяцев служил декабрист А. А.
Бестужев.

По переводе этого вопроса и по переговору с притворным черкесом переводчик отвечал:⁵¹

— Алим говорит, генерал славно сотовку⁵² делал черкеска голова: богатый голова плоти генерал два коров, бедно плоти один, два баран, голова возьми назад.

— А для чего генералу коровы и бараны?

После продолжительного разговора между мнимым черкесом и переводчиком Александр получил в ответ:

— Алим говорит, баран и коров все-таки худоба; у генерал вить в дальних крепость большой атара, много скот.

— Ты мошеник с Алимом, все врешь! — возразил Александр Петрович и, обратясь к брату, примолвил: — Однако я пересяду в экипаж; у меня делается жар.

Сев в коляску, Александр приказал старшему уряднику вести команду и, подходя к станице, позволить казакам стрелять. Это линейский обычай: казаки, возвращаясь в свои станицы с похода или погони, когда имели бой с неприятелем, перед входом открывают ружейную пальбу. Казачки выходят к воротам и встречают своих, нередко убитых или раненых. Странное зрелище этой толпы, в которой иные изъясляют шумные признаки истинной или притворной радости, другие под слезами и рыданиями оказывают искреннюю либо ложную печаль.

51 За Кубанью ввелся обычай между казаков отрезывать головы у убитых черкесов. Родные выкупают головы, потому что по туземным обычаям нельзя хоронить Тела без головы; поэтому-то занимающимся таковым горі ом гораздо выгоднее иметь голову, чем пленного.

52 Обмен.

Проводы казаков в поход ознаменовываются обыкновенно всеобщими слезами. Их провожают за станицу, подносят им водку и чихирь⁵³; отъезжающие и провожающие напиваются допьяна, плачут, обнимаются, рыдают и расходятся. То же самое можно видеть и в России, хотя в малом виде, при проводах рекрут из родного селения.

Оба брата приехали домой и нашли там черкесского лекаря, за которым посылал Александр Петрович в мирный аул. Он успел приготовить все нужное для перевязки. Дыду не поморщился, но слезы катились из глаз его. Айшат, увидев Александра бледного и в крови, закрыла лицо ручонками, и зарыдала, она царапала себе лоб и щеки ногтями, рвала волосы из-под чалмы — это обыкновенное изъявление печали и отчаяния всех горских женщин при смерти или несчастьи кого-нибудь из ближних. Александр успокаивал ее ласками и поцелуями. Его раздели, черкесский врач велел зарезать овцу, снять с нее кожу и обернул рану больного. Оказалось, что левая рука была прострелена на вылет выше кости, однако черкес нашел рану вовсе не важною, велел больному выпить рюмку водки и положил его в постель. Хотя Александра клонил сон, но он хотел непременно видеться с Кутьей. Оскорбленный лекарь, бывший в это время у полковника, только по настойчивому убеждению старика согласился идти к раненому. Войдя в комнату, он сказал:

— Только что узнал я о вашей ране, тотчас явился к вам со все-

53 *Чихирь* — кавказское красное неперебродившее вино, домашнего изготовления.

ми нужными припасами; но мне объявили, что черкес будет вас лечить, и я ушел. На что же нужен я вам теперь? Учиться я не намерен.

— Полно, любезный, сердиться, — отвечал Александр. — Чем же обижаться, что я по-черкесски хочу лечить рану? Положим — это моя странность! Но помогите, у меня спина ужасно болит; я ночью упал, казаки на меня наехали и стоптали.

Лекарь посмотрел поясицу; ушибленное место распухло и было совсем черно. Он послал тотчас за пиявками. Между тем вошел полковник и, сделав несколько вопросов о здоровье Александра Петровича, просил его рассказать, если он в силах, как было все дело, потому что ему нужно писать немедленно донесение.

Александр, собрав все свои силы, начал таким образом: — Я проскакал более тридцати верст, когда стало рассветать, и находился неподалеку от мирного аула, против большого кургана. Завидев вдали неприятеля, я оглянулся — со мною было лишь пять человек, прочие казаки тянулись сзади и едва были видны. Я послал одного из своих пяти гнать отсталых, а сам с четырьмя остальными поскакал вперед. Хищники нескоро в нас разглядели неприятеля; я нагнал их, они были в числе пятидесяти человек: тридцать везли пленных, другие служили прикрытием; лошади их сильно пристали. Я начал перестрелку. Не прошло десяти минут, как я был уже окружен казаками в числе сорока — истинные молодцы! Все в один голос умоляли меня идти врукопашную; я согласился и закричал: «В шашки! Ура!» Черкесы встретили нас ружейным залпом, но тут же поскакали, покидая стой плен; однако мы, настигнув их, изрубили несколь-

ко человек. Владелец мирной деревни выехал на тревогу со своими подвластными и крикнул на хищников, которые начали оставлять и последних пленных; между тем он сам бросился на них и возвратил наш косяк, который угоняли черкесы. Далее я не мог преследовать неприятеля, сбывшегося в лесу, а приказал собирать отбитых пленные в этой стычке у меня убит один казак и четыре лошади, ранено два казака и семь лошадей, в том числе и мой добрый конь. Хищники оставили несколько раненых и убитых лошадей, четыре тела и семь тяжелораненых черкесов. По расспросам отбитых пленных мы узнали, что только небольшая партия везла их, главное скопище осталось далеко сзади отбиваться от наших казаков, их преследовавших. Одна старуха, будучи привязана к седлу хищника, во время перестрелки была ранена и скоро умерла. По показанию возвращенных от неприятеля, которое утверждено было ранеными черкесами, оставшимися у нас, недоставало еще трех молодых казачек. Вероятно, пятнадцать хищников отстали с ними нарочно и берегли их для насилия. Я отвел тотчас отбитый плен, раненых черкесов и отвез наших убитых и раненых в мирный аул; двух казаков послал навстречу сотне, ожидаемой с верхней станицы, с приказанием присоединиться ко мне; а десять человек отрядил на поиск трех казачек. Едва прибыл я в аул, как один казак из числа десяти прискакал с известием, что к Кубани слышна пальба. Оставляя тут человек семь казаков с пристальными лошадьми, для прикрытия привезенных пленных и раненых хищников, я понесся на пушечную пальбу, послав сказать, чтобы ожидаемая сотня спешила за мною. Пересекая лес,

я встретил черкесов с тремя пленницами, отбил казачек и продолжал скакать, наткнулся на другую партию хищников, везших раненых товарищей, и перескочил через нее. Выехав из леса, я увидел команду Пшемафа, окруженную неприятелем. Горячая перестрелка кипела между ними. Приняв нас за неприятеля, наши пустили в нас ядро. Я закричал «ура!» и мы понеслись. Ожидаемая сотня, услыша пушечную пальбу и взяв напрямик, также скакала из-за леса. Пшемаф со своими спешился и молодцом дрался. Завидев меня и другую сотню, он закричал: «На конь!» и кинулся в шашки. При нем была уже и сотня из нижней станицы. Неприятель, объятый паническим страхом, пустился бежать прямо к речке, поблизости текущей; мы опрокинули его с кручи. Во время преследования я наскочил с шашкою на одного хищника, который прострелил мне из пистолета левую руку.

Таким образом составилась отряд из пятисот казаков и двух орудий. Я велел устроить носилки для раненых, числом более тридцати человек; лошадей мы потеряли до сорока. Неприятель оставил до двадцати трупов, погибших большею частью от ядер и картечи; сверх того, моя сотня изрубил в лесу человек до десяти. Четыре черкеса, раненные, оставшиеся у нас в плену, показывают, что партия их состояла из восьмисот абазехов⁵⁴ и берзек⁵⁵, отделившихся от большого скопища. Проводником их был беглый линейный казак, должно быть, Барышников.

54 Самое сильное закубанское племя.

55 Тоже закубанское племя.

Врач-черкес прислонил руку к щеке и, закрыв глаза, сказал: «Твоя гоклай», т. е. *спи*.

— Сейчас,— отвечал полковник,— но куда же дели вы отбитый плен?

— Забрав вновь раненых и всех казаков с пристальными лошадьми, я пошел со своею командою сюда, а Пшемафа со всем отрядом отправил за оставшимися в ауле пленными.

Я опасался, чтобы неприятель не напал опять на него в лесу. Он мне отдал свою лошадь, потому что для раненого мой конь слишком горяч.

— Хорошо, очень хорошо! Славное дело! Теперь отдохните, Александр Петрович. Я буду вас навещать, покамест прощайте.

Ослабевший Пустогородов тотчас заснул. Айшат сидела возле него по-турецки, т. е. сложив ноги под себя. Между тем крупные слезы выкатывались порою из ее глаз.

Вскоре Дыду тихо отворил дверь, подошел к Айшат, помог ей слезть с кровати, и оба вышли. После омовения по заповеди пророка они разостлали по коврику, и каждый на своем стал усердно молиться богу. Это была третья дневная молитва, которою правоверные должны призывать аллаха и единого истинного его пророка и которая означала четвертый час. Первый, называемый *ирты-намаз*, совершается на рассвете, второй — в полдень, третий — как.» сказано выше, четвертый — при заходе солнца, и, наконец, пятый — когда вечерние сумерки обратятся в совершенную тьму. Омывание всегда предшествует молитве. Накануне дети молились в ком-

нате Александра, который ежедневно напоминал им религиозную обязанность и наблюдал, чтобы они свято ее исполняли. В этот день они сами, без напоминания, усердно просили аллаха об облегчении страданий отца, дарованного им провидением. Чистые, юные души их нуждались в теплой молитве. Они клали намаз с полной верой, что молитва их будет услышана аллахом. Николаша, человек все не набожный, был поражен благоговением, выразившимся на лицах детей.

Когда они кончили и Дыду, обувшись, складывал ковры, он спросил у него:

— О чем вы молили бога?

— Мы не молимся богу,— отвечал ему Дыду,— мы призывали аллаха на Искандера (перевод Александра), чтобы он обратил на него свое внимание. Аллаха нечего молить. Он лучше нас знает, что нужно людям; но должно помнить аллаха, поклоняться ему и этим заслуживать его постоянное внимание. Да будет над нами его святая воля!

Айшат пробормотала: «Ла ил алла! Алла! Алла!», что значит: бог, един бог! Боже! Боже! — обыкновенное восклицание и песнь мюридов⁵⁶, одной из самых фанатических сект магометанства! Религиозное это общество водворилось недавно на Кавказ.

Николаша, отобедав один, сел писать свой дневник. Этот день

56 *Мюриды* — последователи мюридизма, реакционного религиозно-политического движения у мусульман, основанного на фанатической ненависти к инаковерующим и защищающего классовые интересы духовных и светских феодалов. Мюриды — мусульманские послушники — обязаны были беспрекословно повиноваться высшему наставнику (шейху или имаму).

был богат происшествиями и прервал однообразие памятной книжки светского модника. Само собой разумеется, он отметил, что во все время безотлучно находился при брате, поддержал его, когда он падал от раны, и давал ему полезные советы во время дела и пр. Таково сердце человеческое! Если нам некого обманывать, мы стараемся обмануть самих себя и радуемся своей хвастливости.

Александр еще не просыпался, когда Пшемаф возвратился. Долго разговаривал он на крыльце с черкесским врачом и, войдя в комнату, сказал Николаше:

— Слава богу! Александр Петрович выздоровеет и останется с рукою.

— Не знаю.

— Это верно. Черкесский врач мне сказал.

— Да полно, знает ли черкес что-нибудь?

— Как же! Он славно лечит, в тысячу раз лучше ваших лекарей. — Потом, обратись к Дыду, спросил: — Как бы мне сделать чаю?

Мальчик побежал.

Пшемаф предложил Николаше послать за полковым лекарем, чтобы втроем сесть играть в преферанс, но Пустогородов отказался.

— Ну, Николай Петрович! — воскликнул Пшемаф немного спустя, — какую славную черкешенку я видел сегодня; во что бы ни стало — она будет моею!

— Кто такая?

— Узденька владетеля аула⁵⁷, в котором оставались наши пленные.

— Как вы ее достанете?

— Заплачу калым⁵⁸ владетелю или пошлю ее украсть. Как бы то ни было, да достану ее: она будет моею.

— А в станице есть хорошенькие казачки?

— Нет. В новых станицах еще кое-когда встречаются. Впрочем, из числа увезенных с хуторов ночью есть три девочки очень недурные собою, от тринадцати до пятнадцати лет: но они были во власти хищников, изнасилованы ими.— И Пшемаф плюнул.

— Как, так молоды!

— Что за молоды! Черкесу не попадайся и десятилетняя! Однако и русские не отстают в этом отношении от черкесов — ведь на Кавказе все быстро поспекает; а в Персии, сказывают, еще скорее.

Николаша был очень доволен таким разговором, давно уже его помышления вертелись на этом предмете. Не станем повторять подробностей, все знают, какой оборот принимают такие беседы; заметим только мимоходом, что Николаша вскоре сблизился с Пшемафом, узнал, где молодой кабардинец стоит на квартире, и решил быть у него с визитом.

Александр Петрович проснулся. Айшат первая прибежала к нему и, взбравшись на кровать, стала нежно обнимать его. Черкес-

⁵⁷ Узденька владетеля аула...— Уздени — сословная категория; в Кабарде и Адыгее этот термин означал одну из категорий феодального дворянства: вассалов по отношению к старшим князьям.

⁵⁸ Плата, которую горцы вносят за невест, составляющая их приданое. В случае развода, если виновата жена, калым возвращается мужу; в противном случае, калым остается у жены.

ский врач пришел снять овчину и вложить в рану, которая очистилась от запекшейся крови, корпию с свежесбитым сливочным маслом; но раненый все был слаб и сильно страдал от ушибов.

Пшемаф весело вошел к больному и по черкесскому обычаю поздравил капитана с ранюю. Потом требовал непременно, чтобы при входе в его комнату положили топор острием к порогу, а на стол поставили тарелку с водою, в которую опустили бы сырое куриное яйцо. Черкесское суеверие! Врачи и родные во время лечения опасаются приближения к больному нечистого человека; под этим названием они разумеют чародеев и всех вообще злонамеренных людей. Народное поверье утверждает, что будто когда войдет подобный человек, яйцо в тарелке лопается; пришлеца тотчас выгоняют вон. Для развлечения своего пациента черкесский лекарь советовал послать в аул за певцами и музыкою, по его мнению весьма изящною, но несносною и неблагозвучною для европейского уха.

Александр Петрович, увидев Пшемафа, спросил, как он довел плен.

— Благополучно, — отвечал кабардинец, — да еще подшутил над неприятелем!

— Что такое?

— Пришел в аул, мы расположились на отдых. Только в это время один из моих кунаков вызывает меня и рассказывает, что житель той деревни, участвовавший в хищнической партии, сейчас возвратился домой. Я принял его за бока и узнаю, что все абазехи бежали без оглядки; но берзеки той же шайки, до 150 человек, отдыхают в лесу за речкой, лошади их пущены в поле на подножный корм.

Трое пасут табун; не более десяти имеют лошадей в руках на всякий случай; зарядов почти ни у кого нет. Я отобрал двадцать казаков, посадил их на лучших коней и отправился на берзеков. На трех табунных мы наскочили внезапно и, сначала принятые за своих, изрубили их. Мы угоняли косяк, когда на нас выскочило множество хищников. Конные преследовали нас довольно долго, наконец отстали. Возвратись в аул, я велел переловить лошадей и позволил казакам обменять своих коней; на остальных посадил наших пленных и таким образом прибыл сюда.

— Хорошо, что так кончилось, а если б у вас убили несколько казаков, чем бы оправдались?

— Я не возвратился бы живым, заставил бы себя изрубить. Сделайте милость, Александр Петрович, узнайте, как кордонный начальник представит об этом деле?

— Стоит ли того! Пускай пишут, что хотят.

— Убедительно прошу вас, сделайте эту милость! Ведь захотите — все узнаете.

— Пожалуй, постараюсь.

Пшемаф взял ручонку Айшаты и сказал: «Напомни, джана⁵⁹, Искендеру». Девочка приветливо улыбнулась, кивнув головою; потом стала перебирать усы Александра.

Никого не было в комнате Пустогородоаа, когда вошел печально отец Иов. Несколько раз уже приходил он к приятелю, но тот все еще спал. Старец крепко пожал руку Александру и сказал:

59 Милая.

— Я пришел к вам на всю ночь; все заснут, некому будет о вас побеспокоиться.

— Как некому? — воскликнул из-за двери кабардинец, — а я!

— Благодарю вас, Пшемаф! — отвечал Александр. — Нет, ступайте спать, вы устали, проведя всю ночь на коне — вам нужен отдых.

— Ничуть не устал! Я выспался верхом, едучи обратно из аула, и даже видел чудесный сон.

— Хорошо! Однако ступайте-ка домой, завтра же милости просим опять ко мне.

— Ну так прощайте! — сказал Пшемаф и вышел с Николашей.

Александр Петрович кликнул слугу и спросил, много ли должны в лавку. На ответ «более двухсот рублей» он приказал забрать еще нужной провизии рублей на сто и на следующий день велеть лавочнику явиться к нему. Слуга вышел.

— Славно надую армянина, — сказал, улыбаясь, Александр священнику, — он будет думать, что я зову его получить деньги, а я отопрусь от долга.

— Возьмите у меня денег, если вам нужно, — возразил священник, — между нами, кажется, расчетов не бывало.

— Благодарю вас, я не нуждаюсь в деньгах — это дело совсем другого рода.

Свет огня беспокоил раненого. Он просил позволения у отца Иова поставить ночник вместо свечей.

Когда тело слабеет, обыкновенно упадает и дух — это случилось и с Александром, душа которого была закалена опытом. Жар, всегдашний спутник ран, томил его; тусклое освещение комнаты,

оставляя предметы в полумраке — все вместе ввергло больного в уныние.

— Вот, Иов Семеныч! — сказал он, тяжело вздыхая, — желал я быть ранен, воображал, что острые страдания заставят меня наконец, так сказать, ощутить жизнь, пробудят к чувству хотя чисто физическому. Ничего не бывало! Боли нет, лишь одна несносная, неодолимая тоска меня терзает. Как все надоело мне! Как скучно! Зачем не убили меня?

— Бог с вами, Александр Петрович! Что за малодушие? Впервые я вижу вас в таком виде! Ужели вы таили в себе безнадежность?

— К чему показывать ее? В чьей душе отзовется она? Кому какая надобность знать о ней? Разве для того только, чтобы подарить меня притворным сожалением? Но я предпочту ненависть даже искренней жалости.

— Верю! Быть может, письмо бабушки родило в вас такие отчаянные мысли? Конечно, тяжело убедиться в недоброжелательстве матери! Но поможете ли вы этому малодушием?

— Отец Иов! Выслушайте меня; давно уже я отчужден от своего семейства, от родины — я один в мире! Доказательством может служить брат мой. Вот он здесь, я не имею причин не любить его, потому что почти не знаю его; между тем я не нахожу, о чем с ним говорить. Иные чувства, иные мысли, иные привычки, иной круг людей расторгли все связи между нами — это неоспоримая истина; но не я в том виноват! Судьба, одна судьба всему виною! Она отчуждила меня, оторвала от всего, с чем на мгновение сроднила.

— Нет, не судьба, а рана и потеря крови причиною, что вы в дурном расположении духа.

— Да, рана заставила меня убедиться более, чем когда-нибудь, в справедливости моих суждений. Возьмите всю жизнь мою: рожденный с пылкой душой, едва расцвел я, как увлеченный легкомыслием, попал под правосудие законов и был низвержен в низшие ступени общественного быта. Впоследствии времени семейные огорчения охладили во мне чувства к ближнему. С восторгом понесся я в бои, надеясь, что сильные ощущения и опасности пробудят мою нравственную усыпленность и честолюбие будет целью бытия. Не ошибся я — опасности занимали меня мгновенно. Но и к ним я привык, сделался равнодушен к опасностям; честолюбие немного долее жило во мне, и оно затихло после часто обманутых надежд. Сначала я чувствовал неизъяснимое омерзение к трупам, остающимся после битвы; по крайней мере ощущал хотя неприятное чувство. Скоро я так свыкся с ними, что мог есть над трупами, употребляя их вместо стола или камня, садился на них, клал их в изголовье, когда спал. Нередко даже завидовал спокойствию, изображавшемуся на лицах убитых. Ужели утрачены для меня все чувства? — подумал я: люди влюбляются и счастливы! Я предался всей силой страсти к одной женщине, был минутно счастлив ее привязанностью, но убедился, что такое счастье неразлучно с грустью; но прошла и любовь, — что же стало из меня? Я седой старик с кипящей кровью, с горячею душой, без страстей, без любви, без ненависти к людям, старик, которому все наскучило, ничто не мило и который убежден, что никому не нужен.

— Но совесть должна успокоить вас: вы превозмогли много бедствий и остались нравственно безукоризненны — это великий подвиг!

— Конечно, можно почитать подвигом, что я не сделался мер-

завцем! — отвечал, презрительно улыбаясь, Александр.

Отец Иов дал другой оборот мыслям своего приятеля, рассказавши ему какую-то повесть.

Разговор друзей и повествование отца Иова длились долго за полночь. Пустогородов напрасно упрашивал отца Иова идти к себе домой; добрый священник провел всю ночь возле раненого и только к рассвету отправился служить заутреню.

Александр долгое время не мог сомкнуть глаз; наконец сон овладел им. Николаши всю ночь не было дома.

IV

Сновидение черкеса

*The Spirits were in neuter space, before
The gate of heaven; like eastern thresholds is
The place where death's grand cause is argued o'er
And souls dispatched to that world or to this.*

Byron. The vision of Gudgeum⁶⁰

60 В эпитафии — цитата из «Видения Суда» Д. Г. Байрона (строфа XXXV).

Итак — на почве, в сущности, нейтральной
Они сошлись, где роковой порог,
Там смерть отбор проводит inferнальный,
Бесплотных конвоируя в острог.
Перевод Т. Гнедич

Покуда Пшемаф и Николаша сидели вместе, в ожидании посланного ими искать по станице казачек, последний, не зная, какой завести разговор с молодым черкесом, спросил о его сне при возврате с тревоги на Кубани.

Пшемаф закурил трубку и начал следующим образом: — Вы не знаете Кавказа, поэтому не можете себе представить, что такое в здешней стране весенний вечер в горах. Воздух хоть и тепел, но какая-то животворная свежесть не допускает его сделаться тягостным, удушливым; солнца, скрывшегося за исполинскими громадами, не видно, только ущелье освещено отблеском яркого неба. Дивная картина! Ветра вовсе нет; природа спокойна; благовоние распускающихся деревьев и растений тихо воздымается вверх, лишь горный ручей, несясь по каменистому руслу, журча прерывает тишину природы, и пташка, скрываясь в ветвях прибрежного куста, поет перед вечернею зарею. Все это вместе, сочетаясь в одно прекрасное целое, чарует воображение и растворяет сердце — такова наша страна, таковы наши родные ущелья! Мне чудилось, что был подобный вечер, когда я вдруг перенесся в седьмое небо — седалище пророка! Там предстал я пред родового своего князя Жам-Бот Айтекова, который среди вечных благ и радостей сиял, как сияет невинная жертва коварства людей. Его окружали гурии. Их волшебный стан, восхитительная красота возбуждали непрерывные желания, всегда удовлетворенные и вновь возобновляемые. Среди них была одна, которой черты напоминали мне черкешенку, меня в тот день пленившую; но она была озарена блеском, присвоенным

одним девам рая. Ничего земного не было в ней; взгляд ее, чуждый томности, как и беглости, соединял в себе то и другое, но без всякого излишества. Она устремляла взор свой, полный небесного выражения, и каким-то чудным магнетизмом рождала трепет в сердце; слияние двух взоров было источником неизъяснимой неги, невыразимых наслаждений! Скоро я узрел пророка, который предстал на суд смертных, кончивших земное поприще. Незримые хоры гурий и юношей наполняли все пространство сладострастными звуками: «*Ла ил алла! Мугмет резул ил алла!*» Один чистый, звучный голос отличался от прочих; в божественном восторге он пел бегство из Медины, начало Эгиры. Все замолкло. Начался суд. Пред лицо пророка — предстал высокий смертный. Это был пришлец от стран Запада, беловолосый, с длинными рыжими усами. Я не успел рассмотреть его черты, потому что мое внимание обращено было на самого пророка, который грозно вопрошал смертного, указуя на Жам-Бота — узнает ли он одну из многочисленных жертв, погибших от его злодеяний? «Не ты ли, о смертный! — говорил Магомет, — старался утопить Жам-Бота среди кармаков и, не успев в этом, обласкал его, принял гостеприимно в своем доме, а сам, коварный, подослал подкупленных убийц стеречь в кустах выезжавшую жертву и умертвил его?» Иноземец смутился, но скоро стал оправдываться, говоря, что Жам-Бот возмущал народ, грозил восстанием. Пророк гневно отвечал: «Неправда! Жам-Бот был добродетельный муж, любимый и уважаемый единоземцами; доказательством тому служат потоки слез, пролитые народом по его смерти. Ты, смертный, злодейски

купил кровь его! Ты завидовал богатству Жам-Бота, которое теперь тобою расхищено! Ты решился быть его убийцею, потому что опасался этого праведного мужа, который мог обличить тебя пред людьми во многих злодеяниях, в жадности и других пороках!» Судимый очнулся, смятение его исчезло; он стал возражать, что не подлежит суду пророка, ибо не признавал святости, а попал в седьмое небо по ошибке людей, отказавших ему в погребении. Правосудный пророк приказал тотчас рассмотреть дело и справиться в четвертом небе, справедливы ли показания смертного. Между тем, смертный, пользуясь временем, старался разными ухищрениями — лестью, наглой ложью, обещаниями, словом — всеми средствами, которые на земле очаровывают и увлекают людей, привлечь к себе ликующих в седьмом небе. Явилась и справка. Четвертое небо уведомляло, что судимый смертный уже давно известен как богоотступник, человек без правил, без нравственности — за все злодеяния отвергнут четвертым небом. Магомет, выслушав этот отзыв, приговорил грешника не подлежать никакому суду, а быть возвращену на землю с тем, чтобы все средства вредить людям у него были отняты. Длинный нос смертного начал уже заметно расти, когда его низвергли внезапно в болотные камыши. Звуки незримых хоров опять возобновились. В это мгновение подъехавший ко мне казак сказал: «Ваше благородие! Не туда изволите ехать; дорога лежит направо». Я проснулся.

Едва Пшемаф кончил свой рассказ, как посланный им возвратился с вестью, что все готово. Собеседники вышли вместе из дому и расстались на улице. Проводник повел каждого под сарай, где ожи-

дали их роскошные постели из вязанки сена, брошенного в телегу или сани.

V

Кавказский Фуше⁶¹

На следующее утро, когда черкес перевязал рану, Александр послал за лавочником.

Скоро к раненому явился косою смуглый армянин, у которого из-за густых бакенбард, скрывавших полноту щек, и черных длинных усов, осенявших тонкие губы, вздымался огромный, багрово-синий нос; опухшее, вздувшееся лицо лавочника убедительно доказывало, что он горячо пил самые горячие напитки. Одежда армянина состояла из синей черкески, изукрашенной серебристым галуном; грудь и плечи испещрены были красным сафьяном.

— Ты принес счет? — спросил Александр.

— Как же, ваше благородие! Дай бог здоровья, право, очень надо деньги.

— Я призывал тебя вовсе не для получения денег, а для того,

61 *Кавказский Фуше.* — Имеется в виду генерал Г. Х. Засс (кордонный начальник). Жозеф Фуше (1759—1820) — французский буржуазный политический деятель. Беспринципный карьерист, жестокий каратель, циничный и расчетливый мастер политической интриги.

чтобы объявить тебе: ежели ты не захочешь исполнить одного моего приказанья, так ни гроша от меня не получишь.

— Как же! Моя знает, ваш всегда шутит; а право, дел плохо, должник много, никто не платил — совсем разорение!

— Врешь, армяшка! Не должники разоряют вашего брата, а казачки — вы до них больно лакомы! Они-то, уверяя, что грех иметь дело с армянином, дерут с вас напрапалую.

Знай же, если ты не исполнишь моего требования — я объявлю в сотне, что беда тому казаку, у которого жена, сестра или дочь свяжется с тобою.

— А что ваш благородие приказал будет?

— Вот что: возьми эти три червонца и отправляйся в штаб-квартиру кордона; там достань мне копию с донесения, сделанного начальником о деле, в котором я был ранен.

— Как можно, ваш благородие! Моя никак нельзя это сделал — ей-богу! Вот счет, пожалуйста, ваша мне деньги дай.

— Я тебе, мошенник, уже сказал и опять повторяю, ни копейки не получишь, покуда не сделаешь, чего желаю! Отопрусь от долга и отдам приказание в сотню.

Армянин, кладя счет на стол, молвил улыбаясь:

— Моя знает, ваш благородие всегда шутит.

— Что за шутки с подлым армяшкою! — гневно возразил Александр. — Берись сейчас за мое поручение или пошел вон, мерзавец!

Армянин вышел.

Александр взял счет и прибавя: «Такого-то числа по сему счету уплачено мною четыреста рублей; остаюсь должен одиннадцать рублей», — подписался внизу. После того он велел призвать к себе одного казака и приказал ему изведать непременно, с которою из казачек живет лавочник. Казак скоро возвратился с удовлетворительным ответом: армянин был в связи с Марковною. Пустогородов, наградив исполнителя поручения, запретил ему рассказывать, зачем был призван к капитану; между тем послал за казачкой.

Ежедневные посетители раненого сидели все у него, когда слуга доложил, что пришла Марковна. Александр просил своих гостей оставить его на несколько секунд наедине с нею. Отец Иов, выходя из комнаты, увидел краснощекую молодую женщину. Он возвратился к больному и стал уговаривать его не пускать казачки к себе, объясняя свои опасения; но Александр успокоил доброго старца, заверив его, что свидание с казачкою имеет совсем иную цель, нежели думает священник. Отец Иов вышел. Марковну впустили.

— Здорово, Марковна! — сказал Александр, играя тремя червонцами.

— Здравствуйте, ваше благородие! — отвечала казачка, — зачем изволили посылать за мною?

— Дело есть до тебя, молодушка! Посмотри-ка в той комнате, нет ли кого?

Глаза казачки засверкали, обращаясь то на Александра, то на червонцы. Скрывая радость под притворной стыдливостью, она взглянула в другую комнату и сказала:

— Никого нет-с.

— Ну так подойди поближе ко мне.

— Зачем мне ближе подходить!— молвила молодка, опустив глаза и подергивая платок.

— Взять вот эти деньги.

— За что же я возьму от вас деньги, ваше благородие? Нет, мне не нужно их: у меня муж беда как ревнив, до смерти заколотит!

Между тем глаза Марковны устремлены были на червонцы.

— Врешь, дура! Мне не станет ревновать, даже если б в самом деле был ревнив. Ну, иди же сюда; ведь я ранен, не могу встать.

Бочком, ломаясь и будто нехотя, казачка подходила, спрашивая протяжно: — Да зачем же пойду?

— А вот зачем! — отвечал Александр, когда она была уже возле него. — Выслушай меня: ты живешь с армянином-лавочником?

— Как можно! Право нет, ваше благородие! Вам напраслину на меня сказали.

— Слушай же, да молчи! Мне какое дело! Хоть бы с чертом жила.

— Напрасно, право напрасно.

— Слушай, говорю тебе! Возьми вот эту бумагу и положи ее в ящик, где хранятся деньги лавочника. — И Александр подал ей счет армянина. — Если ты согласна исполнить это, в таком случае возьми себе три червонца; между тем скажи лавочнику, что тебе запрещено ходить к нему, под опасением строгого взыскания с твоего мужа; а тебе это будет выгоднее, он станет давать больше денег. Бери же червонцы!

— Слушаю, ваше благородие! Я скажу мужу, чтобы он исполнил ваше приказание: мой хозяин дружен с лавочником.

— Делай как знаешь! Но разве ты не боишься, что муж тебя ко мне приревнует и побьет?

— Наши казаки вас чтут, словно отца: ничего для вас не пожалеют.

— Очень рад этому; только не думаю, чтобы они захотели меня в свояки.

— Э, ваше благородие! У казаков одна пословица: «паши хоть сохой, хоть плугом, урожай все-таки наш!» Ну, где казаку думать о жене? Он всегда или на посту, или в походе; лишь бы дома было что поесть да выпить, когда отпустят; остальное все равно!

— Спасибо, Марковна! Когда выздоровлю, припомню тебе эти слова; что-то скажет армяшка? — сказал, улыбаясь, раненый.

— Право, напрасно, ваше благородие! Дай господь вам скорее оправиться! Прощения просим, ваше благородие!

— Прощай, Марковна! Когда исполнишь мое приказание, тогда принеси к человеку моему десяток яиц и вели подать их мне, а я вышлю деньги за них, только чур никому не болтать, иначе я точно рассержусь, пожалуйюсь мужу твоему да научу его порядком тебя поколотить: уж прошу не прогневаться!

— Слушаю, ваше благородие! Никому ни слова не скажу, а бумага нынче же будет в ларце у армянина.

Казачка вышла. Пшемаф, поймав ее на дворе, стал с нею заигрывать, но Марковна вырвалась и убежала.

Александр, чувствуя себя легче, не хотел долго лежать, он встал с постели и играл даже в преферанс. Маленькая Айшат сидела у него на коленях и держала карты.

Привязанность к нему двух пленных детей удивляла присутствующих. Отец Иов, любуясь попечениями Александра Петровича о сиротах, спросил его, почему он не окрестит их?

— Когда они достигнут полного возраста,— отвечал Пустогородов,— и захотят сами принять христианскую веру,— прекрасно! Но принуждать их к этому, по моему мнению, не должно. Надобно по собственному убеждению быть христианином, а они в таких еще летах, что никакого суждения иметь не могут; притом я не желаю впоследствии заслужить от них укора в том, что заставил покинуть веру отцов и прадедов.

На следующее утро Николаша еще спал, Александр ходил по двору с Айшатою и Дыду, когда казачка принесла яиц.

— Здорово, Марковна! Исполнила ли мое поручение?

— Здравствуйте, ваше благородие! Как же, исполнила; бумага лежит в ларце. Лавочник с ума сходит от запрещения вашего бабам ходить к нему, хочет идти жаловаться полковнику.

— Пускай его идет.

Александр приказал заплатить за яйца и тотчас послал за Пшемафом. Когда последний пришел, Пустогородов просил его идти в лавку армянина будто бы для проверки своих расходов, а сам послал туда же своего слугу с одиннадцатью рублями, следующими по счету, с требованием, чтобы получение этих денег было немедленно отмечено.

Пшемаф сидел в лавке, когда слуга принес одиннадцать рублей от капитана Пустогородова. Армянин удивился и спросил, что это за деньги. «Долг барина, — отвечал слуга, — отметь-ка, что получил». Тщетно клялся армянин, что счет находился у Александра Петровича, слуга не отставал от него. Пшемаф, свидетель спора, наконец обратился к лавочнику и сказал:

— Да посмотри в своих бумагах! Армянин открыл свой ларец.

— Извольте, — сказал он, — сам смотри, ваш благородие! — И развертывая сверху лежащую бумажку, подал ее кабардинцу.

— Ну вот — это оно самое и должно быть! Внизу отмечено капитаном, что им вчера тебе все заплачено, исключая одиннадцати рублей.

Лавочник открыл изумленные глаза.

— Когда заплатил? — спросил он. — Как эта счет сюда пришла? — и взглянув на бумагу, удостоверился в истине сказанного Пшемафом. Он отправил слугу с деньгами обратно к капитану и велел сказать, что придет тотчас сам объясниться. Слуга возвратился и рассказал все Александру. Вскоре явился и армянин, совершенно расстроенный.

— Ваш благородие! — робко молвил он, — что ваша, моя хочет совершенно разорить! Возьмите этот счет из жалости: вить моя деньги не получал.

— А какая тебе польза, если я возьму твой счет? Ведь ты вынул его из своего ларца при Пшемафе, следовательно, не можешь доказать, что не получил денег; только заставишь этим своих должников

сомневаться в твоей честности. Я тебе объявил вчера, на каких условиях можешь получить свои деньги, стало быть, нечего и толковать. Отправляйся, исполни мое поручение: чем раньше ты его сделаешь, тем скорее получишь деньги. Видишь, я мастерски умею держать обещание; так знай же, если ты проболтаешь кому-нибудь, что я тебе вчера сказал, так ожидай мести и тогда пеняй на одного себя! Ступай, мне нечего с тобою более говорить.

Несколько дней спустя Пшемаф получил известие, что черкешенка, его пленившая, назначена владельцу в наложницы. Между тем носились слухи, будто владетельный князь намеревается отхлынуть в горы и освободить себя от подданства русскому правительству: такие известия сильно потрясли Пшемафа. Его черкесская, пламенная душа возмущалась при стечении стольких препятствий в желаниях; сердце сжималось при мысли о бедствиях, ожидающих его соотечественников, если они бегут. С одной стороны, они будут теснимы племенами, у которых найдут убежище; с другой, над ними повиснет грозною тучею справедливое мщение.

В самом деле, ужасна участь племени, уходящего в горы и покидающего родное пепелище! Но какие сильные побудительные причины должны вызвать его на это! Слава богу, что не часто случается.

Кордонный, приехавший в станицу, поручил сделать выговор Александру за то, что он не представил ему неприятельских голов после последнего дела и тем лишил своего начальника средства получить значительный выкуп, весьма бы кстати случившийся

по скудности казенной суммы на экстраординарные расходы, и он приказал еще сказать капитану Пустогородову, что он раскается, но поздно, в своем труполобии.

Александр смеялся этому, тем более, что он ожидал со дня на день перевода на другой фланг. Давно уже ему не нравились несправедливость и низкие расчеты кордонного, который носил с собою запасы приветствий к прикомандированным приезжим, дабы они превозносили его в России; доставлял им и немногим любимцам своим награды за чужие подвиги; между тем как в деле выезжал всегда на коренных кавказцах.

Капитан сидел у себя, когда вошел к нему лавочник-армянин; с улыбкою самодовольства на лице, молча, он подал бумагу.

— Полно, то ли привез? Не надуваешь ли ты меня? — спросил его Александр.

— Ей-бог! То, ваше благородие! — отвечал лавочник. Пустогородов тотчас вынул кошелек и заплатил старый долг армянину, который следил глазами золото, отсчитываемое капитаном.

— Ваш благородие! Право, моя издержал своих пятьдесят рублей достать эта бумага.

— Вот тебе семьдесят пять.

— Покорно благодарю, ваш благородие! Лучше честный человека капитан, ей-бог, моя не знает! Да, ваш благородие, еще одна дела: можно сказать, приказание ваш дал в сотню, теперь уже не надо.

— Черт с тобою! Делай, что хочешь, мне все равно!

— Покорно благодарю, ваш благородие! Право, славный капитан! Дай бог ему скорей здоровья! — пробормотал армянин, выходя.

Александр послал за Пшемафом и отдал ему при отце Иове привезенную лавочником бумагу. Смеясь, он сказал:

— Читайте. Вы желали видеть представление о нашем деле — вот оно.

— Как вы его достали? Ведь оно пишется чрезвычайно секретно. Впрочем, кордонный, потрепав меня по плечу, спросил, какую награду я желаю, я вас обещал полковнику представить отлично; наш почтенный старик с живым участием благодарил его.

— Читайте вслух. Пускай отец Иов слышит, как кордонный славно представляет.

Пшемаф читал. Донесение начиналось так: кордонный начальник, узнав посредством своих лазутчиков о скопище из восьми тысяч человек, намеревавшихся прорваться в наши границы, наскоро собрал отряд, состоящий из тысячи ста казаков и двух конных орудий. Удостоверясь прежде, на каком именно пункте неприятель готовится прорваться, послал с вечера капитана Пустогородова с тремястами казаками в такую-то черкесскую мирную деревню, чтобы, во-первых, отрезать хищникам отступление через брод, служащий обыкновенно переправой возвращающимся с грабежа черкесам; во-вторых, дабы поспешить на выстрелы и напасть на неприятеля в тыл, если ему вздумается драться с партией, высланною на его преследование. Еще триста казаков отделены были им, дабы

занять берега закубанской речки, через которую пролежала дорога для хищников на возвратном пути. Эту команду поручил он... (тут назван был один из его неотлучных любимцев). Третью партию под начальством другого любимца переправил он на левый берег Кубани, чтобы занять другую переправу через небольшую речку, куда неприятель мог кинуться и скрыться в камыши. Сам кордонный начальник с двумястами казаков и двумя орудиями ожидал на кубанском броду.

Часа за два до рассвета хищники подъехали к Кубани и начали переправляться по своему обыкновению, т. е. двое верховых остановились посреди реки, держа ружья наизготово, другие два продолжали следовать и, подъехав к нашему берегу, быстро выскочили; в это мгновение залп из казачьих ружей поверг обоих на землю бездыханными, в ту же минуту выстрелы из обоих орудий положили много горцев, остававшихся на противоположном берегу. Неприятель, убедясь, что он открыт, стал отступать; кордонный начальник кинулся со своим отрядом, вплавь через Кубань и открыл перестрелку, но неприятель, удаляясь медленно, продолжал упорно защищаться. Наконец на рассвете, видя малое число казаков, его преследующих, он остановился и окружил наш отряд; однако выгодное место, избранное кордонным начальником, дало войску возможность обороняться. Два часа оставался он в таком положении; капитан Пустогородов, по трусости или по непростительной медленности, слыша неумолкающую перестрелку и пальбу, ехал тихо, поджидая третью команду, отправленную за Кубань, за

которую он своевольно послал. Положение кордонного становилось уже отчаянно, когда офицер, бывший со второю командою на берегу закубанской речки, слышавший упорный бой и предполагая, что его появление даст выгодный оборот сражению, понесся со своими людьми к месту, где слышалась пальба, и, ударив неприятелю в тыл, привел его в совершенное смятение. В это мгновение кордонный начальник бросился в шашки со своими казаками и обратил хищников в бегство; тогда только прибыл капитан Пустогородов, загладив вину свою ранюю, полученною им при преследовании неприятеля. Хищники потеряли до пятисот человек, которых тела остались все в наших руках; в числе убитых находятся знатнейшие из предводителей горских народов; сверх того, неприятель покинул множество раненых и убитых лошадей; полтора ста отбито с седлами: из последних — сто кордонный начальник роздал казакам, потерявшим своих во время дела, а о пятидесяти остающихся испрашивал разрешение, куда девать. В заключение донесения было поименно свидетельствовано об отличии, оказанном прикомандированными офицерами, прибывшими участвовать в экспедиции.

Тут капитан Пустогородов захохотал, у Пшемафа навернулись слезы.

— Куда же делись еще сто лошадей? — спросил кабардинец после минутного молчания. — Ведь я сдал одних оседланных полтора ста.

— А лазутчиков-то наградить надо чем-нибудь! — отвечал Александр с язвительною улыбкою.

— Делать нечего! — сказал Пшемаф, — хотя позорно черкесу быть доносчиком, но на первом инспекторском смотре буду жаловаться.

— Сделаете только себе вред, — примолвил Пустогородов.

— Каким же образом? Разве я не имею явных, неоспоримых доказательств, что все это лишь наглое вранье?

— Оно так! Да ведь это донесение пойдет от одного начальника к другому, следственно, уважив вашу жалобу, всякий из них должен сознаться официально, что дался в обман! Притом все прикомандированные читали донесение; их личная выгода поддерживать написанное. Но наконец — положим, вы вселите сомнение, захотят узнать истину, пришлют доверенную особу: кордонный начальник в угоду ей импровизирует экспедицию, в которой доверенное лицо будет участвовать. Блистательное представление о нем, искательность кордонного начальника поработят признательную душу приезжего, и этот напишет: «Хотя донесение несколько и хвастливо, но дело однако было точно славное! Достоверного узнать я не мог ничего по причине различных показаний допрашиваемых». Кончится тем, что вы останетесь в дураках, приобретете много врагов; а вымышленные подвиги кордонного будут по-прежнему печататься в «Allgemeine Zeitung».

— Ужели вы, Александр Петрович, не оскорбляетесь такую на вас клеветой?

— Если б и оскорблялся, к чему послужило бы это сознание? Совесть и товарищи ни в чем меня упрекать не могут; знакомые не

поверят клевете, до незнакомых мне дела нет; к тому же в настоящее время трусов не существует. Вот если б меня отдали под суд, тогда я стал бы поневоле оправдываться.

— Да вы ничего не получите!

— Пшемаф! Это будет не в первый и не в последний раз; разве со мною одним это случается? Зато вы видите, как я служу, лишь бы только не могли придраться ко мне: впрочем, брань и хула нечестного — хвала честному.

Доложили о полковнике. Пустогородов приказал просить его, взяв с Пшемафа слово молчать о донесении.

VI

Горестные события

*Tis not harsh sorrow, but a tenderer woe,
Nameless, but dear to gentle hearts bellow,
Felt without bitterness — but full and clear,
A sweet dejection — a transparent tear.*

*Byron*⁶²

62 Эпиграф — из «Оды на смерть Р. Б. Шеридана» Д. Г. Байрона.
Это не жестокое горе, но тихая скорбь,
Невыразимая, но дорогая нежным сердцам,
Воспринятая без горечи, но постигнутая полностью,
Сладкое уныние — прозрачная слеза.
Подстрочный перевод

Почтенный полковник, войдя к Александру Петровичу, с искренним участием расспрашивал о состоянии его раны. Потом, подавая больному бумагу, примолвил:

— Прочтите, Александр Петрович! Я получил нынче предписание, которое, быть может, будет вам неприятно, но что же делать, черт возьми!

В бумаге предписывалось полковому командиру, под строгою ответственностью, отобрать немедленно у капитана Пустогородова обоих детей и представить их в Ставрополь: мальчика для отправления в батальон военных кантонистов⁶³, а девочку для промена на русских дезертиров.

— Ты поедешь домой! — сказал Александр, поцеловав Айшату, у которой вместо ответа засверкали крупные слезы.

— Когда же вы думаете их отправить, полковник? — спросил капитан.

— Да дня через три надо будет.

Айшат сидела на кровати словно пораженная громовым ударом; слезы градом катились из глаз ее без малейшего кривления; странно было видеть это плачущее личико, сохранившее всю свою ясность; но могло ли оно быть иначе, когда скорбь ребенка была сердечная, непритворная?

63 ...батальон военных кантонистов... — Кантонисты — в крепостной России солдатские сыновья, со дня рождения числившиеся за военным ведомством. По достижении 18 лет кантонисты зачислялись в солдаты сроком на 20 лет. Небольшая часть кантонистов обучалась в особых школах, готовивших унтер-офицеров. Режим в школах кантонистов отличался исключительной суровостью.

Дыду, увидя плачущую Айшат, спросил на своем языке, о чем она печалится, и когда узнал, — его черты внезапно изменились, бледность покрыла щеки — все в нем выражало страх и опасение. Он устремил вопросительный, полный скорби взор на капитана, который кивнул только головою.

Мальчик опустил глаза, слезы лились из глаз его. После минутного молчания он спросил:

— Куда же повезут нас?

Но Александр не мог отвечать и взглянул на отца Иова. Священник понял его и рассказал все мальчику.

Дыду внимательно выслушал: поднял вдруг голову, пристально посмотрел на священника и щелкнул языком.

Капитан, к несчастью, погруженный в задумчивость, не слышал этого решительного, отрицательного знака тавлинцев; отец Иов не понимал его значения.

День медленно клонился к вечеру, длинный, как те дни, когда постигает нас печаль.

Дыду много говорил по-своему с Айшатою, девочка безмолвно слушала и только изредка вопросами перерывала речь маленького тавлинца. Дыду был особенно ласков с Александром и во весь день не спускал с него глаз.

Вечером приятели Пустогородова играли в карты. Бесчувственный Николаша дивился грусти брата, старался его развлечь, но тщетно. Айшат во весь вечер не отходила от капитана.

Часу в девятом Дыду вызвал ее; они разостлали на дворе ков-

рики и при сиянии полной луны, разливавшей роскошный свет, приносили девственные молитвы творцу. Отец Иов, проходя мимо и услышав тяжкие вздохи детей, остановился, долго любуясь их набожностью. Окончив молитву, они встали; Дыду обнял крепко девочку, потом оба вошли в комнату.

Преферанс кончился; собеседники Пустогородова готовились разойтись, когда прибежал казак, запыхавшись, звать Пшемафа к полковнику.

— Что такое? — спросили многие.

— Не можем знать, — отвечал казак, — должно быть, тревога на низу.

Спустя несколько времени послышались скачущие казаки. Александр, Николаша и отец Иов разговаривали вместе; Пшемаф возвратился к ним смущенный.

— Зачем же не вас послали на тревогу? — спросил Александр.

— Я уже был там. Пустое — хищников нет.

— Что с вами?

— Голова очень болит!

На дворе капитана засуетились!

Тщетно уговаривал Пшемаф раненого не выходить на сырой и холодный воздух, но Александр хотел узнать причину случившегося шума.

Вышед на крыльцо, он увидел казаков, которые тащили что-то к нему на двор.

— Что это такое? — спросил Пустогородов.

— Дыду, ваше благородие! — отвечал один из телохранителей Александра.— У этих казаков души нет — хуже собак!

Александр подошел к мальчику: он был обрызган кровью, тело его едва было тепло; все усилия привести тавлинца в чувство остались напрасны. Он испустил дух.

Александр расспрашивал, что случилось с мальчиком.

Дыду поздно вечером выехал вооруженный из станицы верхом. Никто на выезде не останавливал его: все знали питомца капитана Пустогородова. Он спустился по балке к Кубани и направлял коня на брод, оглядываясь на все стороны. Казаки, лежавшие в секрете за кустами, приняли было его за хищника, но видя, что он один, окликнули по-русски. Он выхватил молча ружье из нагалища. В это время секрет выстрелил по нем; мальчик поскакал по узенькой тропе, проложенной в кустах, наехал на другой секрет, который, слышав выстрелы, сделал по нем залп и попал в него; однако мальчик поворотил лошадь и бросился в Кубань; он попал на глубокое место, где обняв коня, поплыл вдоль берега.

Казаки успели зарядить опять ружья и, следя взором за плывущим седоком, слышали, как он вполголоса бормотал: «Алла ла ил алла!» Это заставило их вторично дать по нем залп. Когда Пшемаф приехал, лошадь мальчика только что выведена была на берег, а Дыду лежал без чувств на земле. Ружье висело на нем, он был пронизан насквозь четырьмя пулями. По следу, еще от первого секрета, виднелась кровь.

Пшемаф похвалил казаков, уверяя, что сам капитан одобрил их бдительность на секрете и меткие выстрелы.

Александр, наградив их по рублю серебром за строгое исполнение своей обязанности, просил Пшемафа приказать отнести тело на свою квартиру, дабы Айшат не видала его, и похоронить по магометанскому обряду.

Пустогородов во всю ночь не мог сомкнуть глаз. К свету он почувствовал сильный жар, грозивший обратиться в горячку.

Утром Айшат встала и, помолясь богу, пришла к Пшемафу спрашивать, где Дыду. Кабардинец уверял её, что мальчик уехал. Она поверила и рассказала следующее.

Дыду решил бежать в горы. Айшат умоляла его увезти и ее, но он не соглашался, находя тысячу возражений. Она просила мальчика лишить ее, по крайней мере, жизни. Он почти был согласен, но вспомнил, что некому будет сказать Искендеру, куда Дыду, девался, оставив стреноженного коня пастись в известном месте за Кубанью, а оружие у такого-то кургана, убедил ее остаться в живых. Только поэтому Айшат не хотела искать конца своим несчастьям в смерти.

Здоровье Александра Петровича было в чрезвычайно дурном положении, рана перестала нагнаиваться; черкесский врач часто повторял: яман, чох яман! (плохо, очень плохо!). Айшат не позволено было к нему входить.

Пшемаф говорил отцу Иову, что, если б капитан был здоров, он, вероятно, нанял бы женщину отвезти Айшатув Ставрополь; кабардинец сам был готов на это, но, к несчастью, не имел ни копейки денег. Добрый священник не заставил себя просить, он тотчас искал девочке спутницу, которая взялась довести тавлинку до озна-

ченного города. На другой же день Айшату отправили с нянькою, не дав ей проститься с Александром.

Дыду был похоронен по магометанскому обряду. Вымыли его труп, выбрили голову, надели на него две чистые рубашки, завернули в белый саван, накинули на голову черкесскую шапку, положили на носилки, понесли на кладбище головою вперед, опустили в могилу ногами к востоку, правую стороной в подкоп, вырытый на дне могилы, наложили досок наискось и закидали землею. Над головой его воздвигнули столб, на котором сделали надпись и поставили длинный шест с флигерем. По черкесскому обычаю это значило, что усопший погиб от раны, нанесенной ему гяурами. Почетный знак, столь же почитаемый горцами, сколько уважаем у нас орден св. Георгия.

VII

Закубанский карамзада⁶⁴

Кто по чувствам, вражде или влечению роковому покинет дом и родное пепелище для жизни боевой, тому благовоние — дым битв и запах крови.

64 *Карамзада значит по-черкесски разбойник,*

Sigilla in mente impressa amoris digitulo, vertigio demonstrant
mollitudinem.

Aul Gel.⁶⁵

Пшемаф не забыл о черкешенке, виденной им в мирном ауле; он посылал предложить за нее калым владельтельному князю, но получил в ответ лишь оскорбительные насмешки. Препятствия, разумеется, подстрекнули его желания: пылая гневом против князя, он решился украсть красавицу. С этой целью он задумал сблизиться с знаменитым разбойником Али-Карсисом. Полумирный врач-черкес представлял ему для этого все средства... Вскоре дело было слажено, и Эскулап отправился новым Меркурием за Кубань...⁶⁶ Через несколько дней Пшемафу дали ответ, что разбойник в самое короткое время приедет видеться с ним. Чтобы, однако ж, склонить Али-Карсиса на что-либо, нужны были деньги, а у кабардинца их вовсе не было. Он решился просить у полкового командира часть жалованья вперед. Добрый старик, всегда готовый одолжить подчиненных, если дело от него зависело, приказал квартирмейстеру удовлетворить Пшемафа. Узнав о намерении закубанского карамзады быть

65 Автор латинского, текста, вынесенного в эпиграф, — Авл Геллий, римский писатель II века, от которого дошло до нас почти полностью сочинение «Аттические ночи». Приблизительный перевод: «Образ любимой вспыхивает в памяти при виде одного ее пальчика, « и от нежности кружится голова».

66 ...дело было слажено, и эскулап отправился новым меркурием за Кубань... — Эскулап — латинское имя древнегреческого бога врачевания; в разговорном языке — врач, медик (шутл.); Меркурий — вестник богов и бог торговли.

на днях у молодого кабардинца и о желании этого ехать за Кубань на охоту единственно для того, чтобы встретиться со знаменитым разбойником, полковник советовал корнету быть как можно осторожнее с Али-Карсисом, который в состоянии употребить во зло эти короткие сношения. Между тем полковник желал иметь лазутчиком карамзаду, если только будет возможность склонить на то разбойника. В самом деле, подобный человек мог быть весьма полезен для кавказских военных дел.

Пшемаф дал слово употребить все старания свести полковника с разбойником, если только самому удастся свидеться с ним.

Несколько дней спустя Пшемаф и врач-черкес по имени Муштафа отправились вместе за Кубань на охоту — это был день, назначенный для свидания с карамзадою. Опасности не было никакой для кабардинца, потому что он имел верного проводника. Между тем звание лекаря в большем уважении среди черкесов, а еще более у разбойников, которым чаще других бывает необходимость прибегать к искусству врачей. Дорогою Пшемаф убедил товарища уговорить Али-Карсиса побывать у него в гостях, уверяя, что разбойник может быть совершенно спокоен на свой счет.

Оба спутника въехали наконец на курган и, осмотрясь на все стороны, увидели всадника на отдаленном холме. Врач-проводник повернул свою лошадь направо и, шагом объехав два раза кругом вершины, стал на прежнее место. Видневшийся всадник сделал в свою очередь то же, только один раз, потом спустился, круто повернул коня направо, проскакал несколько сажень, поворотился

назад, как вихрь взнесся опять на холм, остановился, слез с коня и лег на землю. Мустафа предложил тогда Пшемафу ехать к лежащему человеку. Кабардинец, который понял, что все проделанное было условленным знаком, принял предложение и поехал со своим проводником на курган.

Через час наши всадники подъехали к человеку, лежавшему на холме. После обыкновенных приветствий по обыкновению правоверных врач спросил, куда им надобно направиться; черкес махнул небрежно рукою назад и, остановив указательный палец, означил направление, примолвив: «На крайнем кургане начнешь класть намаз».

Они отправились далее. Употребив более часа, оба всадника въехали на курган; тут Мустафа слез с лошади, разостлал бурку, снял ружье и, обратясь к полудню, стал на колена, словно хотел молиться богу. Пшемаф, который держал его лошадь в поводу, спустился с холма и поехал к камышам, растущим по берегам топкой речки.

Вскоре два человека вышли из-за мыса. Они пошли на курган, где молился лекарь; взойдя туда, один из них громко и радушно сказал:

— Мустафа, салам алекум!

— Алекум салам, Али-Карсис! — отвечал врач.

После этого приветствия они подошли друг к другу и обнялись по-своему. Это объятие состояло в том, что они правыми руками взяли друг друга за левый бок, левые руки закинули на правое и щекою прислонились к левому плечу один другого. После того оба

они уселись на разостланной бурке. Мустафа закричал Пшемафу, чтобы он сбатовал лошадей и пришел на курган. Кабардинец соскочил с коня, снял повод со своей лошади, задев им за трок седла Мустафы, и наконец завернул этот повод за заднюю луку; таким же порядком запутал он повод другой лошади в свое седло и поставил их рядом, но в стороны, совершенно противоположные. Он узнал в собеседнике Мустафы одного из самых отчаянных черкесов, кидавшихся на него в последнем деле, где был ранен капитан Пустогородов. Врач не дал времени Пшемафу вымолвить слова.

— Али-Карсис! — сказал он, — вот мой кунак (приятель), с которым мы обязались взаимным братством.

— Не говори мне о нем! — возразил разбойник, — мы уже знакомы: в последнем деле схватились в рукопашный бой, но не удалось хорошенько подраться, то меня товарищи отводили, то его казаки заслоняли. Не посчастливилось мне этот день: ни одного гяура не изрубил! Совсем было размахнулся шашкою на офицера, который, отбив плен, прискакал выручить вот этого — уж взбесил он меня! В глазах моих изрубил моего товарища, да еще лез все вперед. Удар мой грозил ему верною смертью, как откуда ни возьмись казак... он отвел своим ружьем взмах, а офицер давай рубить меня. Три раза хватил по груди шашкою, так что теперь еще видны синяки, однако панциря пробить не мог — молодец офицер!

— И я тебя узнал, Али-Карсис! — возразил Пшемаф. — Ты также довольно меня побесил в этот день своим панцирем; где бы мне с тобою сладить, если бы казаки не выручили. Тебя хоть целый

год руби — не прорубишь! Скажи, какая у тебя голова? Раз я тебя славно хватил, шапку разрубил, а тебя не ранил.

— На смотри! — отвечал разбойник, подавая шапку свою, — Она легче шишака. Вы, мирные черкесы кабардинских стран, этого не знаете, а у нас все джигиты (молодцы, храбрецы) так носят.

Пшемаф, ощупав шапку, заметил, что над внутреннею овчиною и над хлопчатою бумагою, под наружным сукном находилась защита из кольчуги. Это ему очень нравилось, но он отдал шапку, не смея ее похвалить, дабы не получить в пешкеш (подарок) и потом не быть обязанным отдать в свою очередь разбойнику все, что ему вздумается похвалить, начиная от лошади Пшемафа до бешмета. Таковы обычаи черкесов! Если кунак его кунака похвалит какую-либо вещь, приличие требует, чтобы он тотчас предложил ее в подарок; не взять — значит оскорбить дарящего.

Мустафа прекратил эти боевые воспоминания, сказав разбойнику:

— Али-Карсис, я желал с тобою видеться, чтобы уговорить на услугу вот кунаку моему. Он молодец! Ты сам его видел в бою, следовательно, его достало бы не на такую безделицу, о которой идет теперь речь; но он русский офицер, подвергнет себя ответственности, если сам возьмется за то, о чем я хочу тебя просить.

— Ага! Друзья! Вы все уговариваете нашего брата жить в ладу с русскими, а теперь сами сознаетесь в невозможности делать, что вам нужно; чем же ваше положение лучше нашего? Вы так же бедны, как и мы, или еще беднее, должны водить хлеб-соль с гяурами, со

свиноедами. Начальники сажают вас на гауптвахту, отдают в солдаты, ссылают в Сибирь, барантуют, когда захотят, так же, как и нас, принуждают драться с единоверцами; если же убьют кого в деле, вас ждет ад по завещанию пророка; между тем как мы, сражающиеся против гяуров, когда удостоиваемся погибнуть на поле брани, нас ожидают в раю гурии, вечные радости и наслаждения. Притом вы принуждены прибегать к нам в своих делах, требовать от нас помощи и услуг; нет, друзья, я вижу, вы большие простаки, променяли разгульную свободу на бедственную жизнь! Ну, Мустафа, говори, в чем дело?

— Вот в чем, Али-Карсис! Пшемаф хочет жениться на подвластной князя Шерет-Лука, на красавице Кулле; но князь не берет за нее калыма и бережет для себя. Украсть ее Пшемафу невозможно, я тебе сказал почему; заплатить калым кому бы то ни было для него все равно, а потому он предлагает тебе украсть Кулле: взять калым и выдать ее за него замуж. Если ты согласен, что возьмешь за такую услугу?

— А кто тебе сказал, что Шерет-Лук бережет Кулле для себя? Небось, продавец Джам-Ботовой крови! Знай же, он все лжет! У Шерет-Лука есть имчек (молочный брат, родство, чрезвычайно почитаемое черкесами), который имеет канлу⁶⁷ с сильным семейством,

67 *Канла* — кровавое мщение, которое у обитателей Кавказа преследуется до десятого колена. Странно, что подобный обычай еще в недавнее время существовал у корсиканских горцев и что там и здесь место, где пала жертва канлы, обозначается кучено хвороста: обыкновение требует, чтобы каждый проезжий срезывал прутик и бросал в кучу; этим она всегда поддерживается и даже увеличивается.

объявившим, что вместо платы, положенной *шериадом*⁶⁸ за пролитую кровь, оно примет Кулле в жены для старшего сына. Плут Шерет-Лук, желая извлечь из этого свои выгоды и вместе с тем помирить своего имчека с семейством убитого, подговорил одного из подвластных своих сватать Кулле и давать за нее сто коров, между тем как кровь убитого оценена только в семьдесят; следовательно, он требует с того семейства тридцать коров в придачу. Кулле знает молодца, который сватается за нее, и ненавидит его, она готова скорее покуситься на самоубийство, чем выйти за него замуж. На днях красавица подсылала ко мне родного брата своего умолять, чтобы я увез ее, обещая чтить меня, как отца и благодетеля. Бедняжка! Ведь она круглая сирота, некому и защитить ее, брат слишком молод, а я с покойным ее отцом был искренний кунак.

После этого предисловия Али-Карсис объявил согласие на содействие и, по обыкновению черкесов, заломил ужасную цену, нагло уверяя, что из взятого им у Пшемафа он ничего не оставит себе, но отдаст все в калым Кулле. Сердце Пшемафа возмутилось при мысли, что такое милое создание, какова Кулле, так несчастна и что завтра

68 Когда случится убийство, тогда сзывают *шериад* — род третейского суда, составляемого из почетных стариков, выбранных с обеих сторон и нескольких беспристрастных духовных лиц. Шериад определяет цену, которую убийца должен заплатить семейству убитого; когда назначенная сумма выплачена, тогда кровомщение прекращается; но дотоле каждый родственник убитого, до десятого колена, обязан искать крови убийцы, и где бы его ни встретил, крича: канла за такого-то, чтобы дать время приготовиться к отражению, нападает на него. Шериад решает общественные и частные дела — это единственное верховное судилище горцев. Законы, руководствующие шериадом, суть алкоран и предание старины. Положенное шериадом свято выполняется.

же, быть может, ее отдадут в замужество за человека, которого она ненавидит. Еще несколько дней — и несчастная будет в объятиях другого! Мысль удушливая не только для пылкого азиатца, но и для европейца, у которого, кроме любви, есть тысяча предметов для развлечения — и тщеславие, и властолюбие, и чиновлюбие, и наградолюбие, и рублелюбие. Все это предметы, которые сосредоточивают его помышления, действия, усилия. Однако и это холодное существо, если полюбит истинно, горячо, то содрогается при мысли, что другой будет обладать предметом его любви. Можно вообразить себе поэтому, какие чувства терзали грудь влюбленного черкеса, когда в нем родилось опасение, что Кулле достанется в удел другому! Черкес иного развлечения, иных страстей, кроме любви, не знает. Он выше всего ставит силу физическую, искусство владеть скакуном и бранным оружием. Достигнув этого — он никого не считает выше себя и думает, что он непобедим один на один. В обыкновенных случаях жизни он не ощущает личной вражды, кроме той, которая возбуждена ревностью. Даже к ужасной, кровавой мести он побуждается из слепого, фанатического последования обычаям и мнениям народным, к чему еще более подстрекают его старики. Понятно, до какой степени воспламеняется в нем любовь, нередко усиливаемая ревностью, ужасною, палящею страстью, ничем не одолимою, кроме престарелой дряхлости, гнусного честолюбия или непростительной корысти, и то в странах, где лоск образования полирует страсти.

Пшемаф готов был согласиться на чрезмерные требования Али-Карсиса, но, не имея необходимой суммы, думал о том, каким

образом склонить разбойника к согласию получить уплату по частям. Мустафа вывел, однако, его из недоумения, начав выговаривать разбойнику за непомерные желания.

— Ну хорошо, Мустафа, — возразил Али-Карсис, — положи сам цену, которую мне просить. Ведь с тобою спорить нельзя, завтра могу быть ранен, и шлю за тобой, ты скажешь: он не хотел уважить моей просьбы, я не обязан исполнять его требований, — и мне придется умереть хуже собаки. Однако, назначая цену, не забудь, что дело трудное. Если удастся увезти Кулле — будет непременно сильная погоня и еще могут ее отбить. Я знаю, что из товарищей мало найдется охотников помочь мне: добычи никакой не предстоит, а дело-то завяжется горячее. Пожалуй, еще перебьют, да лошадей поранят; а там посмотришь, нужно ехать на добычу — кому не на чем, кому нельзя от ран.

Вот если б негодяй Шерет-Лука отправили на тот свет, тогда бы и дело с концом. Пшемаф взял бы арбу⁶⁹, просто приехал в деревню, посадил бы в нее Куле и женился. Ты знаешь, Мустафа, как опасно не только убить, но даже ранить владетельного князя. Все подвластные его объявят тебе тотчас канлу, везде станут искать и, наконец, когда найдут, не оставят в живых. Если б можно было свести Шерет-Лука с Шан-Гиреем, так один другого уж непременно уходил бы — у них давнишняя вражда. Между тем они равные князья, стало быть, могут резаться сколько угодно.

⁶⁹ Арба — повозка на двух колесах, употребляемая туземцами на Кавказе

Мустафа склонил, наконец, разбойника на похищение Кулле за очень умеренную цену. Али-Карсис требовал деньги тотчас, обаяясь в случае неудачи возвратить их назад. Он хотел получить их в тот самый день, потому что видел сон, предвещавший ему хорошее, и не желал обмануться в своих надеждах. Но кабардинец не имел с собою денег и потому предложил карамзаде ехать с ними в станицу. Разбойник недоверчиво посмотрел на него и спросил: не хотят ли они выдать его русским? Мустафа клялся, что никто его не тронет; Пшемаф уверял, что сам полковник очень желает его видеть. Разбойник отвечал:

— Точно хочет! Этот полковник честный и хороший человек! Я могу без опасения к нему ехать; к тому же я видел хороший сон, нынче счастливый для меня день! Согласен, еду! Только возьму с собою одного товарища. — И обращаясь к находившемуся тут черкесу, приказал привести лошадей. Покуда последний побежал за мыс, они спустились втроем к речке, разделись, совершили омовение и стали класть намаз.

Вскоре привели разбойнику статного, серого коня в яблоках, вывезенного, как скаковая лошадь, с большими ушами, сухожилою головою, словом — со всеми статьями, составляющими ценность и достоинство лошади. Али-Карсис отозвал в сторону пришедшего товарища, поговорил с ним вполголоса, осмотрел кремни и полки своего ружья, равно и у пистолетов, обвешанных кругом пояса, шомполом ощупал, не выкатились ли пули, и наконец лениво взобрался на коня. Но едва сел он в седло, как вмиг оправился, замахнулся плетью

по воздуху, и конь понесся стрелой. Проскакав несколько шагов, всадник остановился, круто повернул лошадь на передних ногах, заставил ее откинуть зад и дал вздохнуть, опять замахнулся плетью и повторил то же. После того шагом поехал он вместе со спутниками. Товарищ его на красивом, также надежном коне проделал то же, но не столь ловко, присоединился к ним, и все вместе поехали по направлению к Кубани.

Разговор между всадниками не был занимателен. Предметом его были воспоминания боевые. Черкесы, как и казаки, когда едут по стране, где каждое место напоминает им какое-нибудь воинское событие, разговаривают между собою о сражениях, указывают на места, где некогда была погоня, где прорыв. Али-Карсис указал место, где убит один из его товарищей, и восхвалял достоинства покойника. Рассказывал, на каком месте погоня настигла его и как отчаянно он защищался. Пшемаф, со своей стороны, говорил о своих похождениях во время преследования хищников. Таким образом все четверо доехали до Кубани. Кабардинец требовал паром; покуда его затащивали по берегу, урядник в сопровождении двух казаков с переправного поста вмиг переехал реку на каюке⁷⁰ и, подошед к Пшемафу, спросил:

— Как прикажете, ваше благородие: переправить этих азиатцев?

— Конечно, переправить.

⁷⁰ *Каюк* — выдолбленное дерево, заменяющее лодку и имеющее чрезвычайно быстрый ход на воде; гребцы стоймя гребут то с правой то с левой стороны, смотря по надобности.

— А как о них дать знать кордонному и полковнику?

— Послать сказать, что я переехал с тремя кунаками, полковник уже знает.

— Слушаю, ваше благородие!

Каюк понесся обратно. Урядник махнул рукою паромщикам в знак, что они должны ехать за приезжими.

Наши всадники переправились через Кубань и поехали к Пшемафу на квартиру. Вскоре пришел туда ординарец полкового командира просить Пшемафа привести к нему своего гостя.

Николаша сидел у полковника, когда ординарец возвратился с ответом, что Али-Карсис будет сейчас у него.

— Ну, Николай Петрович! Вы все расспрашивали о хищниках, вот теперь увидите первого закубанского разбойника, известного по всей линии и славящегося в горах. Он щадит мой полк, зовет меня хорошим полковником и давно уже обещал побывать у меня... только все не находил случая. Я надеюсь склонить его к миру с нами — черт возьми! Ведь славно было бы, только очень трудно с одной стороны, по недоверчивости он не вдруг согласится на это, с другой — кордонный начальник зол на него и мстит ему, впрочем, черт побори! Что бог даст, то и будет! А правду сказать, молодец! Какой умный и отчаянный! Как он сумел заставить себя уважать единоземцами! О нем идет молва, будто пуля его не берет, будто он заговаривает их.

— Разве не опасно пускать к себе такого человека, полковник? — спросил несколько смутившийся Николаша.

— Фуи, черт побери! Что за опасно, когда он у меня в гостях! Он скорее подставит за меня голову, чем кого-либо тронет или оцарапает, — так в наших местах водится. Вот если б хотели его здесь арестовать, ну — тогда наделал бы он шпектакль, уж живой не достался бы в руки! Не только подобный ему молодец, но и самый дрянный черкес в таком случае наделал бы нам тревоги; однако я забыл послать за переводчиком.

Полковник подозвал ординарца, приказал ему сходить за урядником-толмачом; потом, обратись к Николаше, спросил, видел ли он этого казака. Получив отрицательный ответ, он сказал:

— Вот молодец! Любимец вашего брата! Признаться, нельзя его не отличать: красив собою, храбр, как черт, расторопен, славный наездник, отличного поведения, честен, как нельзя более, к тому же услужлив — это лучший у меня урядник. Он из азиатцев; служил прежде в другом полку, но там его притесняли и, наконец, вынудили бежать в горы. Он пристал к шайке абреков и вскоре сделался известным разбойником, грабил на линии, снимал пикеты, а между тем все просил прощение за побег, ибо семейство его оставалось в нашей власти. Наконец ему позволено было возвратиться на линию: он приехал и определился казаком ко мне в полк. «Черт возьми! — подумал я, — что мне будет делать с таким сатаною?» — и ожидал все шпектакля! Ничуть не бывало, вот восемь лет, как он в полку, произведен в урядники и чрезвычайно полезен по службе.

Едва кончил полковник свою речь, как в комнату вошел высокий, стройный, прекрасный собою мужчина с окладистой бородой, в черкеске, с кинжалом за поясом.

— Здравие желаю, ваш высокоблагородие! Требовать изволили.

— Здорово! Подожди-ка здесь; сейчас Али-Карсис будет сюда.

— Как, ваш высокоблагородие! Али-Карсис, карамзада?

— Да, он самый.

— Как он сюда попал? Ведь он был лучший мой кунак.

— Ну, так он, тотчас придет ко мне в гости.

В это мгновение дверь отворилась. Вошел Пшемаф, за ним лекарь Мустафа, потом Али-Карсис, а позади всех товарищ разбойника.

Али-Карсис был очень высокого роста, чрезвычайно широк в плечах и тонок в перехвате. Судя по лицу, ему можно было дать лет сорок. Он не был вовсе худ, но мог назваться сухим мужчиною. Черты лица его были правильны; подстриженная, черная борода соединялась с усами, нос продолговатый, румянец здоровья пробивался на смуглых щеках. В его лице не было ничего особенно замечательного, кроме дерзкого взгляда. Черные, блестящие глаза, несколько нахмуренные от повисших густых бровей, придавали его лицу выражение, вселявшее невольные опасения. Взгляд будто говорил, что он не умеет покоряться, а знает только повелевать. Никогда и ни от чего взор его не опускался, он смотрел смело и самонадеянно, но выражение лица его менялось, когда он сводил глаза с одного предмета на другой. В нем обнаруживалось какое-то пренебрежение ко всему. Одежда карамзады состояла в простой длинной черкеске темного цвета, из-под которой на груди блестела на белом бешмете кольчуга.

Руки также были защищены кольчатыми наручами, приделанными к налокотникам; из-под наручей виднелась пунцовая материя, которая предохраняла тело от трения о сталь. Восемнадцать патронных хозров, заткнутых обернутыми в тряпки пулями, вложены были по обеим сторонам груди в гаманцы черкески. Длинные рукава, оборванные к концу, служили доказательством, что разбойник, находясь в горячих боях, выпустив все хозры, вынимал запасные заряды и, не имея чем обернуть пули, рвал, как водится, концы своих рукавов. Черкеска его в некоторых местах была прострелена и не зачиплена. По черкесскому обычаю, там не кладут заплат, где пролетела пуля. Удары шашки обозначались узкими сафьянными полосами, нашитыми изнанкою вверх на тех местах, где было прорублено. В правом гаманце виделся рожок с порохом; на поясе висел большой кинжал с рукояткою из слоновой кости; рядом с кинжалом заткнут был спереди пистолет, другой виделся на правом бедре, а третий был заложен сзади за пояс шашки. Войдя к полковнику, он придвинул этот пистолет наперед, придерживая за выгиб правым локтем — азиатская привычка, происшедшая от опасения, чтобы враг не выхватил внезапно оружия! Спереди к правому боку висели серебряная жерница, сафьянный мешочек с запасными пулями и кремнями и большой черный рог с порохом. На левом боку была шашка. Из-под черкески виделись ноговицы из темного сукна с красною нашивкою для прикрытия той части ноги, которою всадник *касается* до коня. На ногах были желтые вычетки⁷¹, а сверху красные чевеки⁷² с

71 Черкесская обувь из сафьяна, заменяющая носки.

72 Черкесская обувь, надеваемая сверх вычеток.

серебряною тесьмою на швах, на голове черкесская шапка с белым околышем из длинношерстной овчины, ружье осталось на квартире Пшемафа. Товарищ Али-Карсиса носил почти то же одеяние, с тою только разницею, что шапка его была опушена черною овчиною; он казался человеком лет тридцати, был довольно строен и очень смугл; в беглых маленьких глазах его выражались хитрость и лукавство; каждый из них держал в руке плеть, а на большом пальце правой руки имел стальное кольцо, необходимое, чтобы взводить курок и при стрельбе наскоро выдергивать ружейный шомпол из ложи. Когда Али-Карсис вошел, полковник встал с места и, подошед к нему, сказал:

— Здравствуй, Али-Карсис! Давно уже мне хотелось видеться с тобою; кажется, нам друг на друга не за что сердиться.

— Али-Карсис благодарит ваше высокоблагородие,— молвил переводчик, — и говорит, что сам давно желал свести с вами знакомство, но все не было случая. Ваше имя в уважении у черкесов; они вас любят и хвалят; лишь только карамзада узнал, что вам желательно его видеть, он без опасения тотчас приехал.

— И прекрасно сделал! — отвечал полковник. — Он здесь так же безопасен, как у себя в доме. Очень желал бы, чтобы ему слюбилось с русскими и чтобы он, наконец, покинул свою трудную, опасную жизнь.

— Али-Карсис находит, — говорил толмач, — что в его настоящей жизни нет более опасностей, чем в другой: человек не вечен, и смерть, когда час настанет, найдет везде свою жертву равно на

постели, как и в бою; а покуда судьба над человеком не свершится, для него так же безопасно быть в сражении, как и дома. Он сам находит избранную им жизнь несносною; но делать нечего! Али-Карсис был прежде мирный, богат и слыл лихим молодцем. Его увлекли злые люди к воровству лошадей и грабежам разного рода по линии; потом с него же без пощады тащили разные пожитки, будто желая задарить начальство и потушить какое-либо подозрительное дело, за которое грозит ему ссылка в Сибирь. Видя, что таким образом его состояние приметно истощалось, он начал отказываться ездить на хищничество. Тогда ему сделалось еще хуже прежнего: сильные сообщники не переставали его притеснять; наконец, еще и возобновили два затертые дела, где все подозрения падали весьма справедливо на карамзаду, который по наущению тех же сообщников увел казачьи табуны; хотя сами они, выбрав из них лучших лошадей себе, отправили в полумирные дальние аулы. Однажды проведал кунак разбойника, что Али-Карсис на следующий день должен быть представлен и отправлен к суду в город, и оттуда в Сибирь. Узнав об этом, Али-Карсис бежал в горы. Имение его разграблено было сообщниками. Ему ничего не оставалось более делать, как пуститься на разбой, чтобы содержать себя грабежом. Теперь, если б он и захотел покинуть трудное свое поприще, не может, потому что, во-первых — не имеет, чем жить, во-вторых — прежние друзья, видя в нем человека опасного, который может открыть начальству все их поступки, подкупят убийц и лишат его жизни.

— О! Не думай так, Али-Карсис! — возразил полковник. —

Нет ничего, кроме бога, милостивее нашего правительства и милосерднее отца нашего, великого царя. Ты сам должен это знать из множества примеров над твоими единрземцами.

— Да разве нашему брату затевать тяжбы? — спросил Али-Карсис с язвительной улыбкою. — За Кубанью бояться писать бумаги против сильного врага: как раз подошлет убийц и истребит тех, которые думают принести жалобы.

— Что об этом говорить! — молвил полковник. — Скажи-ка лучше, давно ли ты делал прорыв на линию?

— Давно! Теперь не время, лошади не в силе.

— Так везде спокойно?

— Везде; только на днях где-то выше удалось семи воришкам переправиться за Кубань, захватить в плен одного казака с двумя лошадьми да женщину с прехорошенькой девочкой; они возвратились восвояси, не будучи никем замечены. Уверяют, будто девочка родом тавлинка. Откуда возьмется здесь тавлинка?

— Где же эти пленные?

— Близ моей деревни.

— Нельзя ли их выкупить?

— Казака и женщину можно, а девочку не думаю: ее купил набожный старик, который ни за что не согласится отдать правоверную русским — ведь наши старики боятся, чтобы дети не забыли своей веры. Чего доброго, она, пожалуй, погубит свою душу!

— Девочки мне не нужно, а о казаке и женщине я узнаю, те ли это, о которых я думаю. Пожалуйста, Али-Карсис, сторгуй их и дай мне знать, чем ты кончишь.

— Хорошо.

— Кто же, полагаете вы, полковник, могут быть эти пленные?

— спросил Пшемаф.

— Разумеется, люди, провожавшие маленькую тавлинку Александра Петровича!

— Неужели они?

— Непременно!

Пшемаф задумался; потом предложил Николаше выкупить любимицу своего брата, но этот очень сухо отвечал, что в такие дела не входит; девочка ему не нужна, а денег у него столько нет, чтобы сорить на подобный вздор. Кабардинец говорил об удовольствии, которое принесет Александру выкуп Айшаты, но все убеждения его были напрасны — Николаша не хотел их слышать. Если брат выздоровеет, то сам сможет распорядиться, как хочет. Видя, что от него ничего не добьется, Пшемаф обратился к полковнику с тою же просьбою, но старик думал лишь о своей обязанности — выкупить казака и женщину. Исполнив ее, он обещал не упустить случая сделать приятное и Александру Петровичу.

Это успокоило молодого кабардинца, который рассчитывал, как бы воспользоваться присутствием Али-Карсиса и выкупить посредством его Айшату. Александру Петровичу говорить о том было невозможно, он лежал в горячке; одна надежда Пшемафа была на отца Иова. Но священник снабдил малютку деньгами при отправлении, быть может, последними. Пшемаф решил на одно средство, которое оставалось: отказаться от Кулле и употребить деньги на вы-

куп Айшаты. Он пошел от священника опять в дом полкового командира и, найдя в комнате одного Мустафу, сообщил свое намерение, одобренное лекарем.

Разбойник и переводчик скоро возвратились назад. Полковник, желая угодить Али-Карсису, предложил ему яства, но последний отказался под предлогом уразы⁷³, простился со стариком и вышел.

Пшемаф просил карамзаду отложить на время похищение Кулле и отдал ему деньги на выкуп тавлинки. Разбойник взял их, но предупредил кабардинца, что, быть может, возвращение девочки замедлится несогласием ее хозяина; а чтобы украсть Айшату, надобно прежде с него ознакомиться. Он хотел на днях побывать опять по одному делу у полковника и тогда дать ответ Пшемафу. После этого Али-Карсис отправился с товарищем обратно за Кубань.

Александр Петрович поправлялся от горячки, но рана его была еще в худом положении: все предвещало, что он должен лишиться руки. Николаша день ото дня скучал более и более: досада, что ему не шлют денег из дому, опасение остаться по этой причине слишком долгое время в этой скучной станице — все раздражало его. В самом деле, что могло его тут развлечь? К занятиям он не привык, не любил деятельности, был слишком ленив и холоден душою, слишком равнодушен, чтобы извлечь приятное из этой военно-сельской жизни, в которую попал почти поневоле. Еще прежде не радовали его

73 Ураза — весенний Магомета некий пост, так называемый от имени праздника, его оканчивающего.

даже шумные удовольствия большого света; в нравственном отношении он был подобен людям, доведенным болезнями и сильными лекарствами до того, что на них не производят действия ни испанские мухи, ни алкоголи⁷⁴. Дружбы к брату, как и ни к кому на свете, он не питал, а старался угождать отцу и матери лишь потому, что ему нужны были деньги. Мечтал он, будто любит Елизавету Григорьевну, но в этом только обманывал себя: все чувства к ней заключались в самолюбии, удовлетворенном том, что она отличала его одного из всей среды поклонников. Тоска томила его, он сделался тягостным не только для себя, но и для других. Александр всеми силами старался развлечь брата или по крайней мере заставить его неприметно убить время; устраивал для него охоты разного рода; предлагал ему своих лошадей. Это делал он из сожаления, или только чтобы в собственных глазах скрыть омерзительную картину того низкого малодушия, того душевного разврата и падения, которые не холодны к одному мелочному расчету и взвешивают выгоду каждого шага, движения, слова. Николаша не постигал однако ж наслаждения предаваться воле скакуна и мчаться свободному, как воздух, куда глаза глядят, безотчетно рыскать по полям, ровным, как ладонь, или укрощать дикого коня. Такое наслаждение не было доступно ему; он не способен был ощущать того самодовольства, которое происходит

74 ...не производят действия ни испанские мухи, ни алкоголи.

— Шпанская (испанская) мушка — жук семейства нарывников. В крови шпанской мушки содержится ядовитое вещество кантаридин. Высушенные шпанские мушки применялись в медицине наружно как раздражающее и рефлекторно действующее (отвлекающее) средство.

от сознания в себе силы и могучей воли, обуздывающих неукротимое животное. Новизна нравов, среди которых он находился, не возбуждала его внимания. Он дивился, почему брат его сожалеет, что не видел Али-Карсиса, человека совершенно дикого, вовсе не занимательного в комнате и опасного в ноле, но более всего изумляла Николашу привязанность Александра к двум пленным детям, не приносившим ему никакой существенной пользы. Он почитал это верхом малодушия, удивлялся, как человек, преодолевший столько бедствий, может до того быть слаб и постоянно нежен к двум ничтожным существам, что впал в горячку по глупости одного из них, которому вздумалось наскочить на пулю! Все вместе, столь противоположное с его образом мыслей, заставило нашего героя потерять уважение к брату. «Нет, Александр пустой человек! Довольно глуп и очень малодушен!» — так рассуждал он про себя.

Оба брата желали расстаться, но судьба будто наперекор связывала их. Александр решил не заботиться о развлечениях брата и возвратиться к прежней жизни, к своим занятиям и привычкам. Узнав, что Али-Карсис должен быть опять в станице, он поспешил взять слово от лекаря Мустафы привести разбойника к нему.

Полковник, услышав, что Александр выздоравливает, пришел его навестить.

— Не вовремя, Александр Петрович, занемогли, — сказал он, — а у меня был Али-Карсис, впрочем, он опять скоро сюда приедет. — Подойдя ближе, он прибавил вполголоса: — Он отказался быть лазутчиком, но обещал давать знать о главных происшествиях у со-

седственных мирных черкесов. Это ему легко: все привыкли к тайным отлучкам разбойника, никому и не вспадет подозрение, что он у нас бывает; у меня же всегда много его земляков, я хочу просить вас принимать его к себе: вам оно кстати — он кунак вашего лекаря.

— Сделайте одолжение, полковник! — отвечал Александр, — я всегда буду рад Али-Карсису; я не боюсь такого рода людей; не смотря на то, что он разбойник и враг в поле, дома он благонравен, верен своему слову, помнит хлеб-соль, уважает дружбу: это не европейский разбойник, которому нет ничего святого. Я еще не встречал между черкесов примера личного коварства или постыдного душегубства. Мне самому желательно покуначиться с этим замечательным вором, я даже надеюсь извлечь из этого пользу своей сотне, возьму с разбойника слово не делать прорывов на пространстве, занимаемом моими казаками, и не только не пускать никого из его шайки ко мне, но даже охранять мою сотню от нападения других земляков его.

— Я имею то же намерение для всего полка и надеюсь успеть; мне кажется, Али-Карсис желает быть в ладу с нами. Он меня почитает, а потому и не делал ни одного прорыва к нам. Однажды, на земле здешнего полка, он целые сутки пролежал скрыто в балке⁷⁵, подстерегая своего прежнего сообщника, который, однако ж, не проехал. Али-Карсис возвратился за Кубань и велел сказать мне через одного черкеса, что он ничего не тронул в нашем полку, и уважения ко мне.

75 Овраг.

— Вот видите, полковник! Не правда ли моя? Воля ваша, я люблю их дикую честность! Возьмите черкеса, разберите его, как человека — что это за семьянин! Как набожен! Он не знает отступничества, несмотря на тяжкие обряды своей веры. Как он трезв, целомудрен, скромен в своих потребностях и желаниях, как верен в дружбе, как почтителен к духовенству, к старикам и родителям! О храбрости нечего и говорить — она слишком известна. Как слепо он повинуется обрядам старины, заменяющим у них законы! Когда же дело общественное призовет его к ополчению, с какою готовностью покидает он все, забывает вражду, личности, даже месть и кровомщение! Черкесов укоряют в невежестве; но взгляните на их садоводство, ремесла, особенно в тех местах, где наша образованность не накладывала просвещенной руки своей, и вы согласитесь со мною, что они не такие звери, какими привыкли мы их почитать.

— Все так, Александр Петрович! Но зачем же не внемлют они призыву нашего милостивого правительства?

— Я вам, полковник, сейчас определю все — что, как и для чего делается: оставляя черкесов спокойно владеть собственностью, управляться своими обычаями, поклоняться богу по своей вере — словом, уважая быт и права горских народов, мы берем их под свое покровительство и защиту: такова благодетельная цель правительства; но она встречает многие препятствия в исполнении. Первое из этих препятствий — различие веры, нравов и понятий; мы не понимаем этих людей, и они нас не понимают в самых лучших намерениях наших. Второе — при всех добрых намерениях, мы здесь должны

нередко доверять ближайшее влияние на них таким людям, которые думают только о своем обогащении, грабят их, ссорят, подкупают руку сына против отца, жены против мужа...

— Право, беда с вами, Александр Петрович! — возразил старик, вставая. — Правда ваша, да как решаетесь быть их защитником? Не снести вам головы своей! Того и смотри, какой-нибудь хищник из-за куста отправит вас в Елисейские поля стяжать возмездие за ваше праводушие.

— Туда и дорога! Двух смертей не будет, одной не миновать! — примолвил Александр, прощаясь с полковником.

В этот самый день, перед вечером, Али-Карсис приехал в станцию. Вырученных им пленных отправили, как водится, в карантин, для выдержания четырнадцатидневного очистительного срока. Разбойник не мог возвратить Айшаты, потому что ее хозяин решительно отказался выдать правоверную гяурам; несмотря на то, карамзада обещал со временем украсть ее. Александру об этом ничего не сказали. Между тем Пустогородова познакомили наконец с закубанским карамзадою: с первой встречи они сошлись.

Разбойник говорил о Дунакае, который бежал к абазехам. Это известие, сказывал он, далеко распространилось в горах. Старики, муллы, хаджи, старшины и люди почетные отовсюду съезжаются для свидания с ним; но старик не хочет показываться народу, покуда не все съедутся.

— Кто этот Дунакай? — сказал отец Иов.

— Сколько мне известно, — отвечал Александр, — Дунакай

почтенный, маститый старик, чрезвычайно уважаемый единоземцами. Обстоятельств его жизни я не знаю, но мы спросим о нем у Али-Карсиса.

По всему заметно было, что разбойник располагал провести ночь в станице, но капитан Пустогородов не решался предложить ему ночлег у себя, опасаясь породить в нем подозрение. Наступила тьма⁷⁶, правоверные пошли совершать омовение, потом набожно стали класть последний суточный намаз. Окончив это, они возвратились к Александру Петровичу и закурили трубки.

На полу был разостлан ковер; Али-Карсис с двумя товарищами, Пшемаф и Мустафа уселись на нем в кружок, поджав под себя ноги. Им принесли лохань и рукомойник с водою; каждый вымыл себе руки, усы, бороду, выполоскал рот и вытерся полотенцем. Тогда подали огромное деревянное блюдо, устланное большими *тюреками*⁷⁷, на которых стояли тарелки: одна с соленым твердым азиатским сыром, другая наполненная чем-то вроде квашеной сметаны; третья с соленою вяленою рыбой и балыком, а четвертая с медом. Поднесли водки⁷⁸; все, кроме Али-Карсиса, выпили по рюмке и закусили яствами, лежавшими на блюде. Принесли еще вареных яиц, затем отварную курицу. Гости не хотели делать чести угощению, но

76 Магометанский пост состоит в том, чтобы не есть, не пить и не курить от рассвета до той поры, когда, потухнет вечерняя заря.

77 *Тюрек* — тонкая лепешка из пресного теста, заменяющая у черкесов хлеб и салфетку.

78 Магометане не пьют виноградного вина, но водка, добываемая из хлеба, не воспрещается их верою.

когда Мустафа уверил их, что он сам резал⁷⁹ изготовленное мясо, тогда разбойник и товарищи его принялись за трапезу. Вслед за курицею поставили посреди блюда чесночную *тузлу*⁸⁰ в чаше, потом подали отварную часть баранины, которую один из черкесов начал крошить; за нею следовало большое блюдо *пилава*⁸¹ с *шишлыками*⁸². Все усердно ели пальцами, вытирая губы, усы, бороду и руки ломтями тюреков, которые после съедали. Али-Карсис заметил — уж не из татар ли капитан, что у него прекрасный стол? Одно только недостает — конины. Александр отвечал, что он в Азии уважает азиатские обычаи, и оттого изучил их. Конины он не велел подавать, потому что не знал — едят ли ее закубанцы. В тот же час подали конной колбасы, приготовленной в *Чечне*⁸³. Али-Карсис с большою приятностью поел этой колбасы и запил ее *арианом*⁸⁴, потом умыл

79 Магомет наложил запрещение правоверным есть мясо животного, не по правилам зарезанного: должно обращать голову к востоку, резать горло и придерживать ноги так, чтобы они не дрогнули.

80 Черкесы употребляют с мясом не сухую соль, а растертую и разведенную в мясном бульоне — это называется *тузлюю*. Чесночная тузла делается растиранием сухой соли с чесночными зубками, потом она обдается бульоном. Накрошенное мясо берется ложкою или пальцами, обмакивается в тузлу и съедается.

81 *Пилав* варится из сарачинского пшена и обдается маслом. Искусство делать пилав состоит в том, чтобы зерна не были полусыры, а между тем рассыпались.

82 *Шишлык* — небольшими кусками нарезанная баранина и жаренная на вертеле. При жареньи она непрерывно обдается тузлюю.

83 Черкесы — устаревшее общее название народностей, населявших Северный Кавказ. Из черкесов чеченцы преимущественно едят конину.

84 Черкесы пьют за обедом либо воду, либо *ариан* — квашеное молоко, разведенное водою; иногда *бал-бузу* — кислое питье, сделанное из просяной муки, в которое кладут хмель.

губы и бороду, закурил трубку. Все вышли; остались хозяин дома, отец Иов, Али-Карсис и Пшемаф, взявшийся быть переводчиком. Покуда собеседники курили, Александр расспрашивал о Дунакае, принадлежавшем к одному из закубанских племен. Отец его был почтенный человек и имел огромное родство⁸⁵. Когда генерал-лейтенант Вельяминов⁸⁶ в 1825 году ходил за Белую речку, Дунакай был главным предводителем шайки, напавшей на князя Бековича, или, по-туземному, Тем-Бота⁸⁷, причем как русские, так и горцы оказали необычайные примеры мужества. Тут Дунакай приобрел большую славу и сделался известным в народе. Вскоре после того он передался русским, но передался добросовестно, и следственно, не мог увеличить своей бранной славы. Он снискал себе другую: заслужив доверие земляков своим умом, беспристрастием и умеренностью. Дунакай сделался необходимым, еще в молодых летах, для частных и народных шериагов. Поэтому-то владетельный князь избрал его *аталыком*⁸⁸ для своего сына Шерет-Лука. К несчастью, воспи-

85 Одно из великих преимуществ туземцев, потому что в распрях все родственники вооружаются в пользу родного против личного врага его.

86 *Вельяминов* Алексей Александрович (1785—1838)—участник войны 1812 года, командующий войсками Кавказской линии и Черномории (с 1831 г.), генерал-лейтенант. Ставка его находилась в г. Ставрополе.

87 Генерал-майор Бекович-Черкасский был владетельный князь малой Кабарды и умер на службе царской в 1832 году от болезни в цвете лет. Он был отличный предводитель войск, храбрый генерал, умный, бескорыстный и благороднейший человек. Его смерть была немалою потерей для кавказских военных дел, и доселе о нем вспоминают с сожалением.

88 *Аталык*—воспитатель. Черкесы отдают своих сыновей на воспитание людям, пользующимся всеобщим уважением, отцу позорно видеть малолетнего сына своего. Если бы владетель вздумал держать у себя сына или выбрал для него недостойного аталыка, то всеобщий ропот принудил бы его покориться народному обычаю или изменить свой выбор.

тание последнего не удалось: из него вышел злодей, честолюбец и вероломец. Окончив воспитание Шерет-Лука, Дунакай отправился на поклонение гробу пророка в Мекку. В это время воспитанник его опозорил себя разными делами. Три года тому назад, возвратясь хаджием⁸⁹, он стал вести тихую и скромную жизнь, никуда почти не ездил, хотя изредка бывал у полковника здешнего полка, не вмешивался ни в народные, ни в частные дела, взял к себе муллу, учился у него грамоте и арабскому языку, читал вместе с ним Коран. Кордонный начальник присылал иногда пенять ему за то, что Дунакай не бывает у него, но хаджи всегда отвечал: за делом — поеду, без дела мне там делать нечего. Дунакаю теперь лет за шестьдесят. С той поры, как помирился с русскими, он никогда не изменял им, а напротив, всегда склонял единоземцев к миру и подданству, нередко удерживая их от измены.

— Неизвестно мне,— сказал Али-Карсис,— какие причины заставили его бежать, но знаю только, что он очень об этом сожалеет, хотя везде может сыскать себе радушный приют. Его имя в горах везде известно и в большом уважении.

— Ужасно покинуть родное пепелище и искать убежища на чужбине! — молвил Александр, обращаясь к отцу Иову, вздыхая.

Пшемаф продолжал переводить слова разбойника.

Слух о победе Дунакай и о появлении его в одной деревне око-

89 Кто был на поклонении в Мекке, тот получает право обертывать шапку белую чалмой и называться хаджием: название очень уважаемое единоверцами. Нередко они носят четки, в доказательство строго набожной жизни, сопряженной со многими лишениями.

ло Белой речки быстро распространился в горах. Общее любопытство было возбуждено этим, но, как выше сказано, хаджи не хотел до времени никого видеть.

Александр спросил, не намерен ли Али-Карсис быть при появлении Дунакая перед народом, и, получив утвердительный ответ, просил его рассказать после, что там будет происходить. Карамзада обещал.

Заговорили о том, о сем, между прочим коснулись и до военных дел. Разбойник хвалил мужество Пшемафа, распорядительность и хладнокровие старика полковника, говорил о личной храбрости кордонного начальника, сравнивая его с чертом. Если отряду худо, заметил Али-Карсис, — кордонный сам никогда не виноват: все промахи делают окружающие. Об Александре он молчал. Будучи у него в гостях, он опасался, чтобы всякая похвала не была принята как лесть; зато он превозносил солдат, казаков и казачью артиллерию. Карамзада рассказал между прочим, что в 18** году, когда генерал*** ходил за Белую и половодье сделало переправу невозможною, войско отступало в беспорядке. Черкесы, надеясь разобрать весь отряд по рукам, заняли береговые леса, где генерал, из первых переплывших реку, был ранен. Горцы уже радовались верному успеху; но как изумились они, когда увидели, что казаки, посадив солдат на своих лошадей, выплывали вместе с ними на противный берег, несмотря на быстроту воды, на опасности и на неприятельский огонь. Удивление их возросло еще более, когда казаки, подхватя на лямки покинутую пушку, у которой выносные лошади были убиты, пустили своих коней вплавь и таким образом, волоча по руслу реки орудие, перевезли его на себе.

Вся ночь прошла в разговорах. На утренней заре разбойник отправился с товарищами за Кубань. Пшемаф выпросил позволение отлучиться на двое суток из полка и поехал с ним.

Проехав верст двадцать по ровной степи, путешественники спустились в скрытую балку, заросшую высоким густым камышом. Пшемаф держал коня по следу Али-Кар сиса; все прочие въехали в камыши с разных сторон, чтобы не оставить после себя заметных следов. Тут приветствовали их человек пятьдесят, валявшиеся беспечно там и сям на разостланных бурках; лошади их в разных местах кормились накошенной сухой травой. Али-Карсис слез с коня. Первый вопрос его был: есть ли добыча? Ему отвечали отрицательно. Разбойник нахмурился и спросил: «Почему же нет сена?» Посланные за ним еще не возвратились — путь был далек.

Разбойники опасались, что, промышляя корм для коней в окрестностях, могут родить подозрение в жителях. Никто не спросил о Пшемафе, никто не вымолвил о нем полуслова — таковы скромные обычаи черкесов. Они считают непозволительным расспрашивать о госте или докучать самому ему вопросами. Не лишнее было бы, если б некоторые просвещенные особы переняли эту похвальную скромность у дикарей... Разбойнику постлали бурку. Он тотчас лег на нее, сняв с плеч винтовку. Пшемаф последовал его примеру. Вскоре привезли сена. Али-Карсис встал и, отозвав в сторону одного из товарищей⁹⁰, говорил с ним довольно долго. Потом он послал на сторожевые курганы узнать, не видно ли чего-нибудь вдали, и в условных знаках получил ответ, что все кругом спокойно.

90 У черкесов все, находящиеся при ком бы то ни было в походе, называются его товарищами.

Тогда один из разбойников, с которым объяснялся Али-Карсис, сел на лихого коня и скрылся из виду. Весь стан был погружен в сон, когда часа через два со сторожевого кургана прибежал человек и, разбудив карамзаду, объявил, что со стороны Кубани, еще очень далеко, видно пятеро скачущих всадников. В один миг лошади были разобраны, люди вооружены — все готово к бою. Немного спустя дали знать, что виденные всадники скрылись в балке. Еще через несколько времени с того же кургана опять пришли сказать, что вдали видится партия казаков, чрезвычайно растянутая, едущая, полагать должно, в погоню. Впрочем, она направлялась в противную сторону от скрывшихся пяти верховых; быть может, казаки потеряли из виду преследуемых. С час после этого все скрылось. Али-Карсис назначил тогда шесть человек, приказав им взять проводником сторожевого, который видел скрывшихся в балке пять всадников, и ехать отыскать этих последних, с тем, чтоб — если они принадлежат их шайке — направить сюда, если же отделились от другой какой-либо — оставить, разузнав, откуда и кто они.

Посланцы вскоре возвратились, сопровождаемые пятью верховыми, которые везли трех пленных детей с завязанными глазами: двое из них были мальчики, одна девочка. Али-Карсис просил Пшемафа узнать от детей: кто они, а сам отошел в сторону с одним из пяти приезжих. Это был абрек⁹¹ шайки нашего карамзады, человек лет

91 *Абрек* — т. е. обрекший себя временно на все опасности, отказавшийся от родных и друзей, — словом, от всех земных связей и наслаждений. (В своем примечании автор дает неверное истолкование происхождению слова; на самом деле — заимствовано из осетинского, где означает — скиталец, разбойник.)

за пятьдесят, с несколькими шрамами на лице, хромавший на одну ногу. Отвагою и предприимчивостью он вполне заслуживал звание, которое носил. Истый абрек, он был отреченник от всего земного, не исключая жизни, которою не дорожил нисколько. В грабежах и сечах он всегда был впереди всех и постоянно, все шесть лет, как принял название абрека, изумлял товарищей безумной храбростью.

Пока Али-Карсис беседовал с ним, Пшемаф узнал от детей, что все они были из станицы ***ского полка. Один из них, сын мельника, ночевал с отцом на байдачной мельнице⁹², вопреки правилам, существующим по кордону. Они не пошли на сборную мельницу⁹³, потому что отец его, пропив ружье свое в кабаке, боялся приказного, который мог потащить его к станичному начальнику⁹⁴. Бедняк думал, кроме того, предостеречь мельницу от порчи⁹⁵ в полноводие. Перед светом пробрались к ним в мельницу хищники и, напав на отца, который не сдавался, прикололи его кинжалом, а мальчика потащили за собою. Выходя из мельницы, они увидели на возах двух спящих детей, стороживших хлеб, бывший на первой очереди⁹⁶, и

92 У казаков по Кубани все плывучие мельницы на лодках, называющихся у них *байдаками*.

93 Для безопасности назначается мельница, куда должны сходиться на ночь все люди, работающие на прочих; все, исключая азиатцев, должны быть вооружены.

94 На линии все служащие казаки подчинены сотенному начальнику; все неслужащие и прочие обыватели, подчиняются станичному начальнику, который может быть от простого казака до штаб-офицера.

95 Вода в Кубани вдруг прибывает и вдруг убывает, смотря по погоде в горах. В полноводие она становится несравненно быстрее.

96 На байдачных мельницах, как и на прочих, хлеб мелется поочередно.

взяли их также в плен. Мальчик прибавил, что хищники, переправившись чрез Кубань на *бурдюках*⁹⁷, ехали тихо и что вдруг, когда прискакал один из них, отставший сзади, и сказал что-то товарищам, все они пустились вскачь.

Пшемаф сообщил Али-Карсису им слышанное. Карамзада велел освободить пленным руки с условием, чтобы они не смели покушаться развязывать себе глаза под опасением строгого наказания плетью и того, что им свяжут руки крепче прежнего. Он не хотел, чтобы дети видели Пшемафа среди разбойничьей шайки. По приказанию Али-Карсиса им подали воды, по куску соленого овечьего сыра⁹⁸ и по ломтю пресной просяной лепешки. Потом карамзада дал повеление всем абрекам, исключая четырех только что прибывших, готовиться в путь. Хромому он отдал свою заводную лошадь. Вскоре двенадцать отчаянных абреков, в панцирях, один другого молодцеватее, удалее, выехали на лихих серых конях. После предварительных предосторожностей на сторожевых курганах, хромой отправился куда-то с двенадцатью товарищами.

Пшемаф спросил Али-Карсиса, не опасается ли он, чтобы первый его посланный не попался казакам в руки; но разбойник отвечал, что он поехал совсем в другую сторону. «А если б и повстречался с гяурами, он удалой, вывернется, не только из их рук, но даже из

97 Кожи, снятые целиком с телят и выделанные особым образом: все отверстия наглухо заделываются, исключая одной ноги, в которую вдувают воздух, как в эластические подушки. Посредством приделанных помочей надевается *бурдюк* на плечи, и таким образом можно переплывать самые сильные быстрины, самые широкие реки безопасно.

98 В большом употреблении у простонародья.

когтей самого черта. Он знает изрядно по-русски, следственно, ему нетрудно и обмануть казаков».

С этим ответом разбойник растянулся и заснул. Все прочие сделали то же, исключая нескольких человек; одни из них, облокотись, лежали на бурках и стерегли лошадей; другие смотрели на сторожевые курганы, не подадут ли оттуда какого-либо условного знака. Наконец, один черкес охранял сон карамзады и его гостя и присматривал за пленными детьми, которые связаны были вместе ногами.

Настало время третьего намаза. Правoverные разбудили Али-Карсиса. Он совершил молитву вместе с Пшемафом и с прочими товарищами. После этого каждый принялся за свое занятие: иные чистили и смазывали оружие, другие выдывали сырмятные ремни, кто плел плетъ, кто чинил обувь или седло. Перед закатом солнца гонец возвратился. Разбойник, поговорив с ним наедине, подошел к Пшемафу и сказал:

— Кунак! Если хочешь, так можешь видеть Кулле нынешнюю ночь; но бежать она не соглашается, говорит: теперь нельзя.

— Благодарен тебе и за то, Али-Карсис! Только надо непременно уговорить ее бежать.

— Это, брат, уже твое дело! Впрочем, скажу, тебе, на моих товарищей нынешнюю ночь не надейся, помочь тебе им невозможно, а один ты не сладишь; за тобой будет погоня: как же ты ускачешь от нее? Дело другое — когда много; все ударят врознь и погоня не отыщет тебя.

Заря потухла. Ночь воцарилась и темной пеленой накрыла поля. Совершив пятый намаз, черкесы утолили голодные желудки кто чем мог. Али-Карсису и Пшемафу достали вяленой баранины. Окончив трапезу, карамзада, отойдя в сторону, долго объяснялся с одним из разбойников; потом велел подать коня, закинул на спину винтовку и в сопровождении Пшемафа, прибывшего гонца и двух неотлучных товарищей выехал из камышей. Проводник ехал впереди, за ним шагах в десяти Али-Карсис, за Али-Карсисом Пшемаф, два другие заключали поезд. Они ехали без дороги, молча и озираясь на все стороны; вскоре вдаль послышался лай собак; деревня была недалеко, — и вот перед ними очутились запертые ворота. Передний всадник обменял несколько слов со сторожем и дебелие врата деревни растворились. Они ехали по улицам в том же порядке, но уже не безмолвно, а разговаривая или напевая песню; проводник приветствовал шуткой всех, кто попадался навстречу; наконец весь поезд повернул на двор. Раздался лай собак; несколько человек выбежало из дому — одни унимали их; другие замыкали ворота. Наши всадники, подъехав к столбу⁹⁹ среди двора, слезли с коней. Али-Карсис с телохранителем вошел в кунакскую¹⁰⁰, прочие остались при лоша-

99 У черкесов среди двора, у кладбищ или ключей, известных добротой воды, всегда находятся столбы для привязывания коней: это врытое дерево, с которого срывается кора и оставляются толстые сучья, дабы удобно было к ним привязывать лошадей.

100 *Кунакская* есть особый дом, отделенный от прочих, состоящий большею частью из одной комнаты, редко из двух; вход, равно и два окна, обращены всегда на двор; окна без стекол, с деревянными ставнями. К передней стене между окошек находится камин, над которым в стене выделяются два гнезда: одно для кувшина с водой, другое — для жирника. В стены вбиты колушки, для вешания ружей и шашек приезжих; пол устлан

дах. Один из черкесов подошел к гостям и спросил насмешливо: не к собакам ли они приехали, что стоят на дворе? «Не к собакам, — отвечали приезжие, — но от собак бережем лошадей и седла». Черкес, обидясь, спросил, не думают ли они, что заехали к ворам. «Не к ворам, — отвечали гости. — Но можешь ли поручиться, что на соседственном дворе нет воров?» Черкес отошел прочь, пробормотав сквозь зубы: «Делайте как хотите!»

Али-Карсис был радушно принят в кунакской. После обычных приветствий он спросил:

— Зачем наказывал ты мне непременно приехать? Что тебе надобно?

— Собственно мне ничего не нужно, — отвечал хозяин, — но вот мой гость (указывая на человека средних лет, сидевшего у пылающего камина), убухский¹⁰¹ армянин, имеет надобность в тебе: из Стамбула прибыли чектирмы¹⁰², а груза у него мало, между тем цены высоки: пришлось тебя просить достать пленных.

— Вот и очень кстати! — сказал Али-Карсис. — У меня есть два мальчика, белые и свежие, словно кровь с молоком, да одна девочка, правда, еще мала — не узнаешь, что выйдет! Впрочем, должна

коврами и войлоками домашнего изделия. Почетное место — на стороне камина, лицом к входу: тут часто, кроме ковра, бывает еще подушка, на которой сидит хозяин или почетный гость. В кунакской черкесы принимают своих гостей мужского пола, едят и проводят целые дни. Гости тут ночуют. Женщины туда не входят. Спальня хозяина совсем в другой части двора. Так расположены жилища богатых степных закубанцев; бедные делают, как могут, и рады какому-нибудь крову.

101 Горное племя, примыкающее к Черному морю.

102 Турецкие круглодонные небольшие корабли.

быть хорошей породы — кожа нежная, глаза большие, лоб открытый. Но подожди, кунак: на днях у меня будет из чего выбрать, только не скупись твой гость; пускай он скажет, что ему нужно, мужского или женского пола, малого или большого возраста и роста?

Покуда в кунакской шел торг, на дворе все было тихо и темно. Один из жителей, пользуясь темнотой ночи, подкрался неприметно к приезжему черкесу, последний дернул Пшемафа за полу, и втроем они вышли со двора.

Жилище владельца было окружено высоким плетнем, за жилыми строениями находился пространный скотный двор, куда на ночь загонялись упряжные волы, коровы, телята и несколько овец, обреченных на съедение в случае приезда гостей. В одном из домиков, которые находились в части двора, посвященного женщинам и всему вообще хозяйству, горел жирник на камине; в камине тлелось несколько головешек; дверь и ставни были заперты. К стене, против камина, стояли огромные сундуки, испещренные жезью, медью и разукрашенным железом. Над ними находилось несколько рядов полок, на которых лежали в порядке сложенные ковры, войлоки, тюфяки, перины, подушки разной величины, продолговатые и круглые, стеганые теплые одеяла и холодные шелковые и ситцевые. На верхней полке стояли: несколько фарфоровых простых тарелок, вылуженные медные тазы разной величины — от самого маленького до самого огромного, такие же колпаки для варения пилава, медные кувшины с длинными носиками и узкими для умывания и для питья. На стенах висело несколько зеркал, в деревянных высеребранных и

вызолоченных рамах. На полу, в одном углу, разостлана была простая постель, на которой сидела старуха, поджав ноги и занимаясь рукоделием. В другом углу на красивом ковре постлан был узенький тиковый тюфячок, набитый шерстью и простеганный разными узорами. В изголовье его лежала длинная пуховая подушка, обтянутая синей шелковой тканью, до половины тюфяка накинута было теплое одеяло, из пунцового штофа на шерсти и выстеганное красивыми узорами. У камина на низенькой деревянной скамейке сидела девушка лет шестнадцати. Облокотясь руками на колени, она поддерживала прелестное личико свое пальцами, унизированными кольцами. На голове у нее был красивый шелковый платочек, висевший углом к затылку; за ушами было шестнадцать узеньких длинных кос, черных как смоль и лоснящихся, как лучший шамаханский шелк, в ушах блистали золотые серьги; на лбу и на висках из-под платка виднелись волосы, остриженные ровно, как у русских крестьян; тонкие, выгнутые брови осеняли большие черные глаза, опущенные длинными ресницами; прямой носик будто сторожил две тоненькие, алые губки; подбородок, совершенно круглый и выдававшийся немного вперед, довершал прелесть этого круглого личика, и румянец молодости играл на бархатных щечках красавицы. На длинной роскошной шее висели ожерелья из бус и мелких серебряных монет, на плоской груди, признаке девственности¹⁰³, в обтяжку был надет пунцовый шелковый бешмет, выстеганный красивыми

103 Черкешенки до замужества носят род корсетов: их зашивают девятилетних в сыромятные кожи Длинною европейских женских корсетов. Девушки остаются так вплоть до замужества.

узорами и полами закрывавший колени. Тонкий перехват стана был опоясан узким белым поясом; рукава бешмета, с разрезом от локтя до кисти, были брошены за плечи, из-под них выходили широкие рубашечные рукава, белые как снег. Под бешметом виднелась белая рубашка, покрывавшая верхнюю часть ног, из-под нее выглядывали полосатые шальвары, синие с белым; ноги босые и белые, как пена морская, небрежно опирались на туфли с высокими каблуками. Взор девы был неподвижен, глубокая и грустная дума туманила ее очи. Вдруг раздался приятный чистый голос; кручина девы изливалась в заунывной песне¹⁰⁴:

Уж девять лет, как девицу-сиротку зашили; как девицу кожа теснит!

Не дает она сердцу прядать, не дает она груди развиваться.

*Сердцу больно, груди тесно!*¹⁰⁵

*Пора, пора молодцу девицу кинжалом от кожи теснящей избавить*¹⁰⁶; *да где же тот молодец?*

*Сироты одинокой кто схочет? Старикун отдадут тебя, девицу, немилому, или в наложницы*¹⁰⁷ *ты попадешь ко владельцу.*

104 У черкесов мало коренных песен; они поют что им придет на мысль, без рифм и стоп, только разделяя слова на такты.

105 Эти кожаные корсеты очень тесны, поэтому у девушек не растут груди; когда же снимут кожу, то груди в три-четыре дня вдруг вырастают.

106 В первую брачную ночь муж должен распороть кинжалом кожу, которая навсегда покидается.

107 У черкесов *узденька* (дворянка) не может быть женою князя или владельца, а только наложницею; дети, происходящие от таких союзов, называются *шенка*, т. е. ни князь, ни уздень, вроде древних французских *batards* (*batard de Bourbon, batard d'Orleans*).

У серны есть ноги, убежит она в скалы Кавказа; у птички есть крылья, улетит она в чащу дремучего леса; у золоточешуйчатой рыбки есть перья — уплывет она в воды Кубани.

У девицы ж сиротки нет от злодеев защиты.

Есть у ней молодец! Молодца хвалят!

О, верно, защитит он девицу, о, верно, ее освободит он!

Он собою пригож и удал на коне и ужасен врагам, и страшны его шапка, кинжал и винтовка, а глаз смертоносен — прицелом винтовки когда направляет он пули полет роковой.

О, счастье рая должно быть — вписаться в любовный взор его смертоносных очей!

О, рая блаженство, должно быть — принять на себя его мощной ладони ласканье, и слушать и страстно внимать —

Его благородного сердца биенью.

Не то ожидает сиротку, бездомную девицу Кавказа; о горе, о горе сиротке!

Улетело то время, как девице-красавице гор оставаться сироткой завидная доля была.

Улетело то время, когда продавали черкешенку, девицу-сиротку, купцам истамбульским.

Красавицу гор отвозили тогда за море, за доли, за горы, — в далекую даль...

Счастливые Правоверные!

В гарем падишаха приводили красотку.

В золото, шелк и парчу одевали; камнем дорогим украшали; перед светлые очи султана выводили.

О, завидная доля, могучее сердце султана пленит! О, великое счастье быть предпочтенною целому рою красавиц!

Услада небесная — жить для любви и быть страстно любимой; истомы иной не ведать, кроме истомы одних наслаждений!

Старуха прервала певицу.

— Ах, Кулле, Кулле! — сказала она, — не те уж времена! Свежи в моей памяти те годы, когда все завидовали землячкам, проданным в Стамбул. Теперь делать нечего, деваться некуда! Согласись лучше выйти замуж за жениха, которому владетель охотно тебя отдает.

— Нет, бабушка, никогда и ни за что в свете не соглашусь: он мне ненавистен.

— Ну так согласишься на предложение владетеля Шерет-Лука; ведь от него куда деваться? Ты живешь в его дворе; что сказал он — то и сделает, вломится ночью сюда — кто тебя защитит от него?

Кулле строго взглянула на старуху; отвернула полу бешмета и, открыв тайный карман, сделанный в подкладке, показала рукоять кинжала, потом медленно, обдумывая слова, отвечала:

— Вот что защитит меня, мое оружие! Оно было страшно в руке отца моего и не будет игрушкой в моей! — Потом с жаром прибавила: — Шерет-Лука я ненавижу и презираю, гнушаюсь его позорными предложениями!

В это мгновение камешек упал в камин. Кулле подошла к камину и три раза щелкнула языком. Еще упал камешек. Кулле, обратя губки в трубу, вполголоса произнесла: «Мандахако» (поди сюда). И

молодой черкес на аркане спустился в отверстие трубы¹⁰⁸; кинжал и три пистолета висели у него за поясом. Он вышел из камина; старуха встала¹⁰⁹. После первого приветствия он сказал:

— Кулле! Согласна ли ты выйти за меня замуж?

— Не знаю, Пшемаф! — отвечала девушка.

— Кто же знает? Кто удерживает тебя?

— Ты гяур или правоверный?

— Правоверный.

— Переменишь ли веру отцов?

— Никогда, да и незачем. Русские от меня этого не требуют.

— Оставишь ли гяуров? Перейдешь ли к черкесам?

— Никогда и ни за что в свете, даже и для тебя не сделал бы этого!

— Разве они тебе родственники?

— Русские для меня более чем родные: они меня воспитали, они меня кормят и не делают различия между мною и природными русскими. Я клялся служить русскому царю верно — этого достаточно!

— Да полно Кулле, вздорить! — возопила старуха. — Если он тебя возьмет, где ж он найдет себе приют между единоплеменцев?

— Правда, — отвечала девушка, устремив испытующий взор на Пшемафа, и продолжала спрашивать: — А не покинешь ли меня, Пшемаф?

108 У черкесов трубы широки, а потому когда нужно, всегда избирается этот путь.

109 Женщины не «сидят перед мужчиною, несмотря на звание, которому принадлежат; когда же мужчина сядет, тогда и они садятся».

— Никогда.

— Поклонись.

— Клянусь кобылою пророка, четом и нечетом, никогда н ни для кого тебя не покидать.

— Буду ли я счастлива с тобою?

— Буду стараться всем, чем только могу, сделать тебя счастливой, но отвечай же, Кулле, идешь ли замуж за меня?

— Согласна.

— Когда же? Надо бежать!

— Я готова, у тебя готово ли все? Взял ли ты нужные предосторожности?

— Нынче опасно! Друзья мои не могут мне помочь, погоня может настигнуть нас.

— Так нынче не надо. Я всегда готова; когда же можно будет тебе?

— Пшемаф, ради аллаха и последнего пророка, — возопила старуха, — увези мою внучку скорее: ты не согласишься, сколько горя переносит она от Шерет-Лука, грозящего ей ежедневно позором или несчастьем.

Пшемаф невольно ухватился за рукоять кинжала, зверски окинул глазами вокруг себя, будто ищет жертвы мщения: — А, Шерет-Лук, — воскликнул он, но тотчас же умерил свое негодование.

— Завтра утром, Кулле, — сказал он, — черкес, который принесет тебе вот это, — и показал ей кольцо на пальце, — будет надежный человек; через него ты можешь уведомить меня о себе; он при-

надлежит к здешнему двору, имени его я не знаю. Когда он подаст тебе кольцо, дай ему вот это! — и подал ей рубль серебром. — Я дам знать, когда все будет готово к побегу, теперь прощай! — И Пшемаф вошел опять в камин, откуда вылез по аркану на крышу. Кулле принесла дров и развела огонь, чтобы свежим дымом затянуть след, оставшийся в трубе.

Пшемаф дошел благополучно до двора, где ждали лошади, и послал сказать Али-Карсису, что пора отправиться обратно. Покуда молодой кабардинец имел свидание с любимой им девушкой, разбойник продал своих трех пленных, обязавшись выставить их покупщику в ту же самую ночь. Дорогою Пшемаф благодарил Али-Карсиса за услугу, им оказанную; разбойник отвечал:

— Что обещаю, то всегда исполняю, как бы трудно оно ни было! Но теперь я еще не сделал для тебя ничего, что бы заслуживало благодарность. — Отъехав немного, он прибавил: — Прощай, Пшемаф, вот тебе проводник; с ним проедешь куда хочешь: вон твоя дорога.

Они расстались.

Проводник ехал по степи, потому что ночью по дороге ехать опасно. В разных местах попадались им пешие черкесы, то в одиночку, то по двое: иной уводил корову, другой быка. Всякий раз, когда они встречали кого-нибудь, проводник посылал вслед хищникам бранные слова, прибавляя: «Скоро ли меня послушаетесь да перестанете воровать? Право, стыдно, братцы, а еще стыднее попадаться с ворованным на глаза честным людям, каковы мы, например!». —

«А сам, приятель, куда едешь? — отвечали ему прохожие. — Небось прибрать то, что забыто хозяином!» Проводник пуще прежнего закидал их ругательствами: «Врете, лжецы! — говорил он. — Право, не воровать еду».

До рассвета Пшемаф был у Кубани, переправился один, распротясь дружески и поблагодарив своего проводника, который поехал обратно, чрезвычайно довольный двумя рублями серебром, полученными им в пешкеш (подарок).

На следующий день к вечеру урядник, посылаемый еженедельно в Ставрополь за почтой, привез Александру Петровичу письма. На вопрос последнего, почему так поздно, урядник отвечал:

— Не мог ехать ночью, ваше благородие! В верху на Кубани была большая тревога в соседственном полку.

— Что же там случилось?

— На половине дороги между двух станиц хищники напали на вечерний разъезд и уничтожили его, между тем в станице с вечера было получено известие от князька из мирного аула, что неподалеку от Кубани видна большая неприятельская партия. Тотчас собрали и усилили резервы. При вести о нападении на ночной разъезд казаки с двух станиц бросились на тревогу, настигли партию в степи и окружили ее. Черкесы зарезали своих коней, обложились ими и держались таким образом до рассвета. Утром у них оказалось всего тринадцать человек, напрасно убеждали их сдаться, они не хотели и слышать. Вызвали охотников, которые напали на неприятеля и уничтожили его. Казаков, сказывают, также немало погибло. Шайка,

слышно, будто из абреков. Одного узнали: он ворвался накануне в мельницу, зарезал мельника и увез трех детей. Покуда возились с ними, другая партия, гораздо сильнее, успела переправиться через Кубань, понеслась в степь, напала на один из наших хуторов, разграбила и опустошила окрестности, изрубила всех, кто защищался, и, забрав с собою большой плен, ушла за Кубань. Владелец хутора, бывший там... его-то они особенно искали... едва успел скрыться от хищников.

— Какая же это была партия? Кто начальствовал над ней?

— Неизвестно, ваше благородие, она ушла, не будучи достигнута, погоня опоздала, лошади казаков пристали; но ворвалась она не со стороны абреков.

Урядник вышел. Александр стал распечатывать письма: первое было от матери, которая уведомляла его о кончине бабки, оставившей ему наследство. Прасковья Петровна уговаривала сына предоставить ей управление этим имением. Она писала также, что они едут, по совету медиков, на Кавказские Воды, для пользования отца его, которого разбил паралич, и поручала Александру, когда Николаша к нему заедет, сказать, чтобы он дожидался их на Кавказе. Этого требует отец. Деньги же, нужные ему для продолжения путешествия, она обещала привезти с собою.

Александр тотчас сообщил это брату и отдал ему в удостоверение письмо матери.

— Я согласен дожидаться их, — отвечал Николаша, — но непростительно оставлять меня без денег, когда я их требую.

— Разве ты не видишь, — возразил Александр, — что матушка не получила твоего письма? Когда ко мне писала, она еще не знала, что ты здесь.

— Правда твоя! — сказал меньшей Пустогородов, пробегая опять глазами письмо. — Она пишет, чтобы ты передал мне ее поручение, когда к тебе заеду. — Немного погодя он прибавил:— Поздравляю тебя, господин помещик, с наследством. Скажи, неужели ты сделаешь неосторожность, поручишь матушке управление своим именем? Разве захочешь оставаться в ее зависимости? Не надоело это тебе? Нет, в таком случае я бы решительно отказал!

— Я еще и не думал об этом! Мне жаль, что не мог видиться с доброй бабушкой, жаль и отца, за которого боюсь. Как не стыдно матушке не написать подробнее об его болезни, есть ли, по крайней мере, надежда на выздоровление? Тяжело быть связанным обстоятельствами: иначе я бы поскакал к ним.

— Зачем? Разве они не приедут на воды? Ведь тебе самому необходимо лечиться, а то, пожалуй, останешься вечно без руки. Вот мне дело другое! Но и то приходится поневоле оставаться здесь. Сознаюсь, куда скучна твоя станица!

— Нет, зачем нам оставаться? Завтра же я намерен проситься на воды; недели через две получу позволение, — и тогда поедем вместе в Ставрополь, где пробудем до начатия курса.

— Это было бы не худо! Что же ты думаешь отвечать матушке?

— Я? Я напишу, что как мы проведем лето вместе, то обо всем лично поговорим и решим.

— Ну, если так, предсказываю вперед, она будет управлять твоим именем. Матушка станет доказывать, как невыгодно заниматься этим заочно, будет говорить, до чего доводят приказчики, как они разоряют и прочая, и прочая, найдет что сказать!

— На заочное управление ей нельзя будет ссылаться, потому что я выйду в отставку. Но если она станет требовать непременно имения, разумеется, я уступлю, уважая материнскую волю.

— Будь я на твоём месте, никому в мире не согласился бы отдать свою собственность, на которую не имеют права.

Появление Пшемафа прекратило разговор между братьями.

— Слышали о прорыве? — спросил Александр.

— Да! — отвечал черкес. — Надо было ожидать этого, нынче курбан-байрам¹¹⁰. Собравшись праздновать, нельзя черкесам не попытаться воинского счастья! Чем же им полакомить желудки, как не отбитою барантою? Они так бедны, что без этого им и праздник оставался бы все тем же постом. Впрочем я уверен, этот прорыв был от Али-Карсиса.

— И я то же думаю, — сказал Александр, — однако он проворен! Давно ли здесь был?

Николаша в свою очередь сделал замечание, что если б была его воля, он истребил бы картечью всех черкесов, а тех, которые остались бы ему живьем, беспощадно бы перевешал.

Пшемаф в таких случаях всегда молчал, но тут не вытерпел и сказал:

110 Название праздника, оканчивающего весенний магометанский пост.

— Это, Николай Петрович, все новоприезжие так говорят, и да простит им бог вред, который они делают этими необдуманными отзывами здешнему краю и России. С приезжающих сюда новичков я, если б был начальником, брал бы подписки — никогда не изъяслять здесь подобных мнений и не произносить пустых угроз. Хотите ли, я скажу вам причину побега Дунакая в горы. Один подобный вам филантроп, которого не хочу называть, рассердившись на него по пустому обстоятельству, начал отзываться точно как вы, Николай Петрович; говорить, что всех горцев надо перебить да перевешать, что иначе порядка здесь не будет; и пошел рассуждать в этом смысле... да в заключение прибавил: «Да я — этого негодяя!.. да я его!.. да я пойду с своими казаками, окружу его деревню, сожгу его дом, пленю его семейство, схвачу и, отдам в солдаты...» Мы с вами знаем, что он не может и не смеет этого сделать: но черкесы не знают. У них сказано — и сделано. Пустые угрозы им непонятны. Дунакай узнал как-то об его гневе, испугался хвастливых стращений скорого на язык молодца нашего: мысль о возможности быть отданными в солдаты приводит в трепет всех горцев; и вот Дунакай бежал за Кубань. Теперь непременно пойдет потеха. Видите ли, какую можно заварить кашу неосторожными рассуждениями вроде тех, в какие вы пускаетесь. Правительству и начальству нельзя держать за язык каждого новоприезжего философа; но каждый, если не по благоразумию, то по расчету личной выгоды и общей безопасности должен бы взвешивать свои слова. Лучше бы вы и все, которые готовы давать свое мнение о здешнем крае, говорили о доставлении этим

племенам мирных занятий хлебопашеством, промышленностью, торговлею, об обеспечении- им безбедного существования, а не о резани и вешании: такие отзывы, раздаваясь со всех сторон, произвели бы лучшее впечатление в черкесах, поселили бы в них доверие и надежду, подали бы хорошие идеи... Дверь отворилась.

Отец Иов вошел в комнату проститься со своим приятелем. Он ехал в Черноморию к полку.

Тщетно уговаривали его все присутствующие остаться до утра, ссылаясь на опасность выезжать вечером; рассказывали ему о случившихся прорывах*, но священник не внял советам и уехал.

Два дня спустя в станице заговорили о насильственной смерти отца Иова, которого тело найдено было на дороге. О появлении черкесов однако ж не было слышно. Казаки толковали между собою об этом различно.

Такая весть погрузила Александра в глубокую печаль.

Едва кончилась речь об этом, как ему доложили, что приезжий пехотный офицер желает с ним видеться. Его просили войти.

— Позвольте вас спросить, — сказал он, войдя и обратясь к Александру, — вы ли капитан Пустогородов?

— Я, что вам угодно?

— Полковой командир, пользуясь моим отъездом в Ставрополь, куда я послан за жалованьем для полка, поручил мне вручить вам вот это письмо и деньги, найденные в полковом ящике после почтенного нашего священника, отца Иова. Вместе с деньгами лежало письмо к полковому командиру, в котором священник просил

его, в случае смерти, доставить немедленно деньги к вам, объясняя, что у вас его ручное распоряжение насчет суммы, равно и расписка, выданная мною, когда я принял его деньги для хранения. Не угодно ли вам будет возратить мне эту расписку и уведомить полкового командира о получении от меня денег, в ответ вот этой бумаги?

Тут офицер подал пакет в котором была бумага при довольно значительной сумме.

— Сейчас.

Александр с стесненным сердцем распечатал письмо отца Иова.

Священник просил отправить деньги в ломбард, а билет доставить к его сыну — если он жив, если же нет, употребить означенную сумму на богоугодные дела, по усмотрению Александра.

— Скажите, пожалуйста, каким образом погиб этот благочестивый, редкий человек? — спросил Пустогородов у приезжего.

— Он найден проколотым в грудь кинжалом в нескольких местах; причетник также был убит. В убийстве подозревают подводчика. Отец Иов, не найдя на почте лошадей, нанял везти себя женатого солдата из казанских татар¹¹¹, известного негодяя. Татарин этот, зажиточный человек, теперь не отыскивается. Должно полагать, что он, совершив преступление, бежал за Кубань или взят черкесами в плен. Все знали, что у отца Иова есть деньги, а причетник, выезжая из станции, был, говорят, пьян. Татарин, отправляясь со священни-

111 Татары, поступающие в солдаты, не берут с собою жен; но на Кавказе нередко женятся на туземных магометанках.

ком, занял у товарищей денег, чтобы купить рыбы в Черномории¹¹² и привезти для продажи на линию¹¹³. У жены его не нашлось ни копейки, хотя всем известно, что у них всегда водились деньги. Вещи священника все целы, карманы пусты, шкатулка найдена отпертою, с ключом в замке, но в ней ничего нет.

Получив расписку и бумагу от Александра к полковому командиру, офицер уехал.

— Здравствуйте, Александр Петрович! Как ваше здоровье? — молвил вошедший знакомый уже нам старик полковник.

— Лучше, благодарю вас, полковник! — отвечал Пустогородов, — а я только что к вам собирался о многом переговорить.

— Хорошо, только не теперь. К вам будет сейчас Али-Карсис; мне дали знать с переправы о его прибытии — послушаем, что он скажет. Я видел одного из моих лазутчиков — преестественного плута! Хоть он бессовестно лжет, но случается, говорит и правду: по всему вероятно, за Кубанью готовится большой спектакль. Как кстати, Пшемаф, что вы здесь! Я попрошу вас взять на себя труд быть на этот раз переводчиком.

— С большим удовольствием! — отвечал Пшемаф.

Разбойник вошел к Александру Петровичу, поздоровался со всеми очень сухо и сел. После нескольких обменных слов, не заслуживающих внимания, капитан Пустогородов стал рассматривать шашку разбойника и показывал ему свое оружие. Али-Карсису

112 Главная промышленность черноморских казаков.

113 На Кавказе Кавказская линия часто называется просто *линией*, а земля черноморских казаков просто *Черномориею*.

очень нравилась одна шашка. Александр тотчас предложил ее — они обменялись оружием.

— Что у вас нового? Где Дунакай? — спросил полковник.

— Дунакай за Белой речкой, — отвечал разбойник, — вчера у абазехов виделся он со съехавшимися князьями и старшинами.

— Велик ли был съезд?

— Довольно велик.

— Ты был там?

— Был.

— Кто был еще?

— Убыхские старшины с своим питомцем — сыном убитого вами Жам-Булат Айтекова, очень много абазехов, шабсугов и старшин других племен.

— Где же был съезд?

— На берегу Белой речки, близ дуба, где была Машина¹¹⁴.

— Полно, Али-Карсис, мяться-то; расскажи-ка все как было.

Разбойник начал рассказ таким образом.

— Дунакай, помните вы, не хотевший никому показываться,

114 Один известный наездник, во время зимнего набега, захватив абазеха в плен, перед отступлением приказал зарыть бочонок с порохом у ног красовавшегося дуба и провести под землю фитиль. Пленного раздели догола и, приковав гвоздями к дубу, обливали холодной водой в сильный мороз; между тем наездник с своими отошел, и фитиль зажгли; прикованный стал призывать на помощь; на отчаянные вопли съехалось множество абазехов, которые начали его освобождать. Наездник остановился вдали, тщетно ожидая взрыва адской машины. Полагать должно, что абазехи затоптали невзначай фитиль, ибо порох не загорелся. С той поры место, где происходило это, прозвала Машиною.

назначил теперь день для свидания с нами. Узнав о том, мы рано утром отправились в назначенное место. Подъезжая, мы увидели в некотором отдалении на кургане семь человек, занятых намазом. Лошади их паслись же поодаль. Мы остановились за другим курганом, не слезая с коней. Едва первые лучи солнца стали показываться, как эти семь человек взъехали на холм, за которым мы находились. Впереди всех был маститый старик с огромною седой бородой; в лице его изображалось радушие. Не слезая с лошади, он громко сказал нам: «Селам алекум¹¹⁵, адыге¹¹⁶!» «Алекум селам, Дунакай!» — ответствовали все присутствующие. Воцарилось глубокое и продолжительное молчание. Наконец старик, сдвинув густые брови и тяжело вздохнув, воскликнул: «Мечь и кровь гяуру!» — «Мечь и кровь гяуру!» — повторили все в один голос. Опять молчание. Старик с суровым видом продолжал: «Во взорах ваших я читаю вопрос: почему Дунакай покинул мирный быт, к которому всегда старался склонять земляков? Почему бежал от тех, с которыми старался сблизить единоплеменцев советами и наставлениями? Мой ответ вам: мечь и кровь гяуру!.. Да, адыге! Всегда советовал я вам не присоединяться к мятежным племенам! Не внимайте голосу людей кичливых, говаривал я вам, адыге! Но теперь, адыге, мечь и кровь гяуру! Гяур хочет разорять наши деревни, грозит брать нас в солдаты... Когда эти угрозы дойдут до русского правительства, до русского царя, правительство сжалится над нами, царь смилуется — и тогда с благодарностью, с

115 Приветствие магометан при встрече между собою; о гяурами же считается грехом приветствоваться так.

116 Черкесы называют себя *адыге*.

покорными головами, забудем народную месть! Теперь нам терять нечего: пока еще не отданы в солдаты¹¹⁷, предупредимте это новое бедствие, отхлынемте в горы — там грозная природа защитит нас. Обяжемтесь общею клятвою не сдаваться живьем в руки неприятеля, не уступать ему ни одной пяди земли, не иметь с ним никаких сношений, не бывать в его владениях иначе как вооруженною рукой! Положимте, что тот, кто нарушит клятву, будет продан невольником в одну сторону, его семейство в другую, а дом и все имущество будут расхищены народом! Если же он успеет укрыться от кары бегством, тогда народная клятва должна преследовать его всюду¹¹⁸. Я, с четырьмя сыновьями и двумя зятьями, даю вам, адыге, эту клятву и обет мести и крови гяуру! Али-Карсис замолк.

— А тебя избавили от этой присяги — тебе и без того нельзя показаться перед русскими? — сказал полковник, смеясь.

— Как вы это знаете? — спросил разбойник с удивлением.

— То ли еще я знаю! — отвечал старик. — Я знаю также, что все старшины разъехались с намерением приводить к присяге весь зависящий от них народ, потом хотели собраться и помочь Шерет-Луку увести подвластных, потому что он опасается, что не все за ним последуют.

— Как вы все это знаете? — спросил разбойник. — Все, что я вам рассказал, пускай все ведают, но что вы теперь говорите, изменник мог вам передать: мне неизвестен он, жалко! — И Али-Карсис

117 Угроза возмутителей, пуще всего страшая черкесов.

118 Эта клятва существует у шабсугов, абазехов и некоторых из меньших соседственных враждебных племен.

задумался, нахмурия брови. Пшемаф сделал ему несколько вопросов, на которые он нехотя и рассеянно отвечал.

Полковник, ссылаясь на недоконченные дела, ушел домой.

Разбойник, посидев еще немного, простился с собеседниками и вышел, но потом возвратился опять и, вынимая из кошелька деньги, сказал Пшемафу:

— Возьми назад деньги свои, Айшаты невозможно возвратить.

— Почему?— спросил Пшемаф.

— Потому что она продана стамбульскому купцу и теперь должна уже плыть по морю.

Он удалился.

Александр спросил Пшемафа, что говорил карамзада об Айшат.

Черкес принужден был рассказать ему все — как отправили тавлинку в Ставрополь, как ее взяли в плен, как он хотел ее выкупить и как, наконец, она продана стамбульскому купцу. Пустогородов задумался. Все прошлое представлялось живо его воображению. Но он сказал:

— Дай бог ей счастья! Она имеет все, что в Азии нужно для женщины, редкую красоту. Кто знает? Быть может, моя Айшат делается женою султана, красою гарема: тогда горделивая властительница не вспомнит, быть может, что я призрел ее полумертвую во время осады Ахулго, в рубище, в коростах¹¹⁹; призрел, когда она

119 Черкесские дети, попадающие в плен, первые года всегда бывают в шолудях и коростах; должно полагать, это происходит от перемены пищи, образа жизни и потому, что дома они не чисто содержатся.

изнемогала от холода и заразы, цепенела от ужасов штурма, при виде, как отец и мать ее погибали на ее глазах. Быть может, тогда при встрече со мною она и не захотела бы узнать меня.

На следующий день Пшемаф вошел к Пустогородову и торжественно сказал:

— Прощайте, Александр Петрович! Меня отправляют с вашей сотней в отряд, собираемый для того, чтобы воспрепятствовать Шерет-Луку бежать с деревней в горы. Лекарь Кутья также выпросился в поход и радуется, что наконец удастся ему побывать за Кубанью.

— Очень рад, — отвечал Александр, — что вам поручили мою сотню, только сделайте одолжение, не давайте казакам без позволения грабить да резать неприятельские головы; а сами, право, оставьте свою джигитовку...¹²⁰ к чему такое неуместное и совершенно бесполезное удалство? Вот если б сотня замялась... но надеюсь, что с моей этого не случится.

— Хорошо! До свиданья, господа!

Пшемаф с восхищением, подобно пташке, вылетающей из клетки, упорхнул из комнаты.

Конец первой части

120 Наездничество: черкесы в деле часто перестреливаясь поодиночке, проделывают между тем самые трудные повороты на коне.

Часть вторая

I

Рассказ лекаря

*...as if at home they would not die —
To feed the crow on Talavera's plain,
And fertilize the field that each pretends to gain.*

Byron¹²¹

*Подняли трупы, понесли
И в лоно холодное земли
Чету младую положили.*

А. Пушкин

Вечерело. Пустогородовы сидели у себя и разговаривали вместе. Александр говорил о мерах, которые намерен взять, чтобы отыскать дальнего родственника отца Иова (так он называл сына его) и исполнить последние приказания своего погибшего друга. Нико-

121 В эпиграфе — строфа 41 из песни первой «Паломничества Чайльд-Гарольда».

У Талаверы, смерть ища в бою
(Как будто мы ей дома не подвластны!),
Сошлись они, чтоб кровь пролить свою,
Дать жирный тук полям и пищу воронью.
Перевод В. Левика

лаша слушал брата большей частью рассеянно; день ото дня он становился утрюмее, не мог превозмочь скуки, его одолевавшей.

Дверь открылась.

— А, доктор, здравствуйте! — воскликнул капитан. — Верно, из отряда?

— Да, прибыл с ранеными, — отвечал доктор.

— Много ранено?

— Человек полтора.

— Нашего полка сколько? — спросил Александр с некоторым беспокойством.

— Человека четыре ранено, убито двое из нижних чинов и один офицер.

— Кто такой? — спросил Пустогородов с возрастающим беспокойством.

— Пшемаф! — отвечал лекарь. — Он умер от раны.

— Пшемаф! — воскликнул Александр, открывая большие глаза, в которых выражалась глубокая горечь.

— Как жаль его! — возразил Николаша, куря сигару и пуская клубы дыма изо рта.

— Да, господа, Пшемаф ранен в желудок навывлет; часа два спустя он умер от воспаления.

— Как же это случилось? — спросил Александр.

— Мы стояли лагерем на левом берегу... как бишь эта вторая река, что течет по закубанским степям? Все забываю название.

— Лаба? — сказал Александр.

— Да, Лаба. Мы стояли лагерем на левом берегу Лабы; третьего дня во втором часу утра лазутчики дали знать отрядному начальнику, что Шерет-Лук со всею деревней и некоторыми соседними аулами пошел к Белой речке¹²² и что большое неприятельское скопище прибыло для прикрытия его побега. По этому известию мы выступили со всем отрядом, состоявшим из 3000 человек. Приказано было идти без шума, не курить трубок, не разговаривать, соблюдать строжайшую тайну. Во все время я *находился неотлучно* при Пшемафе. Только что рассвело, перед нами был покинутый Шерет-Луков аул, лежавший у *левого берега* Лабы, на довольно пространной поляне, примыкающей к дубовому обширному лесу. Пехота далеко отстала, с нами были одни казаки; мы продолжали следовать вдоль леса, оставляя аул в стороне. Вдруг из дубравы послышался выстрел по нашему арьергарду; вслед за тем закипела стрельба со стороны черкесов; наши дали несколько выстрелов картечью по опушке и послали спешенных казаков из арьергарда занять ее. Конница остановилась. Пшемаф и я — мы стали против пространного перелеска, пересекаемого дорогой, только не той, по которой нам должно было следовать. Вскоре поляна эта наполнилась неприятельской конницей. Пшемаф показал мне старика на сером коне. За ним везли белое знамя с красными полосами. «Вот Дунакай!» — сказал он мне. Другой черкес на красивом вороном жеребце всматривался пристально в нас. «А вот и Али-Карсис!» — говорил покойный. Но вдруг наше внимание было отвлечено криками «ура»

122 За этой рекой живут непокорные абазехи.

и сильною перестрелкою, закипевшей в арьергарде. Вслед за этим мы увидели, как наши спешенные казаки выбегали обратно из опушки. Неопытный их предводитель, еще недавно переведенный на Кавказ и не бывавший в здешних делах, имел неосторожность закричать: «На конь садись!» Коноводы поскакали подавать лошадей казакам, сделалась суматоха и беспорядок во всем арьергарде. «Что он делает? Испугался, что ли? Что бы ему кинуться со всем арьергардом в «ура» и поддержать отступающих!.. — говорил Пшемаф вне себя от досады. — Посмотрите!» — прибавил он. И в самом деле было на что смотреть. Едва опытный глаз Али-Карсиса увидел все происходившее, как разбойник взвил несколько раз плетью по воздуху, и черкесы с поляны помчались к нему с дикими криками «гий, гий, гий!», накрыли казаков, садившихся в большом беспорядке на коней, смешали их и потеснили — шашками в ребра — арьергард. Отрядный начальник закричал: «Пшемаф! С сотнею в атаку!» Между тем он поставил несколько сотен против перелеска, чтобы помешать неприятелю кинуться на помощь Али-Карсису. Пшемаф командовал: «Сотня за мною — ура! в атаку!» и понесся со своими казаками, из которых одни вопили «ура!», другие «атака!» Я поскакал с ними. Черкесы, слыша нас сзади, оставили арьергард и повернули направо к лесу. Пшемаф стал отрезывать их, надеясь, что арьергард поддержит его; но тщетны были ожидания. Между тем несколько сагандачных¹²³ очутились перед нами и с удивительной

123 Имеющие луки и стрелы. При преследовании они должны быть впереди своих, на хвосту у неприятеля; при отступлении находиться сзади и отстреливаться.

ловкостью пускали в нас свои стрелы. Али-Карсис, напрасно стараясь остановить свою горсть наездников, присоединился к сагандачным и скакал сзади их, придерживая коня. Пшемаф выхватил шашку¹²⁴ и закричал Али-Карсису: «Ну, славный рубака! Испытаем друг друга в искусстве и удалстве!» Разбойник обратился к нему и сурово отвечал: «Отъезжай прочь от меня, дерзкий мальчишка! Куда тебе со мною идти на шашки, я в панцире!» — «Все равно!» — воскликнул Пшемаф и замахнулся; разбойник хладнокровно прицелился, спустил курок пистолета, и Пшемаф ринулся на землю; конь его упал бездыханный, пронзенный пулей в оба виска. В это мгновение выскочил казак и, напав на Али-Карсиса, ударом шашки по спине разрубил его черкеску, из-под которой засверкала кольчуга. Разбойник прицелился другим пистолетом и, сказав: «Гяур, тебя не пощажу!», выстрелил. Казак, убитый наповал, свалился с лошади, конь его помчался без седока. Казаки, увидев офицера своего пешего, остановили преследование; черкесы более чем на ружейный выстрел также стали; Али-Карсис находился ближе к нам. Пшемаф, ругая разбойника, сел на свою заводную лошадь и, лаская ее, говорил: «Пеняй на Али-Карсиса, мой добрый конь, что опять тебя замучу! Он мог меня убить, а не хотел даже ранить». В это время прискакал к нам офицер конной казачьей артиллерии, присланный отрядным начальником, и требовал, чтобы казаки стали как можно теснее перед орудием, пока из-за них он наведет его на черкесов. Офицер на-

124 По обыкновению черкесов и линейных казаков, шашка вынимается из ножен в то мгновение, когда нужно ее употребить.

вел орудие. Послышалась команда: «Раздайся! Пали!» и картечь взвизгнула. Когда дым рассеялся, мы увидели Али-Карсиса и его лошадь простертыми на земле; несколько черкесов прискакали на это место, спешились и повлекли труп разбойника. «Он убит! — воскликнул Пшемаф жалобным голосом, но, преодолев тотчас же сожаление, прибавил: — Надо отбить тело!» и в одно мгновение закричал: «Сотня, ура!» Мы понеслись. Одна часть черкесов ускакала, другая пустилась к нам навстречу; наши выхватили шашки; на минуту мы смешались с неприятелем, но черкесы обратились в бегство, волоча за собой тело убитого предводителя. Возле коня нашли шашку, которою вы, Александр Петрович, с ним обменялись, три пистолета и кинжал; пояса, на которых они висели, были перерваны в двух местах; должно полагать, что картечь попала ему в перехват. После мы узнали от лазутчиков, что наши предположения были справедливы; сверх того другая картечь вошла ему в грудь, а третья разбила голову. Пшемаф получил приказание возвратиться к своему месту; я хотел было помочь лекарю другого полка перевязывать раненых в арьергарде; но, нашед, что он с фельдшерами уже оканчивал свое дело, поехал опять к Пшемафу, стоявшему с сотней против перелеска. Тут я узнал, что наш отрядный начальник решил ожидать пехоту и потом, сдав ей раненых, хотел пуститься с кавалерией догонять семейства бежавших Шерет-Луковых подвластных. Переводчик нашего полка подъехал к нам и, указывая на толпу, стоявшую отдельно, спросил у Пшемафа, узнает ли он своего приятеля Шерет-Лука. «Как, это Шерет-Лук? Этот мерзавец?» — воскликнул

наш кабардинец с негодованием. «Он самый!» — отвечал переводчик. Тут Пшемаф слез с коня, подтянул подпруги, вскочил опять на лошадь, взвил плетью по воздуху и как стрела понесся с места. Потом крутым поворотом остановил он коня, повторил несколько раз то же самое и, когда лошадь его разгорячилась, пустился стремглав к неприятелю. Переводчик и я следили его глазами. Подъехав на самый близкий ружейный выстрел, он закричал по-черкесски: «Благородные адыге! Не стыдно ли вам терпеть среди себя этого негодного свиноеда Шерет-Лука? Я сам был очевидец, как этот трус ел у русских свинину и запивал ее вином»¹²⁵. Переводчик, передавая мне его слова, сказал: «За этим последует у них схватка: князю нельзя перенести такой всенародной обиды! Шерет-Лук, конечно, не слышит между черкесов храбрецом, но, вероятно, воспользуется этим случаем». Едва сказал он это, как Шерет-Лук отделился от толпы; за ним поехало несколько человек, но Дунакай остановил их. Переводчик не слышал его слов, однако догадывался, что, будучи аталыком Шерет-Лука, Дунакай желал доставить ему случай заслужить добрую славу в народе и тем навсегда уничтожить позорную молву о себе. Шерет-Лук отскакал саженью на двадцать, поворотил коня в сторону, выхватил ружье из нагалища¹²⁶ и, целясь на всем скаку, закричал Пшемафу: «Вот как наказывают подобных тебе оскорбите-

125 Известно, что магометанская вера воспрещает есть свинину и пить вино, поэтому обличить в том почитается у горцев величайшим оскорблением для обвиненного.

126 Черкесы и линейные казаки носят ружья за спиной всегда в бурочном нагалище.

лей, гяур!» Выстрел раздался. Пшемаф злобно захохотал и, закричав ему в свою очередь: «Вижу, что не умеешь стрелять, надо тебя поучить!» — понесся вслед за ним. Почти догоняя его, он выхватил ружье и выстрелил. После узнали мы, что пуля прострелила колено Шерет-Луку, но тут, не подавая даже вида, что он ранен, владелец продолжал скакать. Пшемаф все ближе и ближе настигал его и уж замахнулся шашкою, как в эту минуту князь выхватил пистолет, прицелился, выстрелил, — шашка Пшемафа опустилась на спину Шерет-Лука, но рука его не в силах была нанести смертельного удара, лезвие скользнуло по одежде врага, шашка выпала из руки, и Пшемаф опустился грудью на шею коня, который остановился. Вмиг все неприятельские партии понеслись, чтобы захватить нашего кабардинца. Сотня его кинулась на выручку, за нею весь наш полк. Казаки схватились в шашки; но это было лишь на несколько секунд, потому что неприятель обратился тотчас назад: казаки пустились было преследовать его; но, покорные голосу отрядного начальника, остановились. Генерал спросил: «Где дуэлист, который виною всему беспорядку?» «Он ранен», — отвечали ему. «Счастье его, — сказал генерал, — а то я хотел его арестовать; прошу покорно, чего наде- лал!»

Лекарю пришли объявить, что полковник пошел в лазарет ос- мотреть привезенных раненых. Кутья схватил шапку и сказал:

- До свиданья, господа!
- Приходите скорее назад,— закричал Александр ему, вслед.
- Приду,— отвечал лекарь.

— Ведь очень жаль Пшемафа, — сказал Николаша брату своему, когда они остались одни, — но какое сумасшествие самому добровольно наскочить на пулю! Дело иное, если б это была необходимость или обязанность. Воля твоя! Я *нахожу* такое неуместное удалство малодушием.

— Ты так рассуждаешь, Николай, потому что не знаешь черкесских чувств. Черкес имеет свои убеждения, по которым действует: по его мнению, тот и человек, кто храбр и ловок в опасностях, кто метко стреляет, хорошо рубит, умеет укротить дикого коня, успеваешь в женщине, которая ему нравится, но не поработается ей, тот, наконец, кто неумолим во вражде. Месть для него — священный долг, потому что он никогда не слышал об учении: *любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас*. Хотя и у христиан немногие следуют этому приказанию; однако каждый знает его: оно врезывается с младенчества в его памяти и потрясает в нем природное влечение к мести. Впечатления первой юности никогда совершенно не изглаживаются. Поэтому понятно, как сильно ненависть и жажда мести должны были волновать Пшемафа, в котором всякое природное чувство легко воспламенялось. Впрочем, молодой кабардинец был очень кроток нравом, предприимчив, великодушен и храбр, не из тщеславия или хвастовства, а по природному влечению. Во взгляде его и речах порой проглядывали богатые дарования и глубокая пронизательность. Он погиб смертью храбрых — мир праху его! Счастливец, он сошел непорочный в могилу, хоть без громкой славы, но зато и без угрызений совести. Жизнь для него была довольно

тягостна: он любил единоземцев, но узами благодарности был связан с их противниками. И тут, однако ж, Пшемаф умел оставаться благородным человеком; он был верен своей присяге, не изменяя любви к отчизне и не торгуя земляками для личных выгод. Кто знает, что ожидало его? Богатство и власть или бедствия, позор и гонение? По крайней мере, теперь он избегнул, что, по моему мнению, хуже всего — разочарования в жизни.

Лекарь возвратился. Когда он прибежал, запыхавшись, в лазарет, полковник шел уже домой; старик остался доволен найденным порядком. Но помещение, слишком тесное по числу больных, было причиной, что он приказал очистить несколько казачьих домов.

— Продолжайте рассказывать, доктор! — сказал Александр.

— Что же, когда ранили Пшемафа? — спросил Николаша.

— Пехота тогда уже подошла и остановилась не доходя до поляны, где наш арьергард имел дело. Пшемафа понесли туда, а я поехал вперед с несколькими казаками, чтобы выбрать место, где его положить для перевязки. Кавалерия понеслась вперед, штаб-офицер, командовавший пехотой, имел приказание стоять на одном месте. Покуда я возился, пехотный капитан, старый закавказец, подошел к штаб-офицеру и убедительно просил его занять опушку леса стрелковой цепью; но этот рассердился на него и отвечал: «Что вы меня учите? Я знаю, что делаю, мне приказано отрядным начальником стоять здесь: горцы очистили это место, вам нечего бояться». Капитан отошел со слезами на глазах и сказал, обращаясь ко мне: «По милости этих новичков мы и терпим уроны: смотри-

те, пожалуйста, только с неделю приехал он сюда, сроду не слышал свиста пули, ему двадцать восемь лет — а кричит уже, что никто здесь ничего не смыслит, учит, как взяться, чтобы покорить черкесов, как вести войну, и не слушает меня, сорокалетнего старика, меня, который преждевременно поседел в походах и двадцать два года слушаю свист горских пуль! Он считает еще меня трусом! Придется опять лезть не щадя себя. Жаль моих старых солдат: их и то уже осталось мало; а что с рекрутами? Еще осрамишься с ними и — к черту долголетняя, испытанная служба! — Капитан вздохнул глубоко и молвил: — Давно ли по милости другого новичка потерял я сорок человек моей роты, да каких молодцов, моих сослуживцев! Правда, он сам не рад был, что завел нас бог весть куда. Где ему водить людей на горную брань! Он весь век книжки читал, воевал по ландкартам¹²⁷, а о горах и горцах и не слыхивал: ох уж мне эти книжки, стратегии!.. не то бывало прежде». Я оставил огорченного офицера, потому что принесли Пшемафа, перевязал его: рана была смертельная. Он был очень слаб, но в памяти. Между тем кавалерия скрылась из виду. Вдруг из дубравы раздался выстрел и один солдат упал, потом ружейный залп — и несколько солдат переранено, двое убито; неприятель дико закричал в лесу, и пошла частая ружейная перестрелка. Штаб-офицер всхлопотался, приказал старику-капитану занять с ротой опушку, но капитан подошел к нему и сказал: «Нет, отец мой, не так у нас водится; прикажите прежде очистить опушку леса артиллерийскими картечными выстрелами,

127 *Ландкарты* — устаревшее название географических карт.



и тогда я возьму ее с застрельщиками на ура, иначе погублю много людей. Если б давеча позволили мне занять этот лес, ничего бы не случилось». Штаб-офицер вспылил, обиделся, хотел что-то сказать, как вдруг мимо его ушей прожужжала пуля и упала около него — это было самое красноречивое убеждение штаб-офицеру, чтобы предоставить капитану делать по-своему. Из орудий дали несколько выстрелов; потом капитан впереди своих застрельщиков бросился в лес с криком «ура». Неприятель встретил его ружейными залпами. Тут также потеряли мы несколько человек, но лес был занят и черкесы отступили. Капитан получил рану, другой офицер его сменил. «Доктор,— сказал он, придя ко мне,— вот вам работа по милости нашего мудрого новичка — посмотрите!» Тут он открыл грудь свою; пуля проскользнула между ребер; я перевязал его, уверяя, что рана ничтожна! «Мне все равно!» — отвечал он и протянул левую руку; тут пуля вошла повыше кисти и, раздробив кость, остановилась за кожей. Взглянув на эту рану, я сказал, что надо вырезать пулю. «Ну режьте!» — отвечал капитан сердито. Я вынул скальпель¹²⁸, надрезал немного кожу, засунул щипчики и пробовал вытащить видневшийся свинец; но разрезанное место оказалось мало, пуля не выходила; я стал прорезывать более; капитан вдруг вырвал руку и с сердцем сказал: «Что за лекаря! Даже острого инструмента у них нет: пилят, пилят тупым ножом!» С этими словами он выдавил пулю пальцами правой руки чрез отверстие, мною прорезанное, несколько продрав рану. Напрягая все свои силы, он даже не поморщился. Потом, взяв

128 Операторский ножик.

пулю, капитан сказал: «Дура! Зачем не попала ты мне в лоб? Одним разом всему бы конец! Что мне в жизни? Буду штаб-офицером, деться некуда! Без службы жить не могу; в полковые командиры и думать нечего; а батальонные также не попаду, туда переводят из России, присылают все людей образованных, ученых: что нашему брату? Вакансии штаб-офицерской почти не бывает! Перевязывайте же, доктор!» — сказал он опять, протягивая мне руку. Исполнив это, я возвратился к Пшемафу и нашел его довольно спокойным, но будто в забытьи!

Тут я увидел двух казаков, показывавших что-то яркого, красного цвета. Я подошел посмотреть — это был женский бешмет и платок; казаки продавали их. Я спросил, как они это достали, и получил в ответ, что когда арьергард спешился и занял опушку леса, казаки нашли там женщину, смертельно раненную. В то самое время переводчик указал мне неподалеку от перелеска, где был ранен Пшемаф, что-то в виде сидячего трупа и сказал, что, когда началась последняя перестрелка, он заметил здесь как будто женщину, одетую в красное. «Быть может, она еще дышит, — говорил переводчик. — Если позволят казакам, они привезут ее». Я тотчас выпросил у штаб-офицера позволение четырем человекам съездить туда с переводчиком и наказал этому последнему привезти раненую ко мне для перевязки. Казаки скоро возвратились, неся тело, переводчик один ехал верхом, разговаривая со старухой, шедшей возле него. Дошед до лагеря, казаки сложили на землю женщину, совершенно нагую, исключая стана, который был зашит в кожу. Она дышала ча-

сто и прерывисто, какой-то глухой свист выходил из ее внутренности; чрезмерность страданий изображалась на прекрасном молодом лице; изредка и невнятно произносила она слово су (вода). Мне сказали, что она просит пить. Я нагнулся посмотреть ее рану... ничего не было; я склонил ее на другой бок, и что, вы думаете, представилось взору моему? Рана зияла пастью в поларшина; перерубленные ребра выдавались наружу, а внутри виделось легкое, которое трепетно двигалось от дыхания; кисть правой руки была также отрублена — спасения не было! Чтобы прекратить скорее ее страдания, я велел несчастной подать воды, пить сколько угодно. Это возымело свое действие: конвульсия, другая, стянули все ее суставы; потом тело вытянулось в струну; еще два, три вдоха — и страдальца окончила только что расцветшую жизнь. Старуха, увидя возле себя мертвую, начала рвать волосы, царапать ногтям и лицо и, наконец, ринулась на тело бездушной девушки, стала обнимать и целовать его в исступлении.

Переводчик из рассказов узнал, что эти две женщины были на арбе и ехали вместе с семейством Шерет-Лука, когда жители бежали из аула, но в лесу у них изломилась ось и они принуждены были отстать; никто не подавал им помощи. Обе женщины скрылись в лесной чаще, с намерением возвратиться позднее в аул. Подходя к лесу, они увидели на поляне казаков и тотчас спрятались. Скоро казаки вбежали с их стороны в лес и застрелили двух, ими дотоле не замеченных черкесов. Немного спустя горцы опять заняли это место. Два казака, на бегу от неприятеля, наткнулись на убитых

черкесов и, не заметив от страха, что это трупы, прильнули в кусты; горцы проскакали мимо и более туда не возвращались. Когда все утихло кругом, один казак привстал, начал оглядываться, потом вылез. Увидя трупы, его испугавшие, он подошел, чтобы, по обыкновению, отрезать им головы. В эту минуту молодая черкешенка с остервенением выбежала из чащи и кинулась на казака с кинжалом; старуха, бывшая с нею, не в состоянии будучи поспеть за девушкой, видела, как она замахнулась, как уже готова была поразить неприятеля. Вдруг бедняжка падает с восклицанием «аллах!». Другой казак, набежав сзади, разрубил ей шашкою бок.

В это мгновение раздались выстрелы и послышалось гиканье черкесов; оба казака бросились из лесу, оставив раненую черкешенку. На пальце ее было богатое кольцо: горцы хотели его снять, но девушка сжала крепко руку, тогда один из них отрубил ей кинжалом всю кисть и бросил несчастную в этом положении. Я спросил у переводчика, не знает ли он, кто эта черкешенка. «Узденька Кулле, невеста Пшемафа, — отвечал он, — а старуха — родная ее бабка. Надобно бы ей позволить взять тело — это было бы, по крайней мере, отрадою для старухи».

Я выпросил желаемое у штаб-офицера, который колебался, из опасения ответственности, но наконец старуха навьючила на спину труп внучки и потянулась к родному аулу; но недалеко отошла она: бремя было не по ее силам¹²⁹; сад села отдыхать, горько рыдая над

129 Черкешенки носят весьма большие тягости; но мертвое человеческое тело, особливо когда еще тепло, так тяжело, что невозможно далеко его протащить.

мертвым телом. Вдруг раздался поблизости ружейный выстрел¹³⁰, смотрю — старуха медленно валится. Я послал посмотреть, что с нею случилось: она была убита пулей в голову. Тут близко стояли солдаты возле своих ружейных козел, и один из них, молодой человек, вытирал ружье. «Ты убил эту женщину?» — спросил я. «Не могу знать, ваше благородие», — отвечал солдат. «Как тебе не стыдно стрелять по старухе?» Он отвечал: «Виноват! Неумышленно! — затравки отсырели, ваше благородие! Давеча ружье все осекалось! Что вам их жалеть — ведь они родят проклятых черкесов!» Все солдаты громко захохотали, прибавляя: «Правда, брат, твоя!

Да еще сами дерутся чем попало, готовы отправить христианина на тот свет!»

— Ужели черкешенки дерутся? — спросил Николаша.

— Случается, — отвечал Александр, — и даже не уступают мужчинам в отваге. Что же, доктор, Пшемаф знал об этом? — спросил он, обращаясь к Кутье.

— Нет, — отвечал последний, — сначала он лежал в забытьи; потом у него сделалось воспаление; страдания и жажда были так велики, что он не мог ни чувствовать, ни понимать.

— Это к лучшему, — примолвил Александр. — А конница настигла бегущих?

— Нет! Проскакали огромное пространство, имели жаркое дело и возвратились без всего.

130 Ружейные выстрелы черкесские и казачьи различаются звуками от солдатских; солдатские ружья большего калибра, в них кладется большой заряд, а пуля между тем слабее входит, поэтому их выстрел дает гул, черкесский и казачий производит род шелканья.

— Велика у нас потеря?

— Кроме привезенных сюда раненых, мы погребли у лагеря, близ аула, Пшемафа да человек до пятидесяти казаков и солдат.

— Скажите, доктор, точно ли убит Али-Карсис? Не приняли ли другого за него?

— Нет, наверное он. Я был у отрядного начальника, когда его превосходительство об этом говорил. Я сообщил ему свое предположение, что разбойник должен был погибнуть от картечи, попавшей ему в перехват, ибо видел пояса, перерванные в двух местах. Генерал тотчас спросил, куда делось его оружие? Оно находилось в сотне Пшемафа. Его превосходительство приказал принести это оружие и, давая вашему старшему уряднику полтинник, сказал, что оставляет оружие за собою; урядник не брал денег, уверяя, что оно принадлежит сотне. Генерал рассердился, раскричался и выгнал его вон.

— Если так, — молвил Александр, — когда сотня возвратится, я узнаю об этом формально и буду требовать по начальству оружия или настоящей его стоимости!

— Охота вам, Александр Петрович, нарываться на неприятности! — сказал лекарь.

— Это моя обязанность! — отвечал капитан. — Убедись, что лишь одни дрянные казаки остаются с добычею, потому что грабят сзади, покуда лучшие дерутся впереди, я завел свой порядок: всякая добыча принадлежит сотне; вырученные деньги вносятся в артель и делятся поровну.

— О, если так, дело другое, — возразил Кутья, смотря на часы.

Е. Хамар-Дабанов

— Однако поздно! — заметил он. — Прощайте, господа! Я очень устал с дороги и от возни с ранеными.

Лекарь вышел.

II

Неотаки¹³¹

Je vous prenais tous pour des morts,
et moi, vivante, je vous passais en revue...

Georges Sand¹³²

Капитан Пустогородов получил позволение ехать на Кавказские Минеральные Воды. Оба брата отправились в Ставрополь ожидать там начатия курса.

Дорога по Кавказской линии вовсе незанимательна: все степь да степь — кое-где пересечена она оврагом; инде ряд курганов вздымается на равнине полей, рисуясь на горизонте. По Кубани

131 *Неотаки*. — Под этим именем выведено реальное лицо: Найтаки (Нойтаки, Ноитаки) Алексей Иванович (1786—?), арендатор гостиниц — (рестораций) в Пятигорске, Кисловодске и Ставрополе.

132 В эпитафии — цитата из Жорж Санд: «Я считала вас мертвыми, и я, живая, проводила вам смотр». (Подстрочный перевод).

станции обнесены рвами и окружены плетнем, увенчаны колючим кустарником, ворота выкрашены наподобие верстовых столбов; над ними прибита черная доска, на которой белою краской написано название станицы и какому полку она принадлежит; дома в них деревянные с камышовыми крышами. Степные, или по-тамознему, внутренние станицы, не имеют оград, рвов и ворот; они растянуты по обеим сторонам какого-нибудь тенистого ручейка, который величается именем речки; дома в иных деревянные, в других из дикого камня; но все, как и у нас на Руси, крыты соломой. На правом фланге везде казачки одеваются как русские крестьянки, и только в некоторых станицах повязывают голову в виде чалмы; мужья их вообще носят черкесское одеяние. Николашу сначала занимала ловкость конвоирующих казаков, но скоро и это пригляделось. Взор путешественников утомлялся от однообразия; нигде не было ни леска, ни даже кустарника; только вдали, за Кубанью, зеленелись кое-где почти истребленные рощи, да пространное протяжение земли, покрытой кустами.

Завиделся Ставрополь. В продолжение семи верст езды вы рассматриваете его расположение по скату горы; оно вам понравится, особливо после утомительной картины степей. Несколько больших, зданий, потом глубокий овраг, усеянный домиками, несколько церквей и садов — прекрасный вид! Но прекрасный лишь издали. Вы въехали — какая пустота! Ни одного порядочного здания!¹³³ все

¹³³ *Вы въехали — какая пустота! Ни одного порядочного здания!*

— Ставрополь сороковых годов XIX века производил на приезжих неблагоприятное впечатление. Например, генерал-лейтенант М. Я. Ольшевский в книге «Кавказ с 1841 по 1866. год» так описывал его: «Областной Ставрополь

мелочно и низко, а все корчит величие — жалко и смешно смотреть! Тут не заметите ни торговли, ни промышленности. Штаб, присутственные места и комиссии: провиантская, комиссариатская и военно-судная, с тюрьмою подсудимых, — вот все, что есть в этом городе. Жителей — кроме служащих, подрядчиков и мелочных торговцев, почти нет; для них вообще не нужно изящества и художеств: мясной ряд, винный погреб, суконная лавка, мелочная лавка с чаем и сахаром, часовщик — или даже три часовщика, из которых ни один никуда не годится, совершенно достаточны для всех потребностей жизни. В Ставрополе найдете одну только роскошь, которой всю цену узнаете в особенности зимою. Это — гостиница. Стол в ней

(1841) был менее населен и далеко хуже обстроен настоящего губернского (1866). Каменные двух- или трехэтажные дома даже на Большой Черкасской улице были на счету. Мошеных или шоссированных улиц не было. Тротуары были до того узки и неровны, что нужно было быть ловким ходоком или эквилибристом, чтобы в ночное время, а в особенности после дождя, не попасть в глубокую канаву, наполненную разными нечистотами, или не помять себе бока после падения». (Цит. по книге: Орудина Л. Г. Ставрополь глазами современников. Ставрополь, 1976).

Но следует отметить, что городские власти все же и в те времена думали о благоустройстве города. «С начала 30-х годов городские застройки производились по плану. Ни один дом не строился в городском центре без совета архитектора. Только лицам, селившимся на окраинах у речек Ташлы, Мутнянки и Мамайки, разрешалось производить постройки без планировки улиц, сообразуясь с местностью». (Краснов Г. Ставрополь на Кавказе. Ставрополь, 1957).

В отсутствии же «порядочных здании» была своя причина. Все горожане были обязаны выполнять квартирную повинность, т. е. предоставлять свое жилище для проезжающих людей и проходивших через город воинских частей. И чем больше было жилище, тем больше людей обязан был разместить домовладелец. 13 декабря 1850 года квартирная повинность была отменена, и жители Ставрополя, избавившись от постоев, начали строить большое количество зданий, высоких и красивых.

довольно дурен; но все чрезвычайно дорого, и в этой-то дороговизне большая выгода: сволочь не лезет туда. В этом трактире, который есть род клуба, вы проводите целые дни и находитесь в обществе всех приезжих, которых весною бывает очень много. В эту пору из всей российской армии съезжаются офицеры, командируемые на текущий год участвовать в экспедициях, равно как и те, которые кончили свой год и ожидают отправления к своим полкам. Гостиница — единственное место, где с некоторым удовольствием можно проводить время в Ставрополе: помещения опрятны, просторны и изрядно меблированы; первая комната бильярдная, вторая столовая, третья — довольно большая зала, далее две гостиные, в которых найдете «Русского инвалида»¹³⁴, «Северную пчелу»¹³⁵ и несколько ломберных столов, почти не закрывающихся.¹³⁶ Прислуги довольно.

134 *«Русский инвалид»* — военная газета, издавалась в Петербурге в 1813 — 1917 гг. Была основана в связи с Отечественной войной 1812 года чиновником-филантропом П. П. Пезаровкусом (1776 — 1847) как первое общественно-издательское мероприятие в России в пользу жертв войны. С 1862 года «Русский инвалид» — официальная газета военного министерства; содержит много ценных источников и сведений по истории войн, о русской и иностранной армиях.

135 *«Северная пчела»* — русская политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1825 — 1864 гг. В годы написания «Проделок на Кавказе» газету редактировали и издавали Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. В 20-е и 30-е годы пользовалась широкой популярностью, так как была единственной частной газетой, имевшей право на политическую информацию. Программа газеты сводилась к пропаганде преданности престолу, казенного монархического «патриотизма», теории официальной народности.

136 *Гостиница — единственное место...* — Гостиница Найтаки размещалась на Большой Черкасской улице (ныне проспект Карла Маркса), примерно в районе кинотеатра «Октябрь». Есть сведения, что в этой гостинице в свое время останавливались А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов и многие декабристы, сосланные на Кавказ.

Она опрятно одета и изрядно наметана. Честь и слава Неотаки, хозяину этого заведения! Да простятся ему его греческие склонности и грешки! Должно, однако же, сказать и то, что номера, где останавливаются приезжие, темны, дурны, малы, нечисты, имеют всегда дурной запах, холодны и угарны зимою. Да ниспошлет же Неотаки судьба в наказание поболее должников, не платящих долгов своих!

Двух братьев Пустогородовых привезли в эту гостиницу: другой во всем Ставрополе нет. Когда войдете в номер, который вам показали, вы поворчите, побраните и... и... совершенно невольно прикажете людям своим выносить вещи из экипажей. Это самое случилось с братьями, приехавшими в начале первого часа пополудни. Большие номера у Савельевской галереи все были заняты: поэтому они должны были довольствоваться одним из худших. Съезд был очень велик, приезжие ожидали экспедиции, отъезжающие — того, чтобы вновь командированные все съехались, дабы не иметь задержек в лошадях по дороге.

Братья Пустогородовы пошли к обеду за общий стол.

Проходя мимо бильярдной, Александр остановился на минуту поздороваться с одним офицером в огромных бакенбардах, который с большим вниманием играл на бильярде.

— Здравствуй, мой бильярдный герой!

— Ах! Пустогородов, здорово! Какова твоя рана? Что, наконец, подстрелили и тебя?

— Подстрелили, да плохо: ничтожная рана.

Тут офицер зашевелил губами, хотел что-то сказать, но с не-

терпением обратился к маркеру, полусонному мальчику, который ошибся в счете. Многие из присутствующих держали пари за играющих; все вмешались в спор; шум поднялся большой. Капитан пошел далее. Едва переступил он за порог другой комнаты, как его встретил маленький смуглый человечек, тоже с огромными черными бакенбардами. Он стоял прислонясь спиной к печке, с сигарою во рту и с руками в карманах.

— Александр Петрович! Мое почтение! — сказал он нашему приезжему.

— Здравствуй, Неотак! — отвечал Пустогородов. — А! Поздравляю тебя с медалью! — прибавил Александр, заметив на его шее золотую медаль на аннинской ленте.

— Вы в первый раз видите его с медалью?.. Стало быть, не знаете прекрасной надписи на другой стороне? — молвил низенький гусарский офицер, бывший тут.

— Нет, не знаю! — отвечал Александр.

— Да полноте, пожалуйста! Что вам за охота!.. — сказал Неотак, отворачиваясь и вынимая сигару изо рта.

— Нет, погоди, приятель! — возразил гусар, удерживая его одною рукою, а другою повернув медаль: вот извольте посмотреть: *«За бесполезное!»*

Пустогородов улыбнулся. Неотак вывернулся от гусара и убежал, ворча что-то сквозь зубы.

Братья подошли к столу и спросили обедать.

Тут сидело несколько довольно обыкновенных фигур в воен-

ных мундирах. Они слушали рассказ кавалерийского полковника, с огромным орденом Льва и Солнца, привешенными на шее. По красному и опухшему лицу его нельзя было не заметить, что он усердный поклонник Вакха: черные бакенбарды, огромные растрепанные усы, прическа, а всего более черты и выражение лица заставляли бы вас заключить, что он принадлежит к грязному племени пейсиконосцев, если бы вы были и самым плохим знатоком породы в человеке. Рассмотрев его ближе, вы увидели бы, как несоразмерно коротко обстрижены его виски. Тут, конечно, вам пришло бы на ум, что недавно еще, озлобленно покидая веру отцов, он в бешенстве отрезал себе пейсики донага. Полковник в пылу восторга говорил своим слушателям:

— Мост через Кубань, какая смелая, гигантская идея! Это неслышанное дело! И как исполнено! Как изящно! Я непременно сниму модель и отправлю в Академию художеств. — Проглотив несколько кусков бифштекса, он закричал: — Эй! Человек, подай шампанского! — Потом, обратись к слушателям своим, сказал: — Господа, покупайте! Как приятно свидеться с товарищами, встретить людей! Как трудно их находить!.. — Тут он вздохнул и, переваливаясь на стул, ударил себя в лоб и примолвил: — Как часто я ошибался!..

В эту минуту, увидев капитана Пустогородова, он вскочил с места и бросился к нему на шею со словами:

— Ах! Здравствуй, мамочка! Душечка! Ангелочек!

— Полковник Янкель-Паша, имею честь кланяться! — отвечал холодно Александр. — Давно ли здесь? Я слышал, после прошло-

годней экспедиции вы ездили в Россию?

— Я сегодня только возвратился,— отвечал полковник с важностью. — Да, я делал прошлый год экспедицию, но люди везде злы и завистливы, везде стараются унижить достоинства ближнего! — Тут он опять вздохнул. — Я ездил в отпуск, намерен пробыть здесь с неделю, потом поеду в Тифлис, посмотрю там из приема отца-командира, стоит ли жить на свете. Если увижу, что время пришло мне кончить земное поприще, подумаю и выберу одно из трех: или оросить своею кровью закубанские богатые поляны, или своим прахом оплодотворить лабинские золотые нивы, либо разбить свой безотрадный остов о дикие скалы негостеприимного черкеса.

Произнеся эти слова трагическим голосом, Янкель-Паша умолк и, один за другим, проглотил еще два стакана шампанского. Как за столом он уже отправил в желудок много вина, то шампанское тотчас подействовало: красный нос его принял багрово-синий цвет. Немного погодя он опять обратился к Пустогородову:

— Когда вы вошли, мамочка, я рассказывал о превосходном мосте на Кубани в Прочном Окопе: не правда ли, что это преизящное творение человеческого искусства?

— То есть было, — отвечал капитан.

— Как? — спросил полковник с удивлением.

— Да, месяца два тому назад его совершенно снесло,— отвечал Александр.

В это мгновение вошли трое в столовую: высокий, толстый, видный собою полковник, низенький майор с большими рыжими

бакенбардами и офицер, которого Александр назвал бильярдным героем. Майор, увидев Пустогородова, дружески поздоровался с ним.

— Давно ли вы здесь, майор Лев, и что подельваете? — спросил Александр.

— Пью и в карты играю, — отвечал майор. — Приехал сюда после экспедиции, с князем Галицким, и не могу собраться выехать. Все дела много!

Александр обратился к высокому полковнику: — Князь Галицкий! Вы, верно, меня не узнаете?

— Ах, виноват! Не узнал!.. Как вы переменялись! — молвил полковник, протягивая руку: — Зачем не были вы в прошлую экспедицию в нашем отряде?

— Я отказался от нее и помышляю оставить службу.

— Если можете, то сознаюсь, пора и вам отдохнуть, — сказал князь Галицкий, вздохнув глубоко.

Все уселись за стол и велели подать обедать. Янкель-Паша приметно смутился, наконец совсем замолк и сидел, будто не зная, что ему делать.

— Ну, Пустогородов! Напрасно ты не был в отряде, — сказал, улыбаясь, бильярдный герой. — Как весело было у нас! Всякий день какое-нибудь забавное происшествие, а по субботам *шабаш*, то есть обеды.

Янкель-Паша, грозя пальцем, сердито возразил:

— Господин офицер! Прошу не забываться и не называть моих обедов *шабашом*; я вам этого не позволю. Жидов я ненавижу и их обычаем не подражаю.

— Господин полковник, — отвечал офицер, — если вы не терпите жидовских обыкновений, так не должны себе позволять за столом грозить мне пальцем: это совершенно по-жидовски. Впрочем, имею честь вам доложить, что я очень люблю жидов и знать не хочу, когда у вас бывали обеды: из нас троих никто у вас не бывал; вы в короткое время умели приобрести в отряде всеобщую ненависть... но что об этом говорить?.. Вы сами знаете. Подать мне ветчины, да побольше шпигу, — прибавил он, обращаясь к слуге.

— А в кармане у вас нет более шпигу? Давно ли?.. — спросил майор Лев.

— Разве он носил шпиг в кармане?.. Это на что? — заметил Алескандр.

— Ты, брат Пустогородов, видно, не знаешь, как важно в нашем краю иметь в кармане шпиг, — сказал офицер. — Походом голоден: у тебя прекрасная закуска! Нападут на тебя в поле черкесы: покажешь им свиное сало, они заплуют, заругают и оставят тебя! Дома жид к тебе пристанет: покажи ему это сало, и он без оглядки убежит, станет беречься от тебя, как от чумы!

— Ну, брат, о первом и последнем не спорю, но черкес не побежит от тебя, когда покажешь ему свиное сало, за это я ручаюсь.

— Да дайте же ему прикрасить рассказ! — заметил князь Галицкий.

Старик, войсковой старшина оренбургского казачьего войска, сидевший тут, с каким-то беспокойством окидывал глазами весь стол. Князь Галицкий, заметив это, сказал ему:

— А что, батюшка, верно, тринадцать за столом?

— Да, ваше сиятельство, — отвечал старик. — Ведь издалека для сражения приехал... хотелось бы невредимым домой возвратиться...

— Откуда взялась такая примета? — спросил майор Лев. — Почему именно тринадцать — зловещее число?

— Это взято из Тайной вечери, — отвечал князь Галицкий. — Спаситель был тринадцатый.

— Ну, я ручаюсь, что среди нас нет спасителя... Иуда-то есть! — сказал майор Лев, поглядывая значительно на Янкель-Пашу.

Все захохотали, кроме полковника Янкель-Паши, который еще более смутился.

Александр, ожидая, что полковник, служивший предметом довольно nepозволительных шуток, наконец выйдет из себя, и желая отклонить могущую быть ссору, спросил у князя Галицкого:

— Что, князь, в прошлую экспедицию вы делали много набегов из отряда?

— Нет! Отрядный начальник не достаивал меня поручения летучих отрядов; он выбирал для этого по породе; потому-то ему и утопили два казачьих орудия с лошадьми, так что сани люди с трудом могли спастись.

— Да во всем отряде, ваше сиятельство, не было лица знатнее вас породю, — заметил Янкель-Паша, стараясь скрыть свое негодование.

— Не спорю, что род мой почетен, — возразил князь довольно

хладнокровно, — но у нас был человек, которого воинственные предки несравненно древнее моего родоначальника.

— Какие предки? — спросил майор Лев с любопытством.

— Что за вопросы делаете вы, майор? Разумеется Маккавеи, герои древних израильтян, предки нынешних евреев.

Все опять захохотали. Янкель-Паша побледнел. Александр ожидал вспышки; но, к счастью, толстый, огромного поста, широкоплечий комиссионер вкатился в комнату и прямо подошел к разгневанному Янкель-Паше.

— Полковник! — сказал он. — Сейчас я узнал о вашем приезде и поспешил засвидетельствовать вам свое почтение; кстати пришел переговорить и о нужном дельце.

Янкель-Паша вскочил со стула, одним прыжком повис на шее огромного комиссионера, обвил его руками и, целуя, говорил:

— Мамочка! Душечка! Ангелочек! Здоров ли? Спасибо, не забыл своего искреннего друга!

Они вышли вместе в другую комнату, спросив в один голос шампанского.

Оставшиеся за столом разговаривали между собою. Пустогородову рассказывали что-то вполголоса о Янкель-Паше; но рассказ был прерван подошедшим к князю Га-лицкому адъютантом, неуклюжим, толстым, неопрятным человечком, который сказал:

— Смеею доложить вашему сиятельству, что моя супруга в большой претензии на вас: вчера у моего генерала за обедом, доведя ее превосходительство до стола, вы сели рядом с ней, так что моя

супруга должна была сесть ниже. Хотя по мужу, то есть по мне, она и штабс-капитанша, но все-таки дама; а ваше сиятельство должны быть довольно благовоспитанны и знать, что кавалеры обязаны предоставлять шаг дамам.

— Очень хорошо!.. — отвечал князь. — Скажите вашей жене, я жалею, что она оскорбляется моим поступком, и готов в удовлетворение выйти с нею на поединок.

— Нет, ваше сиятельство, воля ваша! Нехорошо быть так невежливым, — возразил адъютант.

— Mais, mon prince, envoyez done paitre со diable¹³⁷, — молвил майор Лев.

— Извините, мне теперь некогда, я занят вот с этими господами, — сказал князь.

— А, секреты! Новоприезжие!.. — заметил адъютант. Потом, обратясь к Александру, он спросил: — Позвольте узнать, откуда изволили приехать?

— Моя подорожная у содержателя здешней гостиницы.

— Но, кажется, в моем вопросе нет ничего обидного? — продолжал неотвязный адъютант.

Александр вспыхнул, и только что хотел привстать, но майор Лев удержал его за руку, сказав:

— Mais laissez-le, mon cher, ne faltes pas de folies: c'est le maitre-d'hotel et le palfrenier de son general.¹³⁸

137 — Князь, пошлите его к черту (франц.).

138 — Оставьте его, мой дорогой, не делайте глупостей: он — дворецкий и конюх своего генерала. (франц.).

— Comment, le maitre-d'hotel? — возразил Александр, — mais aux boutons de son surtout, c'est un officier des gardes¹³⁹.

— Который не был и не будет в гвардии, — заметил князь Галицкий, когда адъютант удалился.

— Зачем же дают ход по службе такому офицеру? — спросил Александр.

— Конечно! — возразил майор Лев. — Что же делать из него, когда достанет он до полковника? А, вероятно, это не замедлится. Куда девать его? Ведь, право, грешно обманывать высшее начальство, которое об этом ничего не может знать!

— Будет из него то же, что вышло из Янкель-Паши, — отвечал князь.

— Имеет ли он, по крайней мере, какие-нибудь достоинства? — спросил опять Александр.

— Кто его знает! — отвечал майор Лев презрительно.

— Ровно никаких, — заметил князь, — а при случае, я уверен, что он окажется даже человеком без правил, вредным, и станет обогащаться всякими средствами.

— Удивляюсь, — возразил Александр, — как это есть люди, которые любят окружать себя подобной сволочью.

— А я удивляюсь, как вы этого не понимаете! — молвил Галицкий.

— Объясните же, как это?

— Очень просто: одни — по пословице: рыбака рыбака видит

139 — Как дворецкий? По его пуговицам, он — гвардейский офицер (франц.).

издалека; другие — чтобы иметь возле себя тварей на все пригодных и все переносящих.

— Именно! — заметил майор.

— Тем не менее грустно! — отвечал Александр, удерживая вздох.

Между тем официанты беспрестанно носили через столовую закупоренные бутылки шампанского и возвращались с опорожненными. Один из них прошел смеючись; князь Галицкий спросил у него, кому носят столько вина. «Полковнику и комиссионеру!» — отвечал слуга, улыбаясь.

— Посмотримте, что они делают!.. Недаром люди смеются, — сказал майор Лев.

Все встали и пошли в другую комнату.

Янкель-Паша и комиссионер, сидя в углу, пьяные, обнимали друг друга. Комиссионер восклицал: «О, благороднейший полковник!» Янкель-Паша в восторге отвечал: «О, баснословный комиссионер!» Зрители расхохотались и оставили их.

Пустогородовы прошли в свой номер. Николаша расспрашивал брата о лицах, им виденных.

— Что это за два офицера, с которыми ты говорил? — спросил он.

— Один князь Галицкий, храбрый и умный человек. Он провел свою молодость буйно; поэтому мнение о нем различно; но я ценю его по уму и любезности в обществе. Другой — майор Лев, умный, честный, безукоризненный офицер, у которого страсть — казаться

хуже, чем он есть, пренебрегая общим мнением; он основывается на том, что кто умеет ценить людей, тот его поймет.

— Где же они служат?

— Состоят по кавалерии, при линейных казаках.

— Чем же занимаются?

— Ничем, или пустяками.

— Как же это?

— О! это не редкость на Кавказе!

— А маленький полковник, которого мы застали за обедом?

— Янкель-Паша, пьяница и сумасброд, из переkreшенных таврических жидов: вот он-то из выскочек, проложивших себе дорогу нахальством. Теперь убедились в его неспособности на путное и не знают куда девать.

— Ну, брат, у вас невесело служить.

— Конечно, теперь неприятно; но недавно еще было совсем иное.

Вечером братья пошли опять в общие покои; бильярдная была уже занята игроками и зрителями; в соседней комнате у печки стоял опять Неотак: он объявил вошедшим, что с завтрашнего дня ровно в час обед будет в зале, по случаю большого съезда и тесноты столовой. Гостиные были наполнены игроками в преферанс и вист, поэтому Пустогородовы сели в зале и спросили чаю. Вскоре подошел к ним плотный, полуседой и добрый старик. Майорские эполеты, некогда вызолоченные, но теперь совершенно почерневшие, падали с его плеч на грудь; в правой руке он держал толстую палку с серебря-

ным набалдашником под чернью, на котором было написано: «Кавказ, 1815 года», то есть время его приезда в этот край; в левой была у него истертая фуражка с козырьком, пожелтевшим в том месте, где он брал рукою: и следов не оставалось уже лака и черной Краски. Двадцать два года тому назад, в тот день, когда старик надел впервые майорские эполеты, купил он эту фуражку у жида, предсказывавшего ему скорый генеральский чин и наследство, если он возьмет Шапку. Майор сделал обет носить ее до совершения предсказания или до гроба. Увидев Пустогородова, он подошел к нему с радушием и спросил, когда тот приехал.

Александр, привстав, поклонился старику и, дав ответ на его вопросы, прибавил:

— А я беспокоился, не видя вас нынче за обедом! Старик, прислоня трость и шапку к стене, приказал

подать себе стул и со вздохом отвечал:

— Нечего, брат, мне здесь делать за столом; я теперь у себя дома ем размазную, суп и кашу: ведь зубов уже нет, вот посмотри — один только остался!

— Зачем же не велите его вырвать? Пользы в нем нет, а без него десны ваши окрепнут так, что вам можно будет жевать: я видел несколько таких примеров.

— Нельзя, брат, челюсти упадут! Да впрочем, что об этом говорить! Скажи-ка лучше, здоров ли твой полковой командир. Ладишь ли ты с ним?

— Как не ладить с таким почтенным, прекрасным человеком?

— Ну, а кордонный начальник... с ним каков ты?

— С ним у меня нет дела, я стараюсь удалиться даже от службы, чтобы только не подавать ему поводу излить на меня свое недоброжелательство.

— Ага, брат! Помнишь, что я тебе предсказывал?.. Ты не верил мне, знаю я всех этих господ, расплодившихся ныне у нас.

— Я не знаю, что было в то время, но теперь служба наша трудна тем, что не разберешь, кто начальник, кто посторонний: все распоряжаются, повелевают. В походе — два ли батальона: смотришь, отрядный начальник назначает себе начальника штаба, этот в свою очередь дежурного штаб-офицера, который набирает себе адъютантов, те берут кого хотят в писаря, и так является, сам собою, импровизированный целый штаб; ему нужны урядники и казаки на ординарцы и на вести; люди балуются с денщиками без всякого присмотра, так что жаль давать туда хороших казаков. Мало того: придешь в лагерь — ступай с целою сотней, коси сено, руби дрова и привези для штаба; даже воды, если речка или колодец довольно далеко, носи для штаба. Кончится экспедиция, выдадут награды... кому?.. Штабным писарям, бессменным ординарцам и вестовым, а настоящие молодцы, бывшие во фрунте, истинно отличившиеся, не получают ничего.

— Э, брат! Это не только у вас на Кубани делается, то же найдешь и в других отрядах, а все потому, что всякий хочет брать награды, ничего не делая. Чтобы ничем не заниматься, отрядный начальник назначает себе начальника штаба, и так далее, до писарей, на

которых лежит все управление... это, брат, известное дело! Ты один приехал?

— Нет, вот с братом.

— Очень рад с вами познакомиться, — сказал приветливо майор. — Верно, сюда на службу?

— Нет, — отвечал Николаша. — Я еду далее.

— Да, да! Верно, едете в Грузию, служить по преобразованию.

— Никак нет. Я еду путешествовать, на Восток.

— Ага!.. Дело! Только советую вам говорить везде, что едете служить в Грузию: это придаст вам важности, которая здесь необходима; станут в вас искать, полагая, что со временем вы можете оказывать протекцию.

— В самом деле, Николаша, — молвил смеючись Александр. — Отныне ты чиновник, едущий в Грузию на службу... так ли?

— Пожалуй! Если это выгоднее... — беспечно отвечал Николаша.

— Ручаюсь вам, гораздо выгоднее, — заметил старик. — А как намерены вы ехать из Грузии, через Персию или Турцию?

— Через Персию.

— Так дождитесь до сентября, а то жары вас измучат: я их знаю, я перенес ужасную болезнь по милости их.

— Вы были в Персии? — спросил Николаша. — Я — в большом затруднении найти человека, знающего персидский язык, никто не мог еще дать мне совета насчет этого.

— Я был в Таврисе, — отвечал старик, — но очень давно; поэтому не могу ничего вам сказать. Прежде, бывало, при Алексее Петровиче, посылались курьеры из азиатцев с бумагами в Персию по несколько раз в год; они ехали медленно, в Персии не раскачаешься, почт нет... Знали русский язык; так весьма удобно было ехать с ними до Тавриса, а там можно всегда найти прислугу, заменяющую переводчика. Алексей Петрович и все окружающие его готовы были оказывать всевозможное пособие: в то время все ехавшие в Персию обыкновенно ожидали в Тифлисе отправления курьера и с ним пускались путь. Теперь, говорят, совсем иначе. Главнокомандующий и готов был бы помочь, да беда с его окружающими: тому не довольно низко поклониться; другому слишком низко поклонился; одного станешь просить, другой обижается, зачем не к нему прибегнули: одним словом, никак им не угодишь! Смотришь, и сбили почтенного старика! Окружающие — великое дело, когда хороши! Тому пример Алексей Петрович Ермолов. У него начальником; штаба был благороднейший, умнейший, образованный Алексей Александрович Вельяминов; гражданские секретари были также люди достойные, и наконец окружающие были все люди благородные и благонамеренные. Если некоторые в ином не соответствовали товарищам своим, но все-таки имели какое-либо замечательное достоинство. Тогда не было у нас этих огромных, всепоглощающих штабов, а дела шли своим чередом без каверз и прочего.

Старик умолк, погруженный в грустную думу; собеседники,

уважая его молчание, безмолвно допивали чай, куря сигары. В это время вошел в залу штаб-офицер лет сорока. В прекрасных чертах лица его, выражавших ум, благородство, честность и добродушие, изображались однако ж истома, изнурение. Нельзя было определить, происходит ли оно от недавней болезни или от жизни смолоду чересчур разгульной; но легко было увериться в последнем по походе: он ходил словно разбитый на ноги от подагры, болезни, почти всегда служащей грустным мавзолеем над молодостью, утраченной преждевременно среди пиров и юного разгулья. Штаб-офицер, увидев нашего старика, прямо подошел к нему:

— Здорово, мой дорогой, почтенный, вечный майор Камбула!
— сказал он.

— А, это ты?.. Здорово! — отвечал старик.

— Полковник Адамс!.. Вы меня не узнаете, ужели я так переменялся? — молвил Александр пришельцу.

Штаб-офицер поглядел на него пристально, приказал подать себе стул и, пожимая руку Александра, отвечал:

— Наконец узнал! Вы много переменялись, очень похудели; впрочем, я плохо теперь вижу; шел сюда — был ужасный ветер, глаза засорил: ну, Ставрополь!.. Ветер круглый год так и дует. Что, вы были больны?

— Очень болен, и теперь еще не совсем оправился, — отвечал Александр.

— Вот дедушку — за бока! — сказал полковник, указывая на

майора.— Ведь он у нас сделался Ганеманом, пристрастился к гомеопатии и лечит удачно.¹⁴⁰

— Да, да! — отвечал старик и начал расспрашивать Пустогогорова о припадках его болезни, предлагая ему десятиmillionную частицу капли своей любимой эссенции.

— Вы попробуйте дедушкино лечение, Александр Петрович!.. — возразил полковник. — Право, удачно пользуется: посмотрите-ка, сколько народу пребывает у него каждое утро! А когда больные выздоровеют или перестанут ходить, он отправляется на базар, набирает мужиков и баб, приводит их домой и — давай потчевать раздробленными частицами лекарства: решительная страсть!

Майор, увидев проходящего через залу офицера и указывая на него, спросил Александра:

— Ты знаешь этого?

— Нет! — отвечал Пустогогородов.

— Это ротмистр Егомость, будущий казачий полковой командир. Он был прикомандирован сюда на прошлогоднюю экспедицию и подал в перевод состоять при линейных казаках, ему отказали; он стал здесь умасливать и, не знаю как, достиг своей цели; его опять представили к переводу под предлогом, что в войске нет способных

140 ...ведь он у нас сделался Ганеманом, пристрастился к гомеопатии... — Гомеопатия — способ лечения больного малыми дозами таких лекарств, которые в больших дозах вызывают в организме здорового человека симптомы, подобные симптомам, данной болезни (лечение подобного подобным). Обычное лечение, в противоположность гомеопатии, называется аллопатией. Оба термина (аллопатия и гомеопатия) введены немецким врачом Самуэлем Ганиеманом (1755—1843), основателем гомеопатии.

офицеров и что он, когда навыкнет, может быть примерным казачьим полковым командиром.

— И выучит казаков в своем полку отлично играть в карты, — прибавил улыбаясь какой-то прикомандированный из России офицер, который тут же подошел к полковнику предложить партию; преферанса вдвоем. Они ушли; за ними пошел старик майор. Пустогородовы отправились в бильярдную.

Там застали они знакомого нам бильярдного героя, который играл с худощавым адъютантом в очках. Добродушие, начертанное в лице его, учтивость и обдуманная осмотрительность в выражениях давно уже обуздывали кипящее нетерпение и досаду нашего героя. Они играли в крупную игру; много свидетелей держало заклады, толкуя между собою о шарах и ударах. На лице бильярдного героя выражались сильные страсти игрока: досада на проигрыш, нетерпение, подстерегаемое замечаниями зрителей, самолюбие, оскорбленное тем, что другой играет лучше, волновали его кровь. Между тем это нравственное расположение героя отчуждало от него все участие зрителей: без изъятия оно обращено было к кроткому адъютанту, который притворялся пока можно было, будто не обращает внимания на выходы своего противника. Когда же они усиливались, адъютант спокойно предлагал оставить игру. Наконец, перессорясь со всеми зрителями, проиграв все деньги, бильярдный герой отстал, приказал подать себе бутылку портеру и, осушив ее, пошел ходить по зале.

— А что, брат, проигрался? — спросил подходя к нему Александр.

— Невозможно играть... такая там духота! Нашла целая толпа зевак, все судят и рядят, притом же я устал.

— Много ли партий ты сыграл сегодня?

— Вероятно, партий семьдесят, — заметил Неотаки, шедший позади.

— Не может быть! — воскликнул Александр.

— Он все врёт! — сказал сердито игрок, отходя от Неотаки.

— Так-то ты проводишь время? — возразил Александр. — Хорошо же употребляешь ты свои способности!

— Что же мне делать, как не играть? Общества здесь нет, семейных домов, где бы можно было проводить время, тоже нет; в книгах недостаток; остается играть — в карты я никак не соглашусь: во-первых, того и смотри обыграют наверняка; во-вторых — я не в состоянии вести сидячую жизнь: мне необходимо движение. Игра в бильярд возбуждает во мне самолюбие до страсти; потом деньги, цель моих трудов, также служат приманкою: выигрываю ли, рукоплескания зрителей упоют меня; а деньги дают средства насыщать тщеславие. Я ненавижу того, кто меня обыгрывает, и презираю кого обыгрываю. Необузданная страсть обращает на меня внимание зрителей, и я злобно радуюсь, что произвожу впечатление остревелого зверя, от которого бегают. Ты видишь, страсть моя к игре наполняет мою жизнь сильными ощущениями, насыщает дух, изнуряет тело. Что бы был я без бильярда? Теперь начну играть без отдыха, потому что через неделю еду в экспедицию.

— Ну как же ты переменялся! Хотя ты всегда любил бильярд

и прослыл героем: да думал ли кто, что из тебя выйдет такой страстный игрок!

— Я страстен не к одному бильярду, но и к деньгам, а еще более к ощущениям от этой игры. Что за жизнь человека, скажи, когда нет в нем страстей? Я пережил многие; бильярд, быть может, моя последняя страсть, и признаюсь, я боюсь роковой минуты, когда ничто не будет меня волновать, потрясать... жалкое положение! Но пойдём посмотрим, что делается в бильярдной. — Они пошли.

— Настал час мщения! — сказал герой Александру, когда они вошли. — Видишь ли, как адъютант, несмотря на кроткий нрав, расстроен шутками своего противника! Теперь он проигрывает, начинает сердиться и переменял свой удар.

Партия кончилась. Адъютант, искусно скрывая досаду, положил кий, вежливо поклонился и сказал:

— Я более не играю.

Противник, вынимая деньги из лузы, предлагал адъютанту еще партию; но тот отказался. Тогда бильярдный герой, взяв кий и обращаясь к адъютанту, сказал:

— Давай лучше играть со мною, по старой привычке!

— Пожалуй.

— Сколько в лузу?

— Твой кошелек пуст, станем играть без денег.

— О деньгах не хлопочи; я пошлю за ними домой, а покамест возьму в буфете: какой добрый!.. Обыграл, а теперь с ним без денег играй.

— Так давай играть почем хочешь, только сначала, я думаю, по маленькой.

Сделав уговор, соперники начали: герой дал выставку; адъютант первым ударом положил шары на себя.

— Ну, разучился играть! — заметил, улыбаясь, герой.

— Чур, играть без насмешек, я не дразню тебя, когда ты проигрываешь.

Партия следовала за партией, до глубокой ночи.

— Как скучен должен быть ваш город, судя по тому, что я видел нынче! — сказал Николаша Александру, когда они пришли к себе.

— Да, — отвечал тот. — Без привычки такое общество не всем понравится: впрочем, недолго тебе здесь скучать, нам надобно еще приготовить квартиру для родителей на водах.

— Ужели здесь нет никакого женского круга? Ни одной женщины, которою бы можно было заняться?

— Решительно ни одной; оттого ты видишь согласие между мужчинами: здесь не знают ни ревности, ни соперничества, и некому ссорить нас сплетнями.

— Быть может, с одной стороны оно хорошо; но не менее того очень скучно, однообразно, несносно! Я не понимаю, чем эти господа занимаются.

— Играют в карты и в бильярд. Мы так свыклись с этой жизнью, что не чувствуем отсутствия женского пола в нашем обществе.

— Ну, а кто майор, который сидел с нами, и другой полковник, подошедший после? Что они делают?

— Майор Камбула — препочтенный старик, самых строгих правил; прежде его много употребляли по службе, а теперь он совсем затерт; мимо его рук прошли большие капиталы, однако он остался все-таки бедным. Человек умный, владеет прекрасно пером, знает хорошо здешний край, видит вещи здраво, и хотя стар годами, однако еще свеж памятью. Камбула доживает здесь остаток дней своих более чем скромно; но он этим недоволен, его честолюбие страждет, он чувствует свои способности, обогащенные опытностью, и жаждет быть полезным. Другой — полковник. Адаме. Я мало знаю его, но считаю за хорошего человека; он также ничем не занят.

— Кстати о службе. Ты шутил, когда советовал мне держаться совета Камбулы, уверять, будто я еду на службу в Грузию?

— Нет, в самом деле. Ты найдешь в этом большие выгоды, особенно если будешь шарлатанить и уверять, будто имеешь большую протекцию у главнокомандующего.

— Так я, пожалуй, готов уверять не только это, но даже что я побочный сын какого-нибудь знатного лица... пускай матушка не прогневается! Я взял себе за правило следить в жизни одни выгоды, не заботясь о мнении света: пускай он называет меня, если хочет, эгоистом! Великодушные люди — это тщеславные простаки, жертвующие собою, бог знает для чего!

— Удивляюсь, Николаша, как ты решаешься сознаваться в таких чувствах даже мне, своему брату!

Николаша захохотал.

— Да кого ты, брат, думаешь обмануть своим притворным ве-

ликодушием и самоотвержением? Прошла эпоха аркадских пастушков и чувствительных селадонов! В наше время всякий знает, что в человеке господствующее чувство — себялюбие; а как нас с молодых лет, по Принятому образованию, приучают жить в борьбе с собою, думать, что все врожденные нам влечения порочны, и стараться их преодолевать, в чем никто однако не успевает; то мы и нашли способ скрывать свои чувства под личиною совершенного противоречия тому, что мы есть. Следовательно, пышные слова — великодушие, самоотвержение, суть вымысел, дымообразная пелена, под которой мы прячем разумное себялюбие.

Александр замолчал.

На другой день поутру капитан Пустогородов одевался, чтобы ехать явиться ко всем местным властям, когда к нему вошел бильярдный герой, растрепанный, неумытый, с налившимися кровью глазами, с двумя багровыми пятнами на щеках вместо румянца; галстук его, полуразвязавшийся, висел на шее; сюртук, весь выпачканный мелом, был расстегнут нараспашку.

— Ну, Пустогородов! Потрудились вы нынешнюю ночь... зато не даром! — сказал он, входя. — Посмотри! — И вынул из обоих карманов по горсти золота.

— Поздравляю! — отвечал капитан.

— Подожди, еще не все!

— Верю, брат! Не нужно показывать; вижу, что карманы твои полны.

— Я сам хочу полюбоваться. Вот взгляни только на это. — И

из бокового кармана сюртука он вынул несколько пачек ассигнаций.
— Теперь я могу спокойно заснуть: с этим у меня все есть!

— Какую же пользу принесут эти деньги?

— Какую? Разумеется, они будут полезны мне. Разве этого мало! Я приобрел их искусством, без плутовства, а всякое искусство делает честь тому, кто им одарен. Притом же они достались мне от глупцов, которые не сумели иначе их употребить. Впрочем, это весьма кстати: я еду в экспедицию, встречается куча необходимостей, а денег у меня не было.

— Кого же ты обыграл? Верно, адъютанта?

— Нет, у него не отыграл и проигрыша своего; а на мое счастье явились какие-то калмыцкие или ногайские пристава, у которых деньги как легко приходят, так и уходят. Воля твоя! Лучше чтобы они достались мне, чем попали в придачу к поклонам да просьбам. Однако прощай, я пойду спать. Не нужно ли тебе денег? Возьми пожалуй!

— Нет, благодарю.

Бильярдный герой ушел. Александр выехал со двора. Ровно в час пополудни Пустогородовы отправились к общему столу. Обед еще не начинался, но почти все места были заняты: к одной стороне стола сидели, друг возле друга, офицеры Генерального штаба, прекрасные и достойные молодые люди, но как бы подернутые непроницаемой таинственностью. Они ни о чем не распространялись, а лишь на все намеками давали ответы темные, выражались словами двусмысленными, старались быть вместе и удалять от себя

всякого постороннего. Когда разговор их мог быть услышан, они заговаривали о тактике барона Жомини¹⁴¹ или о Военной академии. Другой конец стола был занят каким-то приезжим немцем. Он прибыл с берегов Кубани и теперь собрал вокруг себя своих соотечичей, прикомандированных на текущий год, и вербовал их к себе. Приезжий рассказывал им турысы на колесах про выгоды служить в тех войсках и уговаривал проситься на Кубань. Все слушали его с большим вниманием, потчевали вином и портером, не забывая однако же соблюдать строгую расчетливость. Остальные места пестрели разнообразными мундирами всей русской армии, начиная от гвардейского до оренбургского линейного батальонного и оренбургского казачьего. Окончившие свой год на Кавказе говорили вновь прибывшим о своих надеждах на награды, передавали все, что преимущественно обратило их внимание. Все они казались веселыми и счастливыми, оставляя край, где перенесли труды, скуку, лишения, опасности войны и климата; словом, радовались, что остались целы и невредимы к истечению срока. Несколько человек из числа последних сидели безмолвно: заметьте! Это — кавказские зоилы¹⁴². Они определяют

141 140 С. 182. ...заговаривали о тактике барона Жомини...— Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779—1869) — военный теоретик и историк, генерал. По происхождению швейцарец. Служил в швейцарской, затем во французской армии; с 1813 года на русской службе. Один из основателей Военной академии, привлекался к планированию боевых действий в русско-турецкой (1828—29) и Крымской (1853—56) войнах.

142 141 С. 183. Это — кавказские зоилы. — Зоил из Амфиполя (ок. 400—330 гг. до н. э.) — древнегреческий ритор и софист. В недошедшем до нас сочинении «Против поэзии Гомера» придиричиво и мелко критиковал «Илиаду» и «Одиссею». Поверхностные нападки на Гомера создали ему репутацию пустого и злобного критика. Имя Зоила стало нарицательным для обозначения несправедливой, недоброжелательной критики.

приговор военным действиям, проектируют об образе покорить горцев, имеют в запасе несколько военно-технических иностранных слов, которые сами плохо понимают; молчат до поры, но когда в разговоре настанет решительная, по их мнению, минута, пускают в вас этими словами, словно наполеоновскими резервами. Кавказские зоилы превозносят стройность и красоту черкешенок, которых никогда не видали. Вновь приезжие — совсем иначе: каждый рассчитывает, как сделать себе карьеру, как получить побольше наград; его цель — произвести самое лучшее впечатление на кавказских старожил, с которыми ему предстоит делить труды и опасности. Эти люди придерживаются пословицы: «не плюй в колодец, пригодится водицы испить». Честь нашему веку! И молодежь становится дальновидною, осторожною. Приезжие обыкновенно спрашивают об образе войны с горцами, иные, зная об ежегодных потерях, поносимых войсками, вдруг очень просто спрашивают у вас: «Какой результат этих вечных экспедиций?» И тем затрудняют даже штаб-офицера Генерального штаба. Впрочем, в таких случаях принята общая формула для ответа; вот она: «Слишком долго и многосложно объяснять все блистательные результаты». Вы должны этим удовлетвориться.

Вот картина офицеров, командируемых ежегодно на Кавказ: много, очень много из них уезжают, заслужив искреннюю дружбу и уважение бывших кавказских товарищей, несмотря что зависть должна бы сильно располагать против них этих последних. Честь кавказским офицерам, чуждым зависти! Честь и приезжим, успешным в короткое время приобрести любовь и уважение товарищей, вопреки такому неблагоприятному положению!

Оба брата Пустогородовы уселись около князя Галицкого и майора Льва; против них находился в глубоком размышлении офицер, окончивший свой год: это был один из самых ревностных зоилов, В половине обеда, обращаясь к капитану Пустогородову, он спросил:

— Где вы служите?

— Я прикомандирован к линейным казакам.

— Славное войско! Ничего лучшего нельзя вообразить! Им не знают настоящей цены.

— Да, прекрасное войско! Приятно в нем служить; впрочем, все войска нашего корпуса, расположенные по Кавказской линии, отличны в бою.

— Извините, капитан! Я сам приехал сюда восхищенный от одних слухов и думал увидеть чудеса, но, будучи прикомандирован к пехоте, совершенно разочаровался: солдаты не выправлены и, когда придут среди дела в расстройство, тогда все кончено: не приведешь их в порядок!

— Не знаю, что могло вам дать такое невыгодное понятие, — отвечал Пустогородов, — я давно уже на Кавказе и убежден, что наш солдат соединяет в себе все достоинства воина, что же касается до установления порядка среди огня, то обязанность начальника не допускать войска приходить в расстройство. Если, однако ж, это несчастье случится, сознаюсь, трудно ему помочь. Для этого нужна большая опытность и знание дела; впрочем, и это достигалось в наших войсках.

— Помилуйте, я сам командовал ротой в Чечне!.. Неприятель отрезал наш батальон и окружил его со всех сторон; ничего нельзя было сделать с солдатом. Полковой командир сам схватил ружье и кинулся; но солдаты мялись.

— Да, я никогда не забуду этого дела! — заметил другой прикомандированный офицер. — Меня послали к отрядному начальнику просить секурса; я еще теперь не понимаю, как мог доехать: неприятельские пули сыпались градом около меня, но ни одна не попала; я доехал благополучно.

— Когда это? — спросил майор Лев. Офицер назвал число и месяц.

— Помилуйте, — возразил майор Лев, качая головою. — Адъютант Чеплавкин, приехавший делать экспедицию, прискакал ко мне бледный, без шапки, выронив стремя, держась руками за седло и, картавя, сказал генералу, что все пропало. «И ваша фуражка», — отвечал ему с пренебрежением отрядный начальник. «Вот там», — говорил адъютант, не зная сам что и указывая в сторону. «Понимаю», — возразил генерал. Потом, обратясь ко мне, он приказал ехать, взглянуть, что там делалось и в самом ли деле нужно отвести секурс от начальника колонны. Я это исполнил, но вас не видал.

— Не спорьте, майор Лев, — сказал князь Галицкий. — Господин офицер действительно приехал к отрядному начальнику, когда вы были уже посланы, и рассказал, как должно, о случившемся в батальоне. От него мы и узнали, что перепуганный адъютант не доехал до них; услышав перестрелку, он счел за более верное возвратиться

назад. После того во всю экспедицию генерал не посылал его никуда.

— Скажите, майор Лев, что это было за дело, — спросил Александр.

— Э, пустое!.. — отвечал майор. — Терпеть не могу говорить об этих делах... так они мне надоели. Просто батальон, шедший в арьергарде, проходя лесом, в стороне от дороги, нашел на стадо коз. Неприятеля не было видно; солдаты бросились в беспорядке разбирать животных, офицеры смотрели на них, не останавливая; сам полковой командир забавлялся, видя, как они навьючивались этими живыми ранцами; в эту суматоху неприятель вдруг выбежал из лесу и, по несчастью, фельдфебелей первых убил; солдаты почти все были из рекрут; офицеров, старых кавказцев, тоже не было; батальон в беспорядке столпился на поляне; неприятель окружил его и начал строчить¹⁴³ со всех сторон. Полковой командир, храбрый, но неопытный в деле, потому что прослужил век в адъютантах, не сумел или не догадался устроить порядка; да, право, и нечем было: офицеры были все неопытная молодежь, и пошла потеха... Батальон порядочно пощипали, вот и все.

— Так видите, — возразил Александр, обращаясь к зоилу, — солдаты не виноваты.

Зашумели. Обед кончился, и Пустогородов прервал речь. Иные пошли играть в карты, другие в бильярд; некоторые, прохаживаясь взад и вперед, пили кофе, за столом оставались немногие, занятые попойкою.

143 Солдатское техническое выражение на Кавказе; значит — стрелять из ружей, нанося большой урон

В эту минуту вошел в залу человек лет за тридцать пять, невысокого роста; прическа его была всклочена, на огромном носу держались медные очки, в петлицу неопрятного черного фрака была вдета георгиевская ленточка; сухощавостью своей он напоминал сказку о бессмертном Кощее.

— Александр Петрович, мое почтение! — сказал вошедший, подходя к Пустогородову и протягивая ему руку.

— Здравствуйте, господин Забуддыгин! — отвечал капитан. — Что вы здесь делаете?

— Я только что приехал, все в карты играл: обыграл вот этих молодцов.

Тут Забуддыгин указал на целый рой офицеров разных полков, задумчиво ходивших по зале. Со вчерашнего дня они не брились, не чесались и не мылись, а это придавало им преразвратный вид. Наконец все они уселись с Забуддыгиным обедать. Вскоре среди них возник ужасный шум. Пустогородовы удалились в бильярдную, где шли толки о Забуддыгине; почти все уверяли, что он фальшивый игрок: это нисколько не занимало Александра. Увидев майора Льва в буфете, он пошел к нему. Майор рассматривал очень внимательно какой-то счет и вдруг воскликнул:

— За гречневую кашу три рубля с полтиною? Слыхано ли это?

Тщетно доказывали ему, что с этою кашею он взял два кружка сливочного масла, которое очень дорого; но он ничему не хотел внять, бранился, требовал содержателя гостиницы. Предстал Неот-аки.

— Помилуй, братец, что у тебя здесь делают? Взгляни, в моем счету поставлено за кашу три рубля с полтиною... это разбой! За кого они меня принимают? И будочник не съел бы каши на столько! Вот если бы они поставили, что я выпил вина на триста рублей, всякий бы поверил, а кто поверит этому?

Неотаки спросил у буфетчика, как это. Майор Лев все более и более выходил из себя, называл содержателя гостиницы грабителем и разбойником и прочая. Неотаки оправдывался, ссылаясь на таксу, прибитую в буфете, по которой всякий волен брать или не брать; наконец уступал майору эти три рубля с полтиною, если они кажутся так оскорбительными, и просил назначить цену, какую хочет.

— Нет, я ничего не заплачу, — говорил майор Лев, — и с нынешнего дня стану проверять каждый день свой счет: не буду более верить этому трактиру. Да это не трактир, а кабак!.. И еще самый негодный.

Тут кротость и смирение Неотаки превратились в бешенство. Глаза его засверкали.

— Не брать ни копейки с майора по этому счету!.. — Сказал он, обращаясь к буфетчику, — и вперед ничего не отпустить, ни за деньги, ни без денег, а я подам жалобу, что опозорили мое полезное заведение именем кабака!

— Подавай, брат! — отвечал майор Лев. — Если не хочешь брать с меня денег — спасибо; я, пожалуй, доставлю тебе много благодарных; расскажу всем, что ты не берешь денег с тех, кто называет твою гостиницу кабаком; будь уверен, много найдется охотников...

— Воля ваша!.. Но, кажется, майору неприлично ходить в кабак! — возразил Неотак, надувшись.

— Майор знает, что ему прилично; не тебе дураку учить его.

После этого забавного объяснения майор Лев и Александр пошли в залу, где присоединился к ним бильярдный герой. Тут сидел полупьяный Забуддыгин, окруженный закупоренными бутылками шампанского. Потчуж товарищей игры, он приговаривал: «Не жмитесь, господа! Пейте просто, ведь на ваши же деньги я вас потчую!»

Увидев вошедших, закричал он:

— А, бильярдный герой! Здравствуй! Как давно мы не вкдались! Ну, поцелуемся!

— Во-первых... — отвечал очень сухо герой, — мы не довольно дружны, чтобы целоваться; к тому же вы не хорошенькая девушка. Во-вторых, кажется, вы несколько дней не умывались, поэтому можете судить, как это неприятно!

— Точно, я давно не мылся, — возразил Забуддыгин, — но за что же сердиться? В сущности я самый добрый малый и всем товарищ, если не по пансиону и службе, так верно по аптеке.

— Подсядемте к ним! — сказал вполголоса майор Лев своим собеседникам, — это, должно быть, чудак, а я смерть таких люблю!

— Пожалуй! — отвечал Александр. — Только предупреждаю вас, господа, что мы будем среди ужасной сволочи.

Не успели, они сесть, как Забуддыгин встал с места и, поставив перед каждым из них по бутылке шампанского, сказал:

— Прошу пить за здоровье всех нас... Это вино куплено на деньги вот этих господ!

Все трое в один голос отказались, уверяя, что не пьют шампанского. Товарищи Забуддыгина убедительно упрасивали их сделать честь вину, давая понять, что у них есть на то свои виды, но просьбы остались тщетными. Пришедшие встали. Один из присутствующих, отозвав в сторону бильярдного героя, молвил:

— Сделайте одолжение! Когда мы кончим обедать, начните играть в бильярд с Забуддыгиным... Он теперь пьян и проиграет, а нам нужно возратить деньги, выигранные им у нас наверняка.

— За кого вы меня принимаете, — возразил герой с негодованием, — что делаете подобное предложение? Стану ли я играть с таким развратником! Знаете ли, я почти готов предупредить его о ваших замыслах!

— Ах! Сделайте милость, предупредите, тогда из самолюбия он станет играть и в закладах спустит нам наши деньги.

Потом, обращаясь к Забуддыгину, он сказал:

— Посмотри, до чего ты напился, вот господин офицер не хочет с тобою играть в бильярд, уверяя, что это было бы разорить тебя наверно».

— Пускай попробует! Я докажу ему, что пьяный я стою его трезвого.

В это время вошел какой-то офицер. Его уговорили играть с Забуддыгиным. Пospорив об искусстве, последний предложил тысячу рублей за партию; офицер, притворяясь, будто удивляется, спросил:

— А где же деньги?

— Вот они, в кармане, — отвечал Забуддыгин с самодовольством, вынимая маленький портфель, полный ассигнаций, и вязаный кошелек, набитый червонцами.

Они стали играть по сто рублей за партию.

Все вошли в бильярдную смотреть на игроков. Забуддыгин, едва держась на ногах, не попадал в шары. Армейские офицеры, бывшие в накладе от игры с ним, подстрекали его разными насмешками и бились с ним об заклад, что он проиграет. Заклады увеличивались более и более. Наконец офицер, который за других держал заклад, не захотел продолжать и спросил выигранные деньги. Забуддыгин, облокотясь о бильярд, начал расплачиваться. Закладчики торжествовали, несмотря на восклицания пьяного игрока, который сопровождал пуки ассигнаций словами:

— Бароны Фоны! Напоили и обыграли... Молодцы! Не люблю тех, которые, проигрывая, не платят долгов!

В это мгновение подошел молодой гусарский офицер со всеми приемами истинного немца. — Вам сколько угодно? — спросил Забуддыгин.

— С чего вы взяли, что я хочу ваших денег? — отвечал презрительно офицер дурные русским языком.

— Да ваши земляки обобрали меня совершенно по-жидовски.

— Послушай, негодяй!.. — воскликнул молодой офицер вне себя, замахиваясь рукою.

— Ха, ха, ха! Не горячись, пожалуйста, mein junger Herri¹⁴⁴ —

144 *Мой юный друг* (господин). (Нем.).

отвечал Забуддыгин. — Если хочешь дать пощечину... вот тебе моя щека: мне к этому не привыкать!.. А как начну сам по вас, господа, козырять!.. Хоть, быть может, многим это и не в диковинку, да не достанет духа сознаться; и верно, здесь испытать не хочется этого теперь.

— Молчи, негодяй!.. — воскликнуло несколько голосов, — не то заставим тебя прикусить язык.

— Кто эти храбрецы?.. Пускай подходят!.. Хотят они стрелять-ся?.. готов, и это не будет мне впервые! Что же? Не идете!.. Ха, ха, ха!

Неотаки подошел к Забуддыгишу и сказал, что кто-то ждет его в буфете. Шатаясь, он вышел. Двери за ним затворились, и никто более его не видал. Немного погодя содержатель гостиницы возвратился в смущении из буфета.

— Что, брат! Не кабачное это происшествие? — спросил майор Лев, смеясь.

— Сделайте милость, оставьте! — отведал трактирщик, — мне так совестно пред всеми... этого более не случится.

— А что ты сделаешь? — спросил майор. — Как ты ему запретишь войти сюда?

— Помилуйте! Да это бесчинство!.. — отвечал Неотаки. — Только комендант проснется, я тотчас пойду просить избавить меня от этого срамника, нет сомнения, что его вышлют из города... ведь это соблазн и разврат!

— А комендант спит после обеда? Ну, так в полной форме комендант! — заметил один из присутствующих.

Мало-помалу все разошлись, чтобы опять вечером собраться на партию.

Таким образом молодежь проводит время весною в главном кавказском городе. Не весело, но все-таки не так скучно, как бы могло быть. Братья Пустогородовы прожили таким образом недели три; наконец назначен был день выезда на воды. Николаша ознакомился со всеми и вообще понравился, потому что пометывал у себя в комнате, то банк, то штос, и постоянно выигрывал. Оттого проигрывающие ухаживали за ним, не придерживаясь мудрой пословицы: «играй, да не отыгрывайся!» Александр не участвовал в игре и вел самую скромную жизнь. Между тем Николаша, чтобы не мешать брагу, как скоро очистился номер на Савельевской галерее, перешел туда и проводил целые ночи за игрою. Накануне отъезда брата, отобедав в зале, сидели в столовой у окошка, между двумя ломберными столами, прислоненными к простенкам, на которых висели два зеркала. Около них было несколько офицеров, занятых между собою разговором. Николаша уславливался с игроками — провести последний вечер у него и наиграться вдоволь. Только что они уговорились, как адъютант, с довольно наглым взором, взъерошенными волосами на голове, подошел к сидячей группе. Легко можно было заметить, что этот молодой человек дерзок в обращении, не по природному влечению, но по принятому образу поведения, основанному на расчете и на желании произвести особенное впечатление.

— Здорово, Пустогородов! — сказал он резким басом, протягивая руку Александру.

Тот посмотрел на него со вниманием и холодно отвечал:

— Грушницкий, кажется?

— Да!.. Только что приехал, послан по важнейшему поручению.

И Грушницкий окинул взором всех присутствующих, желая насладиться впечатлением, произведенным его словами. Увидев, однако же, что никто не обращает на них внимания, он сжал губы и улыбнулся с досадой; потом повернулся к зеркалу и, с полным самодовольством поправляя волосы, то есть растрепывая их еще более, спросил:

— Имеете ли известие о вашем брате?

— Вот он! — отвечал Александр, указывая на Николашу.

— А! Пустогородов! Здравствуй, старый товарищ! Помнишь ли, когда мы были вместе?..

Тут он с восторгом кинулся на Николашу.

— Помню!.. — отвечал холодно меньшей Пустогородов, с умыслом напрягая голос в этом слове.

— А! Вижу, ты все еще, Николай Петрович, помнишь меня несносным искателем приключений... как ты называл меня! — возразил Грушницкий, продолжая охорашиваться перед зеркалом. — Нет, брат, я уже не то, что был. Несправедливость, злоба людей. — тут он вздохнул, — состарили меня преждевременно. Что я перенес... рассказать невозможно! Никто меня не понимает, не умеет ценить!

— Да какими судьбами ты еще существуешь на земле?.. — спросил Николаша. — Мы все читали записки Печорина.

— И обрадовались моему концу! — прибавил Грушницкий. Потом, немного погодя, перекидывая аксельбант с одной пуговицы на другую и не спуская глаз с зеркала, он промолвил со вздохом:

— Вот, однако ж, каковы люди! Желая моей смерти, они затмились до того, что не поняли всей тонкости Печорина. Как герой нашего времени, он должен быть и лгун и хвостун; поэтому-то он и поместил в своих записках поединок, которого не было. Что я за дурак, перед хромым лекарем, глупым капитаном и самим Печоринным хвастать удалством! Кто бы прославлял мое молодечество?.. А без этих условий глупо жертвовать собою. Вот здесь — дело иное!..

И став боком, он протянул руку, будто держит пистолет, устремив глаза в зеркало.

— С чего же взяли эту историю?

— Мы просто с Печоринным поссорились, должны были стреляться; комендант узнал и нас обоих выслал к своим полкам.

— Однако ты очень потолстел, Грушницкий, — заметил Николаша.

Вместо ответа адъютант, все еще стоя перед зеркалом, схватил себя руками в перехват и показал, что полы сюртука далеко переходили одна за другую.

— Полно, — возразил Николаша, — сюртук широко шит.

— Гм! — пробормотал Грушницкий и спросил: — Где ты живешь?.. Будешь дома вечером?

— Я здесь стою, в гостинице; буду вечером дома... только занят.

— Понимаю, будешь играть! Очень хорошо, я зайду к тебе.
Николаша не отвечал ничего.

В шесть часов к Пустогородову-младшему собралось пять игроков. Один из них тут же заметил, что незачем терять дорогого времени. Другие нашли это замечание весьма справедливым и мудрым. Подали стол и карты. Николаша метал банк. Игра была крупная. Груды золота и кипы ассигнаций лежали на столе. Все внимание играющих сосредоточивалось в глазах: понтеры устремляли взор на карты, которые в руках банкмета ложились направо и налево; Николаша глядел попеременно то на колоду, которую метал, то на карты понтеров, стоящие на столе. Любопытно и забавно смотреть на стол, окруженный игроками: различные страсти волнуют людей! В чертах шулера вы заметите борьбу корысти с опасением лишиться доверия тех, которых он, по расчету, наверное должен обыграть; ему хочется поддернуть карту, и он не решается, боясь, что заметят и более не станут его принимать. Ему, однако ж, нужно обобрать ближнего: все помышления его основаны на этом расчете. Другие играют для того, чтобы быть всегда в выигрыше: эти люди не платят проигрыша, и получают деньги, когда им везет счастье, не заботясь о том, что будут о них думать; они ставят большие куши, гнут до невозможности, переносят унижение, личные оскорбления, и все-таки они в выигрыше. Есть еще такие, которые, не имея страсти к игре, смотрят на нее как на средство обогащения; они хладнокровны, дорожат, из расчета, добрым именем и всегда мечут: таков был Николаша. Упомянем еще об особенном разряде игроков: это люди

расчетливые, по большей части из немцев. Им нет возможности много выиграть, зато и нет средств много проиграть: они ставят небольшие куши и отписывают всегда часть выигрыша про запас. Наконец, тот истинный игрок, в котором кипит страсть неодолимая: он любит деньги столько же, сколько необходимы для него сильные ощущения; он суеверен, расточителен в счастье, доволен малым, скромен и покорен жребию в несчастье. Этого рода человек предпочитает понтировать; вы никогда не заметите в его телодвижениях признака гнева или досады; но всматривайтесь, и вы увидите, как на лице его попеременно бледность сменяет румянец, а румянец бледность, как черты вытягиваются, глаза расширяются, взор приковывается к картам, падающим направо и налево, губы рдеют и дрожат, чубук остается забытым во рту, волосы от напряженного внимания становятся дыбом; он едва переводит дух; в нем происходит борьба нетерпения с желанием продлить роковую минуту. Карта падает налево — его состояние удвоено: он обладает сокровищами! Карта ложится направо — и он теряет все состояние; должен жить в лишениях, нужде, словом, упасть в преисподнюю! В воображении своем он перебирает прошедшее и сравнивает его с будущим. Но, господа строгие судьбы, не говорите о нем с таким презрением; это невольный раб страсти всепоглощающей!

Из числа господ, собравшихся у Николаши, двое были игроки записные, художники в своем ремесле, несколько раз проигрывавшие все состояние и возвращавшие его с лихвою. Один принадлежал к расчетливым игрокам. Остальные два не отличались страстью

к банку; но, проиграв в последнее время довольно много, хотели отыграться и, как водится, все более и более проигрывали. Николаше везло неимоверное счастье. В комнате было совершенно тихо; только по временам слышался голос банкмета, называвшего карту с прибавлением «убита!», затем бряцание червонцев, переходивших к нему.

Изредка возвышался голос понтера словами — «извольте посмотреть, дана!» и ответ — «вижу!». Тут опять бряцание червонцев. Изредка тот или другой игрок спрашивал у слуги сигару, — и ничего более, ни одного неприятного выражения.

Около полуночи слышались шаги и звук шпор. У дверей спрашивали:

— Николай Петрович здесь живет?

— Здесь. Его нет дома, — отвечал слуга.

— Врешь! — грубо возразил голос, — Проходя через галерею, я видел в окнах огни.

— Все равно, дома нет. Не приказано принимать.

— Как не приказано! — Говорил голос, возвышаясь, — Он звал меня на вечер. — И шпоры слышались ближе.

— Не извольте входить, — возразил слуга, хватаясь за замок.

— Пошел прочь! — заревел голос — Или я тебя побью! Разве не знаешь меня? Я Грушницкий, Ты не слыхал обо мне?.. А! Не слыхивал?

— Нет-с, не слыхивал, да и не видывал еще господ, которые бы подобно вам силились войти, когда их не пускают.

— О, этому я верю, — отвечал голос, смягчаясь. — Другого Грушницкого не было, нет, и не будет! Да, брат!.. Поди-ка доложи, по крайней мере, барину, что я желаю его видеть.

Человек пошел. Николаша, поморщась, отвечал:

— Пускай его идет!

Адъютант вошел. Увидев золото и ассигнации, глаза его за-
сверкали.

— Добрый вечер, Пустогородов! Я только что из-за стола, славно поужинал! Вообрази, твой человек не хотел меня впустить!

Да, я слышал шум! — возразил Николаша, — Но человек прав: ему не велено принимать никого. Да что у тебя за манера насильно вламываться?

Помилуй, братец, мы так давно знакомы! Позволь пристать к банку,

— Понтерок нет, Грушницкий! Да что тебе за охота садиться за этот банк? С тобою, верно, нет денег; а я не позволяю ставить менее двадцати пяти червонцев.

— За понтерками я сейчас пошлю в буфет.

— Нет, Грушницкий, оставь пожалуйста; мы скоро кончим.

Адъютант сел возле одного из игроков и начал рассуждать, корча знатока. С первого разу он посоветовал соседу поставить карту, уверяя, что она выиграет: карта проиграла в сониках¹⁴⁵. Игрок с негодованием просил Грушницкого молчать. Адъютант несколько

145 ...карта проиграла в сониках... — Правильнее — не «в совиках», а «соника» (наречие; от франц. *sonica*); в азартных карточных играх означает; с первой ставки, сразу (о проигрыше или выигрыше).

времени оставался в безмолвии; сосед его продолжал проигрывать. Грушницкий опять начал советовать... игрок не слушал; между тем адъютант отгадывал карты, присовокупляя каждый раз:

— Видите! Зачем меня не послушались!

Наконец он назвал шестерку; тот поставил ее, удвоив куш. По второму абцугу¹⁴⁶ она была убита. Игрок в досаде бросил колоду карт и, вставая, сказал:

— Это несносно! Нельзя играть, когда так надоедают!

— Что это значит, вы так кидаете карты? — воскликнул Грушницкий. — Я могу принять это за оскорбление.

— Принимайте как хотите, мне все равно! — отвечал игрок. — Мы с вами незнакомы.

— Знаете, что я могу вас заставить раскаиваться в этих словах?

— Пожалуйста, Грушницкий, — сказал Николаша, — не заводь ссор с моими гостями; они никак не думали тебя здесь встретить.

— Зачем же они меня оскорбляют?

— Никто тебя не оскорбляет.

— Полно сердиться, Пустогородов!

Адъютант, по-видимому всегда строптивый, не мог теперь выйти из себя, потому что Николаша метал банк и, стало быть, от него зависело позволить пристать к игре. Глаза Грушницкого со страстью устремлялись на деньги; в эту минуту он готов был многое перенести от банкмета.

146 *Но второму абцугу она была убита.* — Абцуг (нем.) — в карточной игре в банк каждая пара карт при метании направо и налево. В переносном смысле это слово употреблялось в выражениях: с первого абцуга, по первому абцугу — с самого начала, сразу же.

Отставший игрок ходил по комнате, куря трубку. Грушницкий, обращаясь к нему, спросил:

— Вы не будете более играть?

— Нет.

Адъютант сел на его место, взял понтерки и просил Николашу позволить ему пристать к игре.

— Пожалуй, — отвечал с досадою Пустогородов, — но только не бью карты менее двадцати пяти червонцев и то чистыми деньгами.

Грушницкий вынул кошелек, отсчитал двадцать пять червонцев и поставил шестерку; она выиграла в сониках; он пустил ее на пароли...¹⁴⁷ в нетерпении встал и стоя ждал, на какую сторону она ляжет. Шестерка опять выиграла. Он поставил семерку на пе¹⁴⁸ и, в надежде, что сто пятьдесят червонцев присоединятся к его двадцати пяти, начал бесноваться, повторяя: «Вот сейчас выиграет!» Карты падали... не было семерки. Грушницкий, ударяя кулаком по столу, бранил виновную. Тщетно Николаша представлял ему, что на столе стоят карты, идущие в пятьсот червонцев; он ничему не внимал. Наконец банкOMET побил все; понтеры отказались на эту талию: оставалась одна карта Грушницкого. Тут Николаша начал, мечая, открывать сторону понтера, а свою оставлять темною. Адъютант, кипя нетерпением, умолял вскрывать и другую сторону; но хладнокров-

147 ...он пустил ее на пароли... — От франц. *paroll* — удвоенная ставка. Часто употреблялось в выражении: загнуть пароли (загнуть угол карты в знак удвоения ставки),

148 ...поставил семерку на пе... — Пустить на пе, поставить на пе — поставить удвоенную ставку.

ный банкомет продолжал молча, по-своему. Вдруг Грушницкий воскликнул в восторге:

— Ай да семерка!.. Выиграла! Пожалуй деньги.

— Позвольте! Может, еще и убита! — отвечал спокойно Николаша и начал поодиночке вскрывать карты, лежавшие крапом вверх на стороне банкомета. Семерка Грушницкого оказалась убитой.

Грушницкий оттолкнул деньги так, что несколько червонцев покатились на пол; бросил с досадою колоду понтерок... Тут несколько карт полетело на игроков; потом схватил себя за волосы, произнес несколько ругательств на себя и стал ходить взад и вперед по комнате. Никто не обращал на него внимания. Игра все продолжалась. Грушницкий присел опять к столу и, немного погодя, сказала

— Сделай милость, Пустогородов, позволь поставить карту.

— Нет, не позволю.

— Пожалуйста, позволь! Ну, что тебе стоит?

— Не могу с тобою играть, ты себя вести не умеешь. Видишь, как мы всю ночь сидим тихо, без шума, без бешенства!

— Право, более сердиться не стану. Позволь, сделай одолжение, только отыграть свои двадцать пять червонцев. Можно? Скажи, сделай милость!

— Отстань ради бога, Грушницкий! Не мешай нам.

— Ну, хорошо! Дометывай талию, а там, воля твоя, я поставлю,

Между тем адъютант начал про себя ставить карты из своей понтерной колоды... они выигрывали.

Талия сошла. Пустогородов позволил Грушницкому играть. Но тут встретилась новая беда: у него не было двадцати пяти червонцев. Он умолял, чтобы позволили ему поставить десять.

— Пожалуй, — сказал Николаша, — но если так; *плие* не будет, оно выигрывает мне, как в качаловском штосе.

— Согласен, — отвечал Грушницкий и поставил. Карта выиграла. Он усиливал куш и получил уже сто червонцев. Тут он поставил на пе двести червонцев и проиграл; однако ж вынес эту неудачу довольно благопристойно для человека сумасбродного и не знающего приличий, приобретаемых только в кругу хорошего общества: а в нем он никогда не бывал.

Грушницкий продолжал играть на последние десять червонцев, оставшихся у него в кошельке. Несколько карт сряду выиграла; вне себя от радости он опять поставил на пе двести червонцев и долго ждал; наконец желаемая карта легла налево.

— Пустогородов, давай деньги! — воскликнул он в восторге.

Но Николаша, вскрывая карту на стороне банкмета, хладнокровно отвечал:

— *Плие!*.. по нашему уговору, все равно что убита! — и с этим словом взял деньги.

— Бездельник! Сущий бездельник! — воскликнул в бешенстве Грушницкий и пустил в Николашу колодою, которую держал в руке, потом ударил стулом о пол и разломал стул вдребезги. Все покинули игру. Николаша встал с места и, указывая на дверь, сказал:

— Господин Грушницкий, вот вам дорога! Извольте выйти

вон, и чтобы ваша нога у меня никогда более не была.

— Да! Ты думаешь так дешево отделаться! — возразил адъютант плача и смеясь от досады. — Обыграл меня бездельнически, оставил без копейки и еще выгоняет вон! Нет, брат, мы еще будем стреляться! Убьешь меня — слава богу! Не убьешь — тогда меня возьмут под арест, осудят, разжалуют, но будут кормить. А теперь, кроме долгов, у меня ничего нет, не с чем выехать отсюда.

Александр, услышав шум, встал с постели и пришел к брату.

— Помилуй, Николаша! — сказал он, войдя, — что у тебя за шум? Ты забыл, что не один живешь в гостинице. Что за гадости!

— Что ж мне делать вот с этим?.. — отвечал Николаша, указывая на Грушницкого.

— Зачем же его приглашал?

— Я не приглашал этого нахала, он сам насильно вошел.

— Так выпроводи его.

— Я просил его выйти; не хочет, все буянит.

— Так вели его вытолкать, пошли за дворником, за людьми.

— Желал бы я видеть, кто и как Грушницкого вытолкает вон! — сказал адъютант. — Ведь придет же в голову дураку такая глупость.

— Сейчас удовлетворю ваше желание, — отвечал Александр и позвал человека.

— Что вы хотите, делать? — спросил Грушницкий. — Приказать вас вывести, если вы не уйдете добровольно, — отвечал капитан.

— О! Если вы смеете думать, что можете таким образом обходиться со мною, с Грушницким, — молвил он, ударив себя кулаком в грудь, — так я вас проучу!

С этим словом он схватил пистолет, лежавший возле кровати Николаши, и, целясь будто в Александра, выстрелил. Пуля свистнула и, пробив стекло, вылетела через окно на двор. Разумеется, Пустогородов-старший остался невредим. Люди, подобные Грушницкому, не убивают, им необходимо только производить эффект: в том все их честолюбие.

После выстрела адъютант сел на кровать, взял в руки кинжал и, олицетворяя собою *Роландо фуриозо*, сказал с важностью:

— Первого, кто подойдет ко мне, посажу на кинжал!

Слуга, посланный за людьми, возвратился в испуге.

— Александр Петрович! — сказал он, — по выстрелу из гостиницы побежали за полицией.

Это было справедливо. Неотак, неусыпный блюститель порядка в своем доме, давно уже знал о происходившем в комнате Николая Петровича. Видя, что дело берет оборот серьезный, услышав наконец выстрел и опасаясь ответственности, он послал дать знать обо всем полиции.

— Прибери скорее свои карты да понтерки; спрячь все это в мою комнату, хоть в печку, — сказал Александр брату; потом, обращаясь к гостям, прибавил: — А мы с вами, господа, сядемте в преферанс; другие притворятся, будто держат пари. Исписывайте стол как можно более. Вы, господин Грушницкий, извольте положить

кинжал, иначе, нимало не прикрывая, я выставлю перед полицией ваше поведение во всей его гнусности; в этом даю вам честное слово.

Грушницкий медленно встал, положил кинжал, взял шапку и хотел уйти.

— Нет, теперь не извольте выходить, — молвил Александр, — иначе полиция будет вправе иметь подозрение; надо, чтобы она застала здесь всех, как будто ничего не было.

— Вы разве впустите полицию сюда? — спросил адъютант.

— Как же не впустить после такого шума и пистолетного выстрела ночью, в гостинице?

Стол меж тем привели в порядок; все уселись кругом. Четверо притворились, будто играют в преферанс, другие держали мнимые заклады, все шло хорошо. Один Грушницкий ходил быстрыми шагами вдоль комнаты.

— Нет, господин Николай Петрович, — сказал он, — я вам этого не подарю никогда; завтра же с вами стреляюсь, не то...

— Я вас прошу, господин Грушницкий, — прервал Александр, — оставить это; право, теперь не время...

— Ни теперь, ни когда-либо не оставлю! — произнес гневно, адъютант, ободряясь тем, что его просят. — Завтра же утром стреляюсь с вашим братом насмерть: один пистолет заряженный, другой нет. Если ваш брат откажется от поединка, то, где бы я с ним ни встретился, или убью его как негодяя, или надаю пощечин; заверяю вас в том моим честным словом!

Едва Грушницкий вымолвил эти угрозы, как слуга, выведший

из комнаты, занимаемой Александром, сказал вполголоса капитану:

— Полицмейстер стоит здесь, в передней; не велел о себе докладывать; а на дворе обход.

— Хорошо! Ступай к себе в те же двери, откуда пришел, — отвечал Александр. Немного погодя он закричала

— Человек!

Слуга явился из прихожей.

— Кто там? — спросил капитан.

— Не знаю-с, какой-то офицер.

— Спроси же, кто он и кого ему нужно? Слуга пошел и тотчас возвратился с ответом:

— Это полицмейстер; спрашивает постояльца здешнего номера.

— Так проси же его сюда.

Низенький, толстый офицер вошел в комнату; в его чертах выражалась простота, подернутая, однако, некоторою хитростью. Он вежливо поклонился всем и сказал:

— Позвольте узнать, кто занимает этот номер?

— Я. Что вам угодно? — спросил капитан Пустогородов, продолжая смотреть в карты.

— Это вы, Александр Петрович! А мне сказали, что здесь стоит ваш братец. — Немного погодя он прибавил: — Вы, верно, меня не узнаете?

Александр, посмотрев на него, вдруг вскочил со стула и бросился обнимать.

— Виноват! Не узнал вас! Господа, рекомендую вам моего старого знакомого, — сказал капитан, обратясь к гостям. — Я находился у него в роте, когда был разжалован: этот добрый и благородный человек, спасибо ему, смягчал мне, сколько мог, жестокою жизнью. При нем не должно играть в преферанс; он враг всех коммерческих игр: банк — вот его любимое занятие. Нечего делать, для своего старого ротного командира я заложу фараон, хотя ненавижу эту игру.

— Я перестал совершенно играть в банк, даже и карт не беру в руки с тех пор, как женился, — отвечал полицмейстер. — Слава богу, что вас вижу здоровым, Александр Петрович. Я знал, что вы в городе, хотел было с вами повидаться, но подумал: он теперь капитан, зачем напоминать ему неприятное время!

— Как вам не грешно! Я никогда не забуду, чем вам обязан. Хорошо, что вы более не играете: это была в вас пагубная страсть. Помните ли, как вы меня учили, когда адъютанты начальников метали банк, ставить темные карты и раздирать их, уверяя, будто они убиты? Помните ли, как я упрявился и не хотел задаривать людей, которые в ту пору могли быть мне полезны?

— Как же, очень помню! Я всегда дивился вашему упрямству. Но я заговорился и забыл, что по делу к вам приехал: у вас в комнате слышали выстрел, и с вечера, сказывают, играли в карты.

— Точно. Вот господин Грушницкий... (адъютант смутился, Александр нарочно кашлянул) взял братнин пистолет и, рассматривая его, задел как-то курок; пистолет выстрелил. В карты мы действительно играем с вечера? вы сами нас видите.

— Да! Вы за преферансом! Но мне наговорили, что у вас банк, что игроки между собою перессорились и в кого-то выстрелили из пистолета.

— Если б выстрелили в человека, можно ли в этой небольшой комнате не попасть в него? А вы сами видите, что мы все целы.

— Разумеется. Да как бы мне, Александр Петрович, переговорить с вами несколько слов?

— Сделайте милость! — отвечал капитан и повел его в свою комнату. Они сели.

— Я знаю, Александр Петрович, что у вас играли в банк, — тихо сказал полицмейстер, — что Грушницкий в вас выстрелил; но жалобы нет, банка я не застал: стало быть, все кончено. Остается поединок, на который господин адъютант вас вызывал: я сам это слышал, своими ушами; прошу не пенять, если я доведу об его вызове до сведения коменданта; во-первых, по обязанности своей, тем более что мне же приказано смотреть, чтобы он не наделал каких-либо проказ; во-вторых, я хочу избавить вас от последствий, неразлучных с поединком; а потому и прошу дать мне подписку, что вы не выйдете по его вызову — это необходимо. В противном случае я вынужден буду оставить здесь полицию, а сам ехать тотчас же уведомить обо всем коменданта.

Напрасно уверял его Александр, что между ним и адъютантом не было и помина о поединке. Полицмейстер требовал подписки. Капитан должен был исполнить его желание, хотя и не сознавался, что между ним и Грушницким были неприятные объяснения.

Полицмейстер уехал. Александр возвратился в комнату брата.

— Ну, Пустогородов, не угодно ли вам выбрать секунданта? — сказал Грушницкий, взяв в руки шапку, — я вас ожидаю завтра в семь часов утра, в лесу у четвертой версты по Московскому тракту. А вас всех, господа, приглашаю быть свидетелями поединка.

— Которого не будет! — отвечал Александр.

— Позвольте вас спросить, почему? — возразил адъютант.

— Потому что, во-первых, это было бы сумасшествием с моей стороны с вами стреляться; а во-вторых, вы уже в меня выстрелили.

— Я не вас вызываю, а брата вашего! Но если вы это принимаете на свой счет, тем лучше. Извольте мне объяснить, почему драться со мною было бы сумасшествием с вашей стороны, а?

Тут Грушницкий, сжав кулак и грозя им, сделал несколько шагов к капитану.

— Стой тут и ни шагу вперед! — возразил Александр, вскакивая в бешенстве со стула. — Еще полшага, и все для тебя кончено!

Грушницкий остановился. Капитан, пришедши в себя, хладнокровно прибавил:

— Я с вами стреляться не буду, чтобы не запятнать своей доброй славы; вы не стоите, чтобы я имел с вами дело!

— Помилуйте! В чем можете меня упрекать? Я такой же офицер, как и вы, принят везде где и вы, никогда не воровал, подлостей не делал; какие же ваши преимущества?

— Вот они: целой жизнью испытаний я заслужил доброе имя, которым теперь пользуюсь; а вы молоды, офицером с недавнего вре-

мени, без заслуг, без правил, и к тому уже успели дать о себе самое невыгодное понятие обществу, где приняты лишь по эполетам, а более из уважения к вашему начальнику. Вы не делали низостей, говорите вы? Но прошу сказать мне, как назовете вы поступок свой, когда вы напали с оружием на человека безоружного? Поверьте, господин Грушницкий, жалко было бы то общество, в котором должны стоять на одной доске люди, заслужившие долготлетнюю безукоризненную репутацию, с людьми без правил и нравственности, как вы. Излишне объяснять вам, что человеку почтенному, испытанному, унижительно выходить на поединок с ничтожным молокососом... это для вас непонятно? Брат мой и я, виноваты ли мы, что повстречались с вами? Подобных случаев в жизни много; следственно, гнусно то общество, которое вздумало бы осуждать брата и меня. Я знаю, вы теперь в затруднительном положении: редко найдется человек столько наглый, чтобы взять вашу сторону; но, Грушницкий, меня вы не можете обвинять ни в чем, пеняйте лишь на себя. Прощайте; да послужит вам этот урок на пользу!

Адъютант призадумался и вышел безмолвно. Скоро все разошлись.

— Какой бездельник этот Грушницкий! — сказал Николаша брату, когда они остались вдвоем.

— Это просто человек без всякого воспитания, без нравственности, — отвечал Александр. — Он составил себе идеал каких-то бессмысленных правил, которым следует: потому-то он и корчит разврат воображения и необузданность страстей.

Рано на следующее утро Пустогородовы послали на станцию за лошадьми. Человек их возвратился с ответом, что не приказано давать им лошадей без разрешения коменданта. Братья остались, спокойно дожидаясь конца всего этого. Николаша между тем удивлялся, почему Александру вздумалось уверять полицмейстера ночью, что он занимает комнату, в которой они находились.

— Я это сделал, — отвечал Александр, — потому что предвидел неприятности и хотел тебя от них избавить. Меня здесь давно знают, следовательно, мне легче было оправдаться.

— Спасибо же тебе, Александр! — возразил Николаша, пожимая руку брата. — Надеюсь иметь случай отплатить тебе тем же.

— Не стоит благодарности; ты, верно, сделал бы тоже самое на моем месте.

Николаша молчал.

Слуга доложил об адъютанте Грушницком, который спрашивал Александра Петровича.

— Что ему нужно, спроси! — сказал капитан.

Адъютант прислал слугу обратно с ответом, что имеет необходимое дело и убедительно просит капитана принять его.

— Подать мне дорожный пояс с кинжалом! — молвил Пустогородов.

Он подпоясывался.

— Ужели ты примешь Грушницкого? — спросил Николаша.

— Нет, я выйду к нему в переднюю.

— Зачем же надеваешь кинжал?

— Кто знает, на что он способен? Видя меня вооруженного, он удержится от дерзости.

Александр вышел к адъютанту.

— Что вам угодно? — спросил он.

Грушницкий, бледный и встревоженный, вежливо отвечал:

— Мне необходимо с вами переговорить, Александр Петрович!

— Говорите.

— Но я бы желал видеться с вами наедине; пойдите в вашу комнату.

— В этом извините, господин Грушницкий. После вашего поведения в нынешнюю ночь я не могу вас принять у себя. Извольте говорить, что вам нужно, здесь; иначе, прошу извинить... мне некогда.

— Я имею надобность с вами переговорить, Александр Петрович! — повторил, запинаясь, адъютант. — Какой оборот дадим мы нашей ссоре? Кажется, за нами не на шутку присматривают: рано утром комендант прислал ко мне с приказанием не отлучаться из дому без его позволения; между тем плац-адъютант все сидит у меня; насилиу вырвался сюда, посоветоваться с вами.

— Делайте, как знаете!.. Мне все равно. Вы напроказили, вам и выпутываться. Но за нами, должно быть, действительно наблюдают: я хотел ехать нынче, и мне не дали лошадей.

Отворилась дверь и вошел в переднюю плац-адъютант.

— Так-то вы исполняете приказание коменданта? — сказал он

Грушницкому. — Извольте сейчас идти домой; в противном случае мне велено употребить силу. Извините, капитан, что я распоряжаюсь у вас таким образом и увожу вашего гостя; но я исполняю свою обязанность.

— Я не только не сержусь, — отвечал Александр, — но даже благодарен вам; по этому можете судить, как я ценю своего гостя, которого принимаю в передней.

Плац-адъютант поклонился и вышел с Грушницким. Этот ворчал что-то про себя.

Вскоре комендант приехал к Александру Петровичу.

— Мне очень прискорбно, что я вынужден был вас задержать, капитан! — сказал он, войдя, — Но я хотел узнать волю генерала насчет вашей ссоры нынешнею ночью. Его превосходительство не приказал вас останавливать и поручал мне сказать вам: он удивляется, как вы, с вашими достоинствами, принимаете к себе человека, подобного Грушницкому! К счастью, полицмейстер предупредил меня, каким образом он вошел, и я мог вас оправдать. Генералу, однако, неприятно было узнать, что вы проводите ночи за игрою.

— Много вам обязан, полковник, за ваше участие. Я вижу в этом вашу доброту и всегдашнюю готовность одолжать; но позвольте покорнейше просить вас доложить генералу, что с истинным прискорбием слышу об его невыгодном заключении обо мне, и льщу себя надеждою, что его порицание не будет иметь больших последствий, чем прежнее распорядение; впрочем; в короткое время я сам оправдаюсь перед его превосходительством.

— Стоит ли об этом говорить? Вот, не знаю как быть с Грушницким! Мне приказано его выводить отсюда за сто верст с казакон или жандармон, а этот нахал не едет, уверяя, что у него нет ни копейки денег, да как будто требует их! Не знаю, как сделать? — Подумав немного, полковник прибавил: — Если он вам проиграл, нельзя ли вам в виде ссуды дать ему сколько-нибудь на дорогу?

— Сейчас дам ответ, полковник. Позвольте мне только выйти спросить у брата, есть ли у него достаточно денег, и тогда, хоть я ничего не выиграл у Грушницкого, вручу вам сколько будет возможно.

— Сделайте одолжение, Александр Петрович! Вы меня выведете из большого затруднения.

Капитан вышел спросить у брата, сколько проиграл ему Грушницкий. Николаша не помнил наверное, но казалось ему, что около пятисот рублей. Александр пошел в свою комнату, отсчитал эту сумму и отдал ее коменданту, который, обрадовавшись, поехал выпроваживать адъютанта.

Коляска Пустого родовых была уже запряжена, когда плац-адъютант, по приказанию коменданта, приехал к Александру, с распискою от Грушницкого в полученных деньгах. При ней было запечатанное письмо, в котором адъютант благодарил капитана и писал, что если брат его откажется выплатить это, в таком случае он сам, когда будет при деньгах, возвратит их. Он прибавлял, что надеется — Николай Перович помнит, как накануне у него, Грушницкого, шла карта от двухсот червонцев, которая легла плие и, следовательно, по правилам игры, имела половину своего куша.

Александр показал брату записку и, отозвав в сторону, спросил, что это значило.

— Вздор! — отвечал Николаша. — Я позволил ему играть в карты с условием, что я беру плие, как в качаловском штосе.

Александр, получив расписку, написал на ней, что почитает ее вовсе не нужно и возвращает назад, надеясь и без этого иметь свои деньги от Грушницкого впоследствии времени.

Плац-адъютант отправился с нею обратно.

— Охота тебе, Александр, давать деньги подобным людям! — сказал Николаша. — Теперь Грушницкий будет везде рассказывать, что вызывал тебя стреляться, а ты струсил и, желая скорее избавиться от него, снабдил даже суммою на дорогу... Я давно знаю этого молодца!

Пускай говорит, что хочет! Кто меня знает, тот не поверит. От клеветы ничем не предостережешься! Впрочем, Грушницких много на свете. А тебе что за мысль была играть с ним и делать такие условия?

— Я думал от него отделаться.

— Что же, отделался? Нет, эти люди истинная язва! От них ничем не отвяжешься; у них нет ни стыда, ни совести. Впрочем, им терять нечего! Отвратительные творения!

Пустогородовы сели в коляску. Ямщик ударил кнутом. Пыль взвилась столбом на улице.

III

Кавказские Минеральные Воды

*Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой.
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды...*

А. Пушкин. Евгений Онегин

В первой половине мая братья Пустогородовы подъезжали к Пятигорску. Они оставили уже влево Горячинскую станицу, лежащую в полуторе версте от горячих серных ключей.

— Да где же Пятигорск? — спрашивал с нетерпением меньшой брат у старшего.

— А вот, сейчас въедем, — отвечал последний. И коляска катилась уже по слободке, между двумя рядами разнообразных домов.

— Верно, это городское предместье! — сказал Николаша.

— Нет, это часть самого города, известная под именем *Слободки*: здесь поселены женатые солдаты, нарочно, чтобы посетители имели более наемных квартир.

— Что за город! Нет заставы, ни острога, ни кабака! Все какие-то лачуги, одна другой хуже.

Группы солдаток и девчонок сидели у ворот, крича проезжим:

— Господа, здесь порожняя квартира, не угодно ли остановиться?

— Откуда набрали таких уродов? — возразил меньшей Пустогородов. — Ни одного порядочного женского личика!

— Жены солдатские привозятся сюда из России к мужьям.

— Бедные мужья!.. Небось красавица не явится, к мужу, ей и без него хорошо.

Наши путешественники поравнялись с домом доктора Конради¹⁴⁹, перед которым зеленел миловидный сад; повернули за гору, и взору их открылись красивые дома, каменные здания, бульвары, купальни, беседки, сады, стлавшиеся по скату возвышенности, этого подножия горе Машуку¹⁵⁰, которая поднимается грозным исполином над Пятигорском. Коляска остановилась у ресторации¹⁵¹: огромное,

149 ...поравнялись с домом доктора Конради... — Ф. П. Конради много лет был главным врачом Кавказских Минеральных Вод и положил немало сил для улучшения практического использования минеральных источников.

150 *Машук* — одна из пяти гор, давших свое имя городу и называемых туземцами *Бештау*, — Название Бештау (пять гор) восходит к древним временам и обычно относится только к одной пятиглавой горе. Однако в прошлом, по одному из толкований, Бештовыми горами называли также пять вершин, которые одновременно открывались взору едущих по старому тракту из Георгиевска на Горячие воды: это собственно Бештау (Бештовый шпиг, Бешту), Машук (Машуха, Мечук), Змейка, Развалка (Кудрявая) и Железная.

151 *Коляска остановилась у ресторации... И здесь хозяйничает наш старый знакомый, Неотаки*. — Здание ресторации, или гостиницы Найтаки (по имени ее содержателя), построенное братьями Бернардацци в 1828 году по проекту архитектора Шарлеманя, в свое время было лучшим строением города. Здесь устраивались по вечерам различные увеселения и балы, подобный которым описан М. Ю. Лермонтовым в одной из сцен «Княжны Мери».

Здание находится в самом центре Пятигорска, рядом с главным входом в парк «Цветник» (проспект Кирова, 30).

каменное и самое неудобное для помещения строение. В бельэтаже находится трактир: довольно просторные комнаты служат в будни столовою и сборищем для картежных игроков; в праздники тут даются балы, на которые всякий имеет вход, заплатив за билет; комнаты две остаются для приезжих постояльцев. И здесь хозяйничает наш старый знакомый, Неотаки. В верхнем этаже отдаются внаем номера не более как на пять дней: посетители должны быть весьма признательны за краткость срока, потому что эти покои, несмотря на дороговизну, чрезвычайно неудобны и в летнее время несносны своею духотой. Тут остановились, временно, братья Пустогородовы.

Первою заботой Александра было отыскать дом для родителей. Ему не нравилась главная часть города, около бульвара, которую обыкновенно предпочитают столичные посетители, любящие шум и рассеяние; он знал все невыгоды ее: в знойное время там нестерпимый жар от соседних раскаляющихся скал; всегда удушливый запах серы веет с горячих источников, и вдобавок вечная пыль с мостовой проникает во внутренность домов. Поэтому он избрал квартиру на конце города, окнами на Машук: чистый воздух полей, свежая зелень, тишина и уединение места пленили его. При доме был флигель, в котором хотели поместиться оба брата, чтобы не стеснять стариков. В Пятигорске квартиры хоть и чисты, но вообще довольно тесны и скудно меблированы. В эту пору года хозяева обыкновенно дорожатся, в надежде на большой съезд; но позднее, в июле месяце, если посетителей мало, они уступают за полцены.

Николаша был здоров. Александр два раза в день ездил в

Александро-Николаевские ванны погружать свою раненую руку, без чего нельзя было возвратить ей движения: поэтому оба брата не поработались образу жизни, предписанному при лечении. Они не толпились в известные часы вокруг целебных источников, не бродили по улицам и бульварам, не столько для движения, сколько от нечего делать, ложились в постель когда хотели, и ели что приходило на мысль. Впрочем, в мае месяце в Пятигорске всегда стоят туманы, ветры и дожди, одна лишь необходимость может вынудить человека выйти из дому.

Настал июнь, а с ним и ясные дни¹⁵². Братья Пустогородовы от любопытства и скуки решились следовать правилам водяного лечения. Вставая до восхода солнца, они обыкновенно отправлялись к источникам. Какое жалкое зрелище представляет это гулянье, которого однообразие прерывается только тем, что гуляющие каждую четверть часа подходят к ключу пить из целительной струи! Инвалид, из среди множества, разнovidных стаканов, которые висят на длинных тесьмах, снимает с крючка тот, который вам принадлежит, погружает его в горячий источник, выполаскивает и подает вам. Вы морщитесь и пьете тепловатую зловонную воду, которая на несколько секунд оставляет во рту вкус тухлых яиц. Таким образом вы проглотите стакана три, и потом идете ходить или садитесь в какой-нибудь беседке рассматривать лица больных, проходящих мимо вас. Между тем инвалид систематически вешает ваш стакан на свое

152 Только не каждый год это бывает; постоянная хорошая погода всегда начинается с половины июля и продолжается весь август, а с нею неразлучен нестерпимый зной.

место, наблюдая всегда самое пунктуальное старшинство: вы можете быть уверены, что стакан подполковника не будет никогда висеть выше стакана полковника, и так далее. А что за лица ежеминутно встречаете вы по саду! Здесь разбитый параличом едва передвигает ноги; тут хромает раненый; там идет золотушный; далее — страдалец в язвах, этот — геморроидалист; рядом с ним — страждущий от последствий разврата; словом, тут средоточие всех омерзительных недугов человеческого рода. И кого не найдете здесь? И военных всех мундиров, и разжалованных, и статских, и монахов, и купцов, и мещан, и столичных модниц, й толстых купчих, и чванных чиновниц, и уморительных оригиналов; не забудьте, что все это натошак, спросонья! Несмотря однако на господство самых отвратительных страданий, волокитство и чванство не покидаются. Жалко смотреть, как иная бывшая красавица, увядающая от болезней и годов, ищет пленить кого-нибудь своими потухающими взорами, которые выглядывают из-за бледно-желтых щек. Забавно видеть, как иной генерал и тут не оставляет своей важности, громко судит и рядит, и счастлив, что его стакан висит выше других; как самонадеянно останавливает он гуляющих обер-офицеров, готовый при малейшем неудовольствии напомнить свой превосходительный чин; как принуждает их выслушивать самые пошлые рассказы, самые бессмысленные предположения. Всякий из этих господ корчит Наполеона; многие корчили бы и Фридриха Великого, но не все знают об его существовании. Пословица справедлива, которая гласит, что нет семьи без урода. А толков-то, толков!.. Чего не наслушаетесь вы на этих гуляньях! И

пересуды, и сплетни, и жалобы, то на скуку местопребывания, то на неудобства дороги, на грубость и притеснение станционных смотрителей, то на недостаток в лошадях и на прочее. Большею частью, однако ж, предметом разговоров служит разбор военных действий на Кавказе и методы лечения пятигорских медиков, которые, сказать мимоходом, живут между собою как кошки с собаками. Заключением всех пересудов хула директору минеральных вод: человек никогда и ничем недоволен! Между тем теперь это место занимает достойный начальник, добросовестный ветеран, полковник, украшенный ранами; ему поистине обязан Пятигорск введением устройства и порядка на водах. Здесь услышите старого моряка, уверяющего, будто самый лучший образ лечения — выпивать по восьмидесяти стаканов горячей серной воды утром и столько же вечером: такое лечение он предпочитает даже морским пуншам, которые совсем не гомеопатически пивал во время оно. С ним спорит больной, утверждающий, что весьма достаточно трех стаканов, и то должно пить в продолжение трех часов. Третий присоединившийся к ним замечает, что трех стаканов мало, потому что глотать их надобно лишь до половины: газ испаряется, пока больной подносит стакан ко рту. Далее, возле скамейки, занимаемой кирасирским офицером и старым кавказцем, составилась кружок. Послушаем, о чем они толкуют так горячо?

— Ваш ходил на черкес войну? — спрашивает немец, кирасир, кавказского офицера.

— Как же, ходил, капитан! — отвечает последний.

— Ну, вот там видит несколько горки!.. Пожалост рассказать,

что есть за горки? Мой долго смотрим на географической карт... ясно ничего понимать не могла.

— И я ничего не разберу... Смотрел не далее как вчера на почтовой карте, но ничего не понял, — сказал низенький старичок, курский помещик.

— Ой! Пожалост не мешайт!.. Видит, что серьезный разговор. Так, господин казак-офицер, что там за этих гор?

— Опять горы, капитан!

— Ну, знай; а далее?

— Горы же.

— Тфу, тейфель! Ну, а за гор?

— Все горы.

— Ну, а за горы?

— Не знаю, это уже Турция.

— Турци! Тфу, ваш ничего не знает. А Грузии, Тифлис, где?

— Все, что вы видите, это — горы, обитаемые осетинцами и их племенами; вон в том направлении горы примыкают к Имеретии, а в эту сторону к ахалцыхскому хребту; за ними, наконец, граница Турции.

— Ну, а Тифлис куда деваит? — Тифлис более к востоку.

— Ха! Ха! Ха! — И немец, ворча про себя, что кавказец ничего не знает, удалился.

Там, на горе, стоит высокий седой кавалерийский генерал, прославившийся своею бешеною храбростью. Его окружили слушатели. Он бранит без пощады все на свете, но пусть бы сам попытался

проскакать с одним кавалерийским полком чрез Кавказский хребет!

Однако пора нам оставить пятигорских ораторов и возвратиться к описанию жизни на водах.

Отправив в желудок известное число стаканов теплой зловонной воды и нагулявшись поневоле, посетители возвращаются домой ожидать своего часа на ванны. Пробьет урочное время колокол, и кареты, коляски, дрожки, запряженные по большей части клячами, потянутся со всех сторон к купальням. Здесь больные, посидев в горячей воде, ложатся в пристроенной комнате и потеют, пока не услышат несколько слабых ударов в дверь и голоса: «Пора выходить, ваша половина прошла!»¹⁵³ Тогда начинают скорее одеваться, закутываются как можно теплее и спешат домой пить жидкий зеленый чай или маренковый кофе; потом, пропотев еще дома, одеваются на весь день или до повторения того же самого процесса после обеда. В первом часу пользующиеся должны обедать, то есть покушать жиденького супу из чахоточной курицы и соусу из зелени; иногда к этой скудной трапезе прибавляется компот из чернослива; о вине и подумывать не смеешь пить, — кофе еще менее. Ложиться должно не позже одиннадцати часов вечера, чтобы на следующий день начать то же самое. Вот как проходит лето в Пятигорске, исключая воскресенья и праздники. В эти дни обыкновенно не берут ванн, чтобы утром быть у обедни, а вечером на бале.

Николаше вовсе не нравилась такая жизнь. Впрочем, вскоре он познакомился с одним полковником, приехавшим из Грузии, и

153 В ванны пускаются по билетам на полчаса.

проводил у него большую часть времени. Полковник обратил внимание Пустогородова сначала своею фуражкой, известною в Закавказье под названием *а-ла-Коцебу*, а потом и самим собою. Не подумайте, однако, чтобы это была какая-либо немецкая оригинальная шапка или чухонский колпак: это просто фуражка, обтянутая белым чехлом, который покрывает вместе и козырек. Полковник, носивший ее, был человек преждевременно состарившийся; в правильных чертах его лица, которое некогда нравилось женщинам, выражались необузданные страсти, превратившиеся в привычный разврат; следы изнурения, истомы и душевных огорчений от обманутых честолюбивых надежд подернули какою-то мрачностью это лицо, некогда прекрасное (по крайней мере таковы были слухи). Редкие волосы, едва покрывающие голову, давали некоторым образом понятие о жизни. Накопив груды денег, он приехал насладиться покупными удовольствиями, но, не находя их по вкусу своему, проводил ночи за картами, а утро и вечер посвящал волокитству. Вероятно, полковник, по старой привычке, снисходительно смотрел на себя в зеркало; иначе он счел бы нужным поступить в число заштатных волокит. Но человеческое самолюбие слабо! На гуляньях он ухаживал за истощенными мнимыми красавицами, рассказывал им с восторгом были и небылицы о крае, откуда приехал, и прикрашивал рассказы словами: «Восхитительная страна!.. Особенно для того, кто составил себе имя в ней!» Николаша, слышав несколько раз эти слова, спрашивал у его товарищей, что за подвиги у этого офицера в Закавказье? Ему отвечали: «Как же! Он известен в Кавказском корпусе!» Но

чем, никто не знал. Он обратился с этим вопросом к брату . .

— Да! — отвечал Александр,— он известен в нашем корпусе огромными доходами, которые незаконно наживает, строптивостью и неприятностью нрава и страстью к азартной игре. Он выжил из полка почти всех старых, заслуженных офицеров.

Довольно было для Николаши слышать, что полковник любит игру. Он сдружился с ним и скоро очутился среди всех игроков, нарочно съехавшихся в Пятигорск, чтобы обыграть друг друга. Он играл ежедневно, но мало выигрывал: записные искусники не допускали его чрезмерно пользоваться счастьем. Он и не проигрывал однако ж, потому что всегда метал: стало быть, труднее давался в обман.

Наконец приехали старики Пустогородовы. Петр Петрович не владел правой рукой. Прасковья Петровна оставалась так же здорова и свежа, как мы ее видели. Оба очень радушно встретились с Александром: отец истинно любил сына, а матери понравилась его наружность и кротость в обхождении. О Николаше нечего и говорить; ему обрадовались невыразимо! Но он был со стариками довольно холоден и невнимателен, как человек, совершенно уверенный в их любви и не помышляющий, что может ее потерять. Николаша советовал отцу быть воздержаннее в пище, а мать пенял за невысылку денег, когда он их просил. Послали за медиками; сделали консилиум: доктора поспорили, покосились, отпустили несколько колкостей друг другу и решили, что больной должен пить серную горячую воду, брать ванны, соблюдать строгую диету, мало спать.

В непродолжительном времени они хотели опять собраться, чтобы узнать о ходе болезни и действии лечения. Каждый взял по двадцати пяти рублей и уехал, притворяясь, будто не смотрит на своих братьев. Пятигорские медики все между собою враги: это необходимо, чтобы больные не заметили в беспрерывных консилиумах, которых они то и дело требуют, желания, исторгать побольше денег. Врачи считаются между собою приглашениями на консилиумы, точно так же, как светские дамы визитами; но у них счет еще сложнее, потому что берется на бирку плата за консилиум. Если доктор приглашает своих собратьев на совещание к такому больному, который дает по пятидесяти рублей, так этого медика они должны пригласить, каждый в свою очередь, на консилиум той же цены. Похвальное братство, утешительное в роде человеческого правосудие!.. Но, кажется, оно не совсем приятное для пациента.

Наконец Пятигорск дождался 25-го июня. Гарнизон утром причепурился и дал, как водится, развод. Почтенный комендант, маститый ветеран, поседевший на сорокалетней безукоризненной службе, выгладил свой ус, не уступающий белизною снегу Эльборуса¹⁵⁴; поздравил солдат с торжественным днем рождения государя императора и разослал посетителям повестки, что вечером будет бал в ресторации. Желаящие танцевать должны были явиться в мундирах; прочие, кому здоровье не позволяло наряжаться, могли быть в сюртуках. Разумеется, это возбудило ропот: на что не ропщут! Пош-

154 Одна из самых высоких гор Кавказского хребта; вершина ее покрыта вечными снегами.

ли толки. «Что за мундиры, когда приехали за тысячу верст лечиться!» — говорили одни. «Никто не пойдет на этот бал!» — восклицали другие. Конечно, для дендизма невыгодно приходить на бал с объявлением: *я намерен танцевать*. Для истинного модника нет ни цели, ни намерений: таков тон нашего времени. Настоящий денди отправляется, не зная сам куда, совсем не ведая зачем: по крайней мере должен это показывать. Единственная цель его — взглянуть, что делает толпа. Как можно идти отыскивать удовольствия! Будто денди нуждается а них! Будто будуар его скучен! Будто он сам в себе не находит довольно средств к развлечению! Такая мысль оскорбительна для него. Денди ни с кем не говорит: он дарит словами, которые, по его мнению, во сто крат питательнее для ума, чем манна была в пустыне для израильянина. Денди надел бы сюртук и пошел на бал: к счастью, однако ж, в Пятигорске этих господ мало. Тут все армейские офицеры. Скучая всю жизнь в деревнях на постое, развлекаясь только в обществе какого-нибудь грубого мелкопоместного дворянина или оскорбительно надменного богача-помещика они радехоньки посмотреть на бал, себя показать и потанцевать. Они надели мундиры и явились на вечер.

Пятигорские балы довольно благовидны: зала, где танцуют, просторна, опрятно содержана, изрядно освещена; музыка порядочная. Приезжие дамы корчат большую простоту в одежде, но в наряде их проглядывает иногда тайное изящество — что вовсе не лишнее, если выкинуто со вку-. сом. Пестрота военных мундиров, разнообразие фрачных покровов и причесок, различие приемов, от

знатной барыни до бедной жены гарнизонного офицера, от столичного денди до офицера пятигорского линейного батальона, который смело выступает с огромными эполетами, с галстухом, выходящим из воротника на четверть, и до чиновника во фраке, с длинными, почти до полу, фалдами, с высокими брызжами, подпирающими щеки, — все это прелюбопытно и занимательно. Но когда начнутся танцы — тут смех и горе! Когда все эти лица, бледные, изнуренные от лечения и насильственного пота, задвигаются, невольно помыслишь о сатанинской пляске. И тут же, для довершения картины, проделки пехотных офицеров ногами, жеманство провинциального селадона, шпоры поселенного улана, припрыжка и каблук гусара, тяжелые шаги кирасира, притворная степенность артиллериста, педантские движения офицера генерального штаба, проказы моряка, грубые, дерзкие ухватки казако-ландтасного драгуна. Все странно и забавно!

Николай Петрович, разумеется, явился на бал в сюртуке: бегом смотрел он, зевая, кругом всей залы, но не останавливал взора ни на ком. Дверь внезапно отворилась в залу, и вошла осьмнадцатилетняя блондиночка: она была среднего роста, хороша собой и несколько застенчива. За нею подвигался полковник, лет около пятидесяти, угрюмый и старообразный. Все спрашивали друг у друга, кто они, но никто не знал. Комендант, отозванный в сторону, мог один удовлетворить общее любопытство; по его словам, это был полковник фон Альтер с женою, за час перед балом приехавший из России.

Николаша, всматриваясь в приезжую, узнал знакомые черты. Он тотчас подошел к ней.

— Китхен!.. Катерина Антоновна! Узнаете ли вы меня? Как давно мы не видались!

— Как вас не узнать, Николай Петрович! Я вас. не видела с той поры, когда мы играли в бостон. — Тут Китхен опустила глаза и покраснела.

— Давно ли вы замужем?

— Второй месяц.

— Представьте меня, пожалуйста, вашему мужу.

— Очень хорошо. Да вот он, кстати, идет. — Потом, обращаясь к мужу, она сказала: — Альтер, представляю тебе, мой друг, Николая Петровича Пустогородова, сына Прасковьи Петровны.

— Очень рад познакомиться! — отвечал полковник, протягивая руку Николаше.— А я тебе, моя Китхен, представляю полковника, моего старого, доброго товарища... Пошалили же мы с ним! — И сам держал за руку закавказского приезжего с фуражкой а-ла-Коцебу.

Фон Альтер отошел, новопредставленный сделал несколько вопросов, молодая женщина отвечала застенчиво. Полковник, удаляясь, пробормотал сквозь зубы, но так, чтобы она могла слышать: «Опоздал! Никак не поспеешь за этою несносною молодежью!»

Откуда вы теперь, Катерина Антоновна? — спросил Николаша.

— Из Москвы. Мой муж переведен в Грузию.

— Так вы едете туда?

— Нет, не скоро еще, муж поедет на днях в Тифлис и, устроясь

там, приедет за мною, а меня покуда оставляет здесь, поручив вашей матушке.

— В самом деле! — воскликнул Николаша радостно. — Как это хорошо! Однако у меня есть много о чем с вами поговорить. У вас нет приглашения на мазурку?.. Не хотите ли ее танцевать со мною?

— Очень хорошо.

— Так я съезжу домой переодеться: в сюртуках не позволено танцевать; я тотчас буду назад.

Мазурка началась. Пары пестрели кругом залы. Я не стану их описывать — ничего замечательного в этот вечер не было. Роза Кавказа, теперь уже поблекшая¹⁵⁵, сидела поникнув головой, подобно надгробному памятнику над красотою, утраченною без возврата. О время! Время! Чего не преобразуешь ты? Но подслушаемте лучше, что говорит знакомая нам пара.

— Скажите, Катерина Антоновна, что-нибудь об Елизавете Григорьевне? Я совсем потерял и след ее.

— Несмотря на то, она живет в вашей памяти, Николай Пе-

155 *Роза Кавказа, теперь уже поблекшая...* — По-видимому, имеется в виду Эмилия Александровна Клингенберг (1815—1891), падчерица генерала П. С. Верзилина, в замужестве — Шан-Гирей. По свидетельству мемуариста Я. И. Костенецкого, Эмилия Верзилина еще «во время посещения Пушкиным Пятигорска прославлена была им как звезда Кавказа» (1829). Дом Верзил иных был одним из наиболее известных в Пятигорске. Частым гостем был здесь и М. 10. Лермонтов, живший по соседству. По свидетельствам современников, Лермонтов ухаживал за Эмилией Верзилиной, прозванной им же *La Rose du Caucase*. Здесь, в доме Верзилиных, произошла ссора поэта с Н. С. Мартыновым, приведшая к дуэли.

Э. А. Шан-Гирей оставила воспоминания о последних днях жизни Лермонтова в Пятигорске.

трович! — сказала блондинка, покраснев и устремляя взор на своего кавалера.

— Да! Я помню ее как женщину, бывшую *a la mode*¹⁵⁶ в то время как я жил в Москве.

— А еще как?

— Решительно никак.

— Не отпирайтесь: я знаю письма, которые вы к ней писали из полка.

— Какие письма?

— Страстные.

— В самом деле? — спросил кавалер с притворным любопытством: — Я писал страстные письма!.. Что, были они очень глупы?

— Не скажу вам, как они мне казались, но могу только вас уверить, что они веселили вечера у бабушки Елизаветы Григорьевны, — отвечала дама, смотря на своего кавалера с торжеством.

— Каким же это образом?.. Расскажите, Катерина Антоновна.

— Елизавета Григорьевна читала их вслух, придавая своему голосу особенную трогательность. Она кончала, поднимая глаза к небу, словами: «*Ваш!* Навсегда *ваш!* Вечно *ваш* Николай Пустогородов».

— Сознаюсь, — отвечал смущенный Николаша, — очень сожалею, что узнал об этом. Я думал дурачить Елизавету Григорьевну, а выходит, что она смеялась надо мною: непременно ей отомщу! Где она теперь?

156 *A la mode* (франц.). — По моде, модно; модный.

— Право не знаю, и полагаю, никто в России не знает.

— Каким образом?

— Несколько дней после вашего отъезда из Москвы приехал какой-то артист, родом итальянец, которого красоту всюду превозносили. Елизавета Григорьевна стала брать у него уроки пения, чтобы усовершенствоваться, как она говорила, в этом искусстве; заперлась с ним дома; едва показывалась на свет, и то в его сопровождении. Об этом заговорили, смеялись над нею, наконец дошла очередь и до мужа; он взбесился; пошли распри. Елизавета Григорьевна внезапно уехала в Петербург, покинув мужа и детей; оттуда отправилась в Италию, под вечно лазуревое небо, где люди с пламенными и снисходительными сердцами. Так писала она к своей бабушке. «И для этой лазури, — прибавляла она, — оставила я свое родное, всегда облачное небо, которое при всем том прозрачнее совести людской. Пускай читают они мое письмо, — писала она, — пускай узнают, в чем я их обвиняю: это вертеп пресмыкающихся, бессильных злоязычников, бесчестных обманщиков и глупых жертв, и все это судит да рядит, не зная ничего и не имея понятия ни о чем. Бывшему мужу моему скажите, что он бессовестный глупец, который принимает жену за бесполезное украшение в доме, подобно картинам, висящим на его стенах, или бронзе, обременяющей его камины. Он обманул меня: я покидаю его и детей, которых он из тщеславия будет называть своими. Мне не нужно его богатство, я предпочитаю бедность — с человеком одушевленным, обильно одаренным — золоту с бездушным трупом, в котором осталась жизнь только для обжорства и

сна. Прощайте, бабушка, вас одних я любила и люблю — всех других смешиваю в одно и питаю к ним общее презрение. Если б отец и мать мои были живы, я бы спросила у них: зачем они продали меня такому мужу? Зачем сгубили? Пренебрегаю всех родных, кроме вас; оставляю навсегда их порог и несусь под вечно голубое, безоблачное небо, где останусь и умру». Вот ее слова.

— А вам так это письмо понравилось, Катерина Антоновна, что вы выучили его наизусть!

— Точно выучила наизусть, и немудрено: я читала его непрерывно в продолжение двух недель старухе и тем из ее родных, кому она заставляла меня читать.

— Какая сумасшедшая ветреница эта Елизавета Григорьевна!

— Не судите так легко! Сообразите все беспристрастно, так выйдет, что она, право, не так виновата.

— Быть может, вы докажете, что она совершенно права!

— Нет, не берусь, Николай Петрович! Если хотите, я вам покажу ее письмо ко мне.

— А вы с нею были в переписке? Я этого не знал.

— Я с нею очень сблизилась после вечера, когда играла с вами в бостон: она мне во многом открыла глаза, дала полезные советы, часто говорила о вас; учила не быть слишком доверчивой. В письме своем она резко начертала мне женский быт.

— Я так и ожидал... ревнивая, сумасшедшая женщина! Всю жизнь она делала глупости, а теперь бранит свет и людей. Как я узнаю ее в этом! Совсем было меня опутала.

Мазурка кончилась. Все разъезжались, бросая полусонный взгляд на простую, незатейливую иллюминацию, производившую однако ж прекрасное зрелище на гористом местоположении, по которому плошки и фонари были раскинуты.

На другой день фон Альтер расположился с женою в доме против квартиры Пустогородовых; у них отобедал, поручил Прасковье Петровне свою Китхен, а ввечеру уехал в Тифлис.

Молодая супруга скучала, оставшись одна. Николаша часто бывал у нее. Иногда, поздно вечером, провожал он ее домой от Прасковьи Петровны. Иногда сидел вместе с нею у открытого окна, обращенного к Машуку. Тогда он притворялся, будто поражен величественным видом исполина, который, гордо воздымаясь во тьме, затеняет собою самую ночь. А меланхолическая Китхен пугалась этого усиленного мрака; возводила глаза к небу; внимательно рассматривала звезды, сверкавшие над горою: то мечтала, будто видит в этих звездах горных духов, резвящихся на вершине горы, то силилась прочесть в них темные для нее символы. И когда восходила луна и бледнели Машук и лежащий под ними дол; когда вдали таинственный свет освещал белые памятники кладбища, Китхен, предаваясь какой-то мистической задумчивости, напрягала слух, чтобы внимать веянию ночного воздуха среди общей тишины, изредка прерываемой трелью соловья в отдаленных кустах Машука. Николаша, сидя с нею, любовался на юную мечтательницу; слова замирали на его устах от невольного благоговения к неизвестным думам милого творения. В остальное время искусный притворщик показы-

вал ей столько внимания, столько любви, что это невольно льстило женскому самолюбию; но и тут умело умерял себя, так что не пугал застенчивости Китхен, не пробуждал ее опасения и осторожности. Опытный волокита, он убаюкивал малейшие подозрения. Китхен — неопытное дитя! — создавала себе мир идеальный, воздушный, предавая забвению все существенное или и вовсе не помышляя о нем. Она, не подозревая ничего, день ото дня запутывалась более и более в сети.

В один теплый и тихий вечер, располагавший к сладострастию, — кто не знал его на севере, того прошу на юг: чем другим не сумеем угостить, а за этим дело не станет! — в один подобный вечер Китхен и Николаша сидели вместе у окна. Луна медленно всплывала на небо и уже осветила вершину Машука, которого подошва казалась от того чернее, чем когда-либо.

— Какой прекрасный вечер!.. Что вы такая грустная, Катерина Антоновна? — спросил Николаша.

— Нет, я не грустна, а только погружена в воспоминания: сегодня день рождения Елизаветы Григорьевны; бывало, мы праздновали его в деревне у ее бабушки. Давно ли, беспечная, она бегала по освещенным аллеям сада! А теперь где она? Счастлива ли? Помнит ли день своего рождения?

Николаша, заметив, что Китхен всегда говорит с жаром и любовью об Елизавете Григорьевне, расчел, что выгоднее было не показывать озлобления к этой женщине. Вместо ответа он тяжело вздохнул.

— О чем вы так вздыхаете, Николай Петрович?

— Какая вам охота прислушиваться к тому, что я делаю? Я вздыхал машинально.

— Нет, не машинально. Я желала бы знать, воспоминание ли это об Елизавете Григорьевне?

Николаша вместо ответа опять вздохнул; потом притворился, будто досадует на себя.

— Сознайтесь, вы вздыхаете о ней?

— Помилуйте, Катерина Антоновна! Зачем хотите вы знать все помышления человека?

— Я не хочу проникать в помышления ваши; а любя, горячо любя Елизавету Григорьевну, желала бы убедиться в ваших добрых чувствах к ней: тогда я стала бы еще более ценить вас.

— Если так, знайте же, что было время, когда я не менее вас был привязан к ней, но она не умела ценить моей любви, не имела довольно проницательности, чтобы видеть и измерять мою преданность. — И Николаша вздохнул еще раз. ,

— Я оправдаю ее перед вами, Николай Петрович; сейчас принесу ее письмо и попрошу вас прочесть его вслух.

Китхен пошла за письмом. Николаша в это время переставил свечи на окно, приготавливаясь к чтению. Погода была так тиха, что свечи, горели на воздухе, словно в комнате. Госпожа фон Альтер принесла письмо и вручила его Пустогородову. С истинной или притворной грустью он развернул его и устремил взор на знакомый почерк, некогда начертывавший ему слова надежды, любви и обетов.

«Милая моя Китхен!

Вижу — ты убеждена, что из ревности я советовала тебе остерегаться Пустогородова. Могу тебя уверить, ты ошибаешься. Что мне в нем? Зачем мне сохранять его? Испытав, что такое бездушный старик, безжизненный труп, я искала ума и известности; но осталась недовольною и тем и другим. Наконец мне казалось, что ничтожество мужчины — всего выгоднее для женщины. Казалось, что взяв из праха и возведя человека на дорогу почестей в свете, я рожу в нем благодарность и тем приобрету его вечную любовь; но я ужасалась при одной мысли о связи с таким человеком. Я стала искать неопытного юношу, которого и свет еще не развернул. Я думала любовью своей сделать из него человека достойного. В это время столкнулась я с Пустого родовым; сблизилась с ним; но это — себялюбец, который все скудные способности своего ума клонит к холодному расчету; который вне себя ничего не любит. Если б я могла отыскать в нем хоть искру чувства, хоть каплю этого баснословного теперь самоотвержения, я бы им дорожила. Но, как он есть, он мне не нужен. При чем же я остаюсь? Обманутая в своих надеждах, одна в мире — одиночество несносно мне! — я ищущу и не нахожу, чего жаждет моя душа. Между тем я бессильна восстать одна против обычаев света, но я мужаюсь в тиши и чувствую, что скоро, скоро настанет час, когда я стряхну застарелую пыль предрассудков и по-своему направлю смелый полет свой. Закиданная бранью и хулой, я буду улыбаться воплям рабов, скованных глупыми приличиями, с сожалением о них; но для этого мне нужен товарищ; я ищущу его посреди

художников. Вот тебе откровенное признание. Можно ли одобрить меня? Никак. Можно ли обвинить? Нельзя. Виновна ли я? Нисколько. Вся вина падает на моих родителей. Воспитанная беспечною девочкою, я прочла в уме отца и матери, что постыдно для меня и для семьи, если толпа женихов не будет за меня свататься, лишь только я созрею; глупый предрассудок, что девушке необходимо выйти замуж, чем скорее, тем лучше, усиливающий у нас природное влечение к замужеству, желание освободиться от родительского порабощения, которое делалось несносным; наконец любопытство и, быть может, неясные желания — все влекло меня поспешить брачными узами. Не зная людей, их свойств и пороков, родители, воспитавшие меня, должны были или вовсе удержать от замужества, или обдуманно выбрать человека, с которым хотели сковать меня навсегда... Нет, Китхен, не таковы, родители, по крайней мере вообще, исключая весьма немногих! Человек не перестает быть человеком под названием отца или матери; он все раб низкого, унижительного расчета и тщеславия. Отдавая дочь замуж, отец не думает, какой у меня будет супруг, но рассчитывает, какой у него будет зять, требуя, чтобы он непременно своим положением в обществе был выше тестя, званием ли, состоянием ли или блеском в свете. Об его личных достоинствах родители не заботятся; лишь бы дочь была замужем. И вот несчастную девушку венчают. Неопытная, она покидает родительский кров и в короткое время делается не женою, а собственностью мужа. В свете он ее показывает вместе с дорогими камнями, на ней развешанными; дома, если не стар или не истощен, насыщается

ею, словно каким-либо кушаньем, покуда вкус не притупится к одним и тем же удовольствиям; если же он и стар, изнурен, то поработает ее всей угрюмостью своего нрава и своих привычек. Вот тебе, милая Китхен, слабый очерк светского супружеского быта! Если всмотреться более, каких омерзительных происшествий не увидишь!.. А что ж нам, женищинам, делать? Куда деваться? Остается поправить закоснелые предрассудки и отдать себя на суд и осуждение света. Честолюбие родителей не ограничивается дочерьми; оно простирается и на сыновей! тот из них, которому фортуна улыбается, который достиг больших почестей или женитьбою приобрел более связей, тот наделен ими щедрее, без разбирательства, слепое ли счастье везет ему, или личные достоинства служат возмездием. Я представляю тебе, моя милая, эту картину для твоей пользы: ты молода, хороша собою и неопытна. Не ожидай в замужестве более того, что можно найти; не украшай этого быта цветами своего воображения; готовься встретить в нем грустную существенность. Если ты сама выберешь себе мужа, ты также можешь ошибиться и, притом, в несчастий не будешь утешена нежностью родителей; если же выйдешь замуж по их видам, они по крайней мере станут тебя лелеять: но знай, что уж ты не будешь им дочерью, а зять, по их выбору, будет для них сыном, ты — его женою! Во всем он будет оправдан, ты обвинена: чем старее люди, тем менее они сознательны в своих ошибках.

В муже не думай найти совершенства. В домашнем быту он будет совсем иное, чем казался. Муж смотрит на жену, как на соб-

ственность, которую имеет право, по произволу, ласкать, отталкивать и всегда обманывать... Вне своего порога он добродетелен, радушен, добронравен; перед женою он разоблачается, оставляет мнимые совершенства и, становясь сам собою, предаётся своим грубым наклонностям, своеволию, порокам. Чем разительнее в муже эти переходы, тем он ревнивее, из опасения чтобы жена, в коротких сношениях с чужими, не проболталась об его тайнах и не открыла глаза другим на счет его.

Да послужит тебе это письмо, любезная Китхен, предохранительным талисманом в твой будущности. Ты в нем узнаешь голос опытного друга. Прощай, скоро настанет час — и ты, может быть, присоединясь к прочим, станешь метать в меня брань и порицание. Я же останусь для тебя всегда одинакова.

*Елизавета***».*

— Что вы теперь скажете об Елизавете Григорьевне? — спросила Китхен после некоторого молчания.

— Она совершенно ошиблась на мой счет: я предался ей всею доверенностью неопытной, пылкой души, не подозревая измены, не воображая, чтобы любовь эта могла когда-нибудь потухнуть. Это — урок для меня. Теперь я чувствую, что могу опять привязаться сильно, пламенно, с полным самозабвением; но уже не так глупо, как прежде: я опытен и не прежде дам волю своим чувствам, как убеждаясь во взаимности.

Николаша говорил так просто, притворялся так искусно, что

это ободрило доверенность неопытной молодой женщины; она с простотою души спросила у него:

— А насчет ее рассуждения о мужьях, что скажете вы?

— Я вижу в нем вражду, которую искони веков один пол питает к другому, но, в частности, эта вражда нередко на время прекращается, чтобы после сильнее возобновляться.

— А я думаю, что Елизавета Григорьевна во многом справедлива!.. Она видит вещи прямо, как они есть.

— Катерина Антоновна! Вы так молоды, так прекрасны... уже ли вы знаете уже многое?

— По крайней мере понимаю, — отвечала Китхен, несколько смутясь.

— Простите мой вопрос, который, право, делаю не из любопытства, а от живого участия в вашей судьбе: скажите, счастливы ли вы в супружестве?

— Я так недавно замужем, что не могу ничего вам на это отвечать.

— Но любите ли вы своего мужа?

— Я привыкла с младенчества слышать самые лучшие отзывы о нем и очень уважаю его. Он — давнишний друг моего отца.

Блондинка задумалась.

— Понимаю, Катерина Антоновна! Вас отдали замуж в награду за долговременную службу, быть может, за какие-нибудь услуги вашего супруга.

— Да, отец мой желал этой свадьбы; а мне не из чего, было выбирать.

Николаша схватил маленькую, беленькую ручку, небрежно лежавшую на окне, и, крепко пожав ее, сказал:

— Я вижу, вы несчастливы!.. Вы не любите и не можете любить своего мужа!.. Он слишком стар, слишком холоден для этого, особенно для такой прелестной, молоденькой жены; но если дружба может все утешить, примите ее от меня: она будет искренна, молчалива, преданна.

Китхен, погруженная в размышления, будто забыла отнять руку.

Никодашу это ободрило.

— Китхен! — с жаром сказал он, — поверьте, один час наслаждений по чувствам стоит века слез и огорчений. Ужели вы, созданная для счастья, обрекаетесь добровольно на всегдашнее злополучие и не хотите узнать блаженства? Не должно отвергать его, когда оно под рукою. Поверьте, если вы не воспользуетесь настоящим часом, придет время, когда вы будете жаждать наслаждений, но поздно. Затруднения, невозможность будут препятствиями для вас... не теряйте золотого времени, оно невосвратно!

Слишком хорошо зная женское сердце, он был убежден, что ни одно слово его не потеряно семнадцатилетнюю, хорошенькой женой пятидесятилетнего старика, и хотел продолжать, несмотря что Китхен, погруженная в глубокую задумчивость, сидела, будто не слушая его, как вдруг на улице послышались слова:

— Молодец Пустогородов! Не теряет времени.

Не скорее вылетает пушечный снаряд, чем оба кресла, сто-

явшие у окна, были опорожнены. Николаша очутился в одном углу комнаты, Китхен в своей спальне. Пустогородов тотчас опомнился и подошел к окну: тут, разумеется, никого уже не было; потом к двери, куда упорхнула госпожа фон Альтер: ничего не слышно. Он решился заглянуть в комнату: Китхен, озаренная луною, стояла как остолбеневшая у своей кровати.

— Катерина Антоновна! Что вы так перепугались? — сказал Николаша вполголоса.

Нет ответа. Он решается войти в комнату, подходит к ней, берет ее за руку. Китхен начинает приходить в себя, дрожать, слезы ринулись рекою из глаз: ей стало легче, она может свободнее дышать; наконец сквозь рыдания она говорит:

— Что... вы наделали!.. моя слава... мой муж... все узнают... пойдут толки...

— Успокойся, Китхен. Ничего не могут говорить! Если б и было что, многие ли не проходят через это? Положись на меня, я заставлю всех молчать; но глупо будет с нашей стороны, если об нас пойдет слава, а мы откажемся от наслаждений.

Но я забыл мудрое правило — все видеть, все слышать и ничего не рассказывать. Следственно, отойду от зла и сотворю благо. Думайте что хотите о Китхен и Николаше: я буду скромн, ничего не скажу о них; желаю, чтобы и пятигорский бульвар последовал моему примеру. Кажется, однако, не так случилось: иначе на другой день на гулянье не выхваляли бы красоты и миловидности госпожи фон Альтер, не называли бы Пустогородова молодцом и не говорили бы: «Как, он уже успел?» Разумеется, их связь не тайна, всем известна.



Петр Петрович видимо поправлялся, благодаря чудесному свойству вод, а еще более строгой диете, на которую его посадили. Николаша помышлял о своем путешествии, Александр об отставке, вопреки всем увещаниям Прасковьи Петровны. Он ей часто говорил:

— Прикажите мне, матушка, продолжать служить, тогда не пойду в отставку.

— Спасибо тебе, Саша! — отвечала Прасковья Петровна, — но если тебя убьют, твоя смерть останется у меня на душе; я буду думать: вот если б он вышел в отставку, как хотел, так был бы еще жив!

— Помилуйте, матушка! Разве люди не умирают в отставке? Я верю пословице: своей судьбы и конем не объедешь.

Петр Петрович в этих случаях не объявлял никакого мнения: но, по всему было заметно, он соглашался с сыном, тем более, что Александр становился ему день ото дня необходимее. Его внимательность, почтительность к отцу привлекали старика. Китхен проводила почти все время у Пустогородовых: она также любила общество Александра, который, догадываясь об ее отношениях к брату, был очень осторожен и даже отдалялся от блондинки, несмотря что она ему очень нравилась. Наконец и сама Прасковья Петровна более и более смягчалась к своему старшему сыну, начинала отдавать справедливость его достоинствам и даже, быть может, в сердце не различала с своим любимцем: но недоверчивый Александр, предуп-

режденный прошедшим, был осторожен во всех сношениях с матерью и не мог скрыть своей безотчетной боязни. Николаша, баловень судьбы и матушки, едва показывался дома. И что ему было там делать? В родителях он был уверен, в Китхен — тоже: поэтому предпочитал он круг холостых, где метал банк, и часто по несносному жару ездил за семь верст в немецкую колонку на дурные обеды, в место вовсе незначительное, тогда как мог, не подвергаясь нестерпимому зною, прекрасно обедать дома. Николаша, разумеется, выбрил себе голову и надел жидовскую феску это необходимо для пятигорского fashionable; в таком наряде он походил как две капли воды на умалишенного, воображавшего себя испанским инфантом, которого уверили, что ему должно выбрить голову, и которого, когда он это исполнил, повезли в сумасшедший дом, уверяя, что везут в Эскурьял¹⁵⁷, а он при входе в заведение тут же заметил: «Это приличный для меня дворец! По выбритым головам я вижу, что здесь все доны и гранды — я буду в своей сфере!»

Настал июль. Пятигорск начал пустеть. В эту пору лишь одни немощные остаются на горячих водах, остальные посетители едут либо в Железноводск, либо в Кисловодск. В этот курс преимущественно предпочитали Кисловодск, где помещения гораздо, удобнее, чем на железных водах, называемых Железноводском: тут так мало жилья, что иное лето посетители вынуждены бывают помещаться в балаганах. Но не то привлекало теперь посетителей к живописному

157 ...уверяя, что везут в Эскурьял... — Город в Испании, значит дворцом-монастырем — резиденцией испанских королей, от которого и получил название.

нарзану¹⁵⁸: в этот год приехал туда вельможа, отдохнуть от трудов своего огромного управления и от летнего зноя. Его присутствие в прохладном, прелестном, гористом Кисловодске притянуло туда ранее обыкновенного музыку, а с нею и пятигорскую публику.

Все провозглашали балы, иллюминации, прогулки, кавалькады, пикники Кисловодска; все кричали, что чудо как веселятся там. Эти слухи дошли до Пустогородовых, оставшихся на горячих, где Петру Петровичу нужно было еще доканчивать лечение. Николаша скучал в безлюдном, знойном городе: ему хотелось на кислые, Китхен — также. Прасковья Петровна была очень хорошо знакома с вельможею: она помышляла посредством его устроить Александра и тем отвлечь сына от мысли об отставке; для этого ей нужно было ехать туда, куда желания манили ее любимца. В семействе стали поговаривать о поездке в Кисловодск, хоть на несколько дней. Петр Петрович и Александр одни не обращали на то внимания; к тому ж последний, не любя увеселений, был менее чем когда-либо расположен искать удовольствий. Получив извещение, что сын отца Иова, будучи определен в морскую службу, погиб на море, он ломал себе голову, какое сделать употребление из порученных денег, чтобы оно вполне соответствовало цели завещателя, но наконец отложил помышление о том до благоприятнейшего времени, когда выйдет в отставку и будет в России.

Возвращение полковника фон Альтера решило поездку в Кис-

158 *Нарзан* — холодный кисло-шипучий ключ, — почему и названо это место Кисловодском.

ловодск. Положили отправиться туда в первую пятницу, в субботу все рассмотреть, в воскресенье побывать на бале, а потом приехать обратно в Пятигорск. Что вздумано, то и сделано.

Прасковья Петровна села с госпожою фон Альтер; мужчины разместились между собою. Семейство Пустогородовых и Китхен остановились во флигеле дома Мерлиной; полковник фон Альтер нанял будку на дворе Реброва¹⁵⁹: она соблазнила его дешевизиною и близостью к крепительным ваннам, которые он намеревался брать по крайней мере недели две.

Дом Реброва был занят вельможею, флигеля — его свитою. На следующий день после приезда Александр отправился туда. Сначала он зашел во флигель, занятый генералом Мешикзебу. В зале с кипюю бумаг стоял высокий, черноволосый офицер в сюртуке, весьма привлекательной наружности; возле него — молодой офицер одного из линейных казачьих полков, расположенных по Кубани, в парадной форме, с несколькими крестами на груди; в руках он держал письмо, шашку и два пистолета; далее дожидались немецкие колонисты в своих серых куртках; у самой двери, ведущей во внутренние покои, сидел безмолвный донской офицер, держа книгу в руках вверх ногами и притворяясь, будто читает.

159 ...полковник... нанял будку на дворе Реброва... — А. Ф. Ребров (1776—1862) — участник кавказских войн, входил в окружение А. П. Ермолова, высоко его ценившего. Знарок Кавказа и один из первых его историков. В Кисловодске, в доме Реброва, описанном в повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери» (ныне дом № 3 по ул. Коминтерна), в разное время останавливались А. С. Пушкин, Д. В. Давыдов, М. Ю. Лермонтов.



Александр подошел к офицеру, державшему бумаги, и сказал;

— Позвольте у вас спросить, можно ли видеть генерала?

— Генерал здесь принимает, — отвечал офицер.

— Скоро выйдет его превосходительство? — спросил Пустогородов.

— Думаю, скоро. Вот уже час, как я ожидаю его выхода, — отвечал офицер, поглядывая на часы, — беда! Право, сколько дела не сделаешь, сколько времени потеряешь в этих ожиданиях.

Линейный казачий офицер, корча какой-то *бон-тон*¹⁶⁰, подошел к Александру, шаркая, и сказал: — Мое почтение, капитан!

— А, здравствуйте. Откуда вы?.. — отвечал Пустогородов.

— С Кубани, прислан кордонным начальником к генералу.

— На Кубани все ли спокойно?

— Как нельзя более! Нигде нет прорывов, ни хищничества, ни даже воровства. Этот край окончательно усмирен: нынешнее лето спокойствие не прерывалось не только по Кубани, но даже и за Кубанью; наши казачки ездят туда за ягодами.

Александр улыбнулся.

— А табун, — возразил он, — отбитый на днях неприятелем, вы не ставите в счет хищничества!

Офицер смутился, но потом отвечал:

— Какой табун? Я впервые это слышу, хотя нынешнюю только ночь приехал с Кубани.

— Понимаю все эти хитрости! — сказал Пустогородов, отходя прочь.

160 159 С. 225. *Бонтон* (франц. *bon ton*) — хороший тон, манеры, светская учтивость.

— Александр Петрович! Наш начальник не хочет, чтобы здесь знали о прорывах нынешнего лета, — примолвил вполголоса подошедший к нему линейный казачий офицер, — дабы не подвергнуться суждениям посетителей и всех здесь находящихся.

— Мне какое до этого дело!

В комнату вошел белокурый человек маленького роста. Он был в военном сюртуке, без эполет, расстегнут и курил из длинного чубука с прекрасным янтарем. Черты его не имели никакого выражения: какая-то сладкая улыбка придавала ему вид притворной кротости; глаза, словно синий фарфор, были обращены на кончик носа, на темени виднелось безволосое пятно, с отверстием стакана: это был генерал Мешикзёбу. Все присутствующие офицеры при входе его вытянулись, руки по швам; одни колонисты стояли так же вольно, как и до него. Его превосходительство, не обращая ни на кого внимания, подошел к немцам, приветствовал их ласково и пустился с ними в длинный разговор, содержание которого невозможно передать, потому что никто из присутствующих офицеров не знал немецкого языка. Прения, вероятно, были весьма горячие, судя по декламациям одного рыжего колониста, одетого в синий сюртук из толстого сукна, побелевшего на швах, и по негодованию, выражавшемуся на лице другого, топавшего с досады отставленною ногой: он стоял подбоченясь и был одет в куртку из крестьянского сукна; из-под ненатянутых панталон его, того же изделия, выглядывала толстая рубашка. Не станем, однако, распространяться в описании этих белокурых, грубых и наглых пришлецов: кто их не знает! Кто не имел с ними

когда-либо дела? Если б встретился такой человек, мы предложим ему удовлетворить свое любопытство где-либо в соседстве: колонистов можно найти по всем углам святой Руси; они все на один лад. Заметим тут с гордостью, что иностранцы не могут сказать того же о нас: мы не нуждаемся в чужом покровительстве, не ищем службы, ни средств к жизни на чужбине, и не проливаем крови своей за чужое отечество. Русское имя слишком дорого нам, чтобы променивать его на другое.

Проговорив более часа с колонистами, его превосходительство раскланялся с ними и подошел к Александру, которого спросил, затаившись дымом из чубука и выпустив ему в лицо:

— Что вам угодно?

— Прибыв к Кисловодским целебным водам, к вашему превосходительству имею честь явиться.

— Вы ранены?

— Точно так.

— Когда?

— Нынешнего года в марте месяце, при отбитии нашего плена у закубанцев.

— Ваша фамилия?

— Пустогородов.

— А, знаю! — Потом, обратясь к линейному казачьему офицеру, спросил:

— Что тебе надобно?

— К вашему превосходительству имею честь явиться, — отвечал офицер, подавая письмо.

— От кого это? — спросил генерал, рассматривая адреса.

— От кордонного начальника, с Кубани, ваше превосходительство!

— А!.. Здоров ли кордонный начальник? — спросил генерал, распечатывая письмо, — Да, что это у тебя за оружие?

— Слава богу, здоров, ваше превосходительство! Это оружие разбойника Али-Карсиса, которое кордонный начальник поручил мне доставить вашему превосходительству.

— Покажи! — сказал генерал Мешикзэбу, протягивая руку. После продолжительного рассматривания клинка он отдал шашку Александру и сказал:

— Посмотри, любезный Пустогородов... ты должен быть знаток... какова шашка?

— Прекрасная!.. — отвечал Александр, рассматривая клинок. — Она действительно принадлежала Али-Карсису; мне это очень известно, потому что она отбита моею сотнею и отнята кордонным начальником. Я представил о ней по начальству и просил или возвратить, или выдать сотне ее ценность.

— Точно, ваше превосходительство, есть подобное донесение, — подхватил офицер, стоявший с кипю бумаг.

— Каким же образом привезли ее ко мне? — спросил генерал у линейного казачьего офицера.

— Капитан Пустогородов ошибается, или я обманут казаками, — отвечал офицер, — кордонный начальник при мне отдал своеручно деньги принесшему это оружие.

— Чего же оно стоит? — спросил генерал, начиная читать письмо.

— Теперь запомнил, ваше превосходительство, но узнаю, — отвечал офицер.

— Узнайте же, пожалуйста, потому что, если оно не очень дорого, я его куплю. — Прочитав письмо, он обратился к офицеру с бумагами: — Напиши-ка от меня рапорт к начальнику линий. — И, водя по письму указательным пальцем, прибавил: — По воле... вы пропишете имя моего начальника... имею честь всепочтеннейше... слышите, всепочтеннейше...

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Имею честь всепочтеннейше довести вашему превосходительству о нижеследующем... Дошло до сведения его сиятельства, что кордонный начальник заплатил своеручно за оружие, отбитое у Али-Карсиса, почему его сиятельство приказать всепочтеннейше просить ваше превосходительство изволил — поставить это на вид всем инстанциям, по которым неосновательная жалоба о том, будто бы за оружие Али-Карсиса не заплачено, дошла до вас. Между тем его сиятельство изволил также заметить, что вашему превосходительству следовало бы удостовериться в справедливости этой жалобы, прежде чем утруждать ею начальство. — Тут он обратился к линейному казачьему офицеру со словами: — Ваш кордонный начальник отлично отзывается о вашей службе и ходатайствует вам награду, опасаясь, однако, отказа, ибо вы недавно получили Владимирский крест; но будьте спокойны, это нисколько не помешает

вам получить золотую саблю. Через полчаса будьте у графа, я приду туда и вас представлю. Вам, капитан Пустогородов, — примолвил он, пуская в лицо Александра целое табачное облако, — вам делает особенное... непростительное... — и затянулся дымом, — бесчестие, что начальник вами, недоволен. Вот что он о вас пишет. — И генерал показал ему письмо. — Могу вам только заметить одно: тем для вас же хуже; вы видите этого офицера: он не был, как вы, ранен, не проливал крови, а награжден за то же самое дело, за которое вы ничего не получили.

Глаза Александра засверкали от ярости, но дух дисциплины, привычка удерживать свои порывы превозмогли чувства, он с кротостью отвечал:

— Позвольте доложить вашему превосходительству, во-первых, что я ни в чем не подчинен кордонному начальнику и льщу себя надеждою, что отзывы моих настоящих начальников, полкового командира и наказного атамана, будут всегда в мою пользу; во-вторых, что хотя меня почти никогда не награждали и всегда мое отличие оставалось без возмездия, не менее того я не завидую наградам других, в особенности когда они совершенно незаслуженны. Так, например, господин казачий офицер получил крест за военное — дело, в котором не участвовал, потому что в то самое время, когда мы дрались, он был за двести верст.

— Напрасно оправдываетесь, капитан! Никто вам не поверит! Между тем начальству известно, что вы непозволительно стали отклоняться от службы. — С этими словами генерал Мешикзебу ушел

во внутренние комнаты с офицером, державшим бумаги. Остальные вышли из дома.

Александр встретил на дворе Николашу и на вопрос, куда идет, узнал, что Прасковья Петровна, желая видеться с графом, послала его узнать, когда и где может она иметь свидание. Они вошли вместе в дом, занимаемый сановником.

В первой комнате стоял ряд офицеров. Пустогородовых впустили в другую — более обширную. Она была хорошо меблирована побита красивыми бумажными обоями, перенатыми с французских. В одном углу сидел одиноконько офицер-ординарец. Тут же, около затворенной двери во внутренние покои, находились два адъютанта. Один из них, в изношенном мундире и в шарфе, сидел словно турок, посаженный на кол: он не был ни толст, ни худ; на груди его красовалось несколько орденов; лицо походило на восковую фигуру в вербное воскресенье, однако ж отличалось усами, чего обыкновенно не бывает. Другой, в сюртуке, сидел развалившись на стуле: этот был толст; грубые черты его лица выражали самодовольство: белизна и румянец казались подозрительными. Одною рукою он играл висячим часовым ключиком, другою по временам поглаживал тщательно завитую прическу. Адъютанты разговаривали между собою. Александр подошел к ним и со всею вежливостью благовоспитанного человека спросил:

— Есть ли прием сегодня у его сиятельства?

— Подождите, так увидите, — отвечал, картавя, адъютант в сюртуке, не обращая взора на просителя. — Так я вам говорил, —

продолжал он своему товарищу, — за прошлую экспедицию я буду переведен в гвардию тем же чином, а за будущую буду произведен в полковники и назначен полковым командиром нижегородского драгунского полка: что, батюшка?.. Двести тысяч годового дохода!

— Если бы вышли скорее награды за прошлый год! — возразил другой, — и мне хорошо было бы: я представлен в майоры и должен получить во Владикавказе линейный батальон, при котором транспорт... тут также тысяч сорок годового дохода, а я не буду этим пренебрегать, как нынешний батальонный командир. Но я слышал, что представления не скоро еще выйдут; их возвратили сюда для уменьшения наград... Ну, как наши-то с вами также уменьшат, вот будет обидно!

— Как это можно! Уменьшат награды лишь фрунтовых офицеров. И в самом деле, на что им так много получать? Для них все хорошо. Впрочем, если до осени они не выйдут или я буду недоволен своею, так не пойду в экспедицию.

Покуда шел этот разговор между адъютантами в одном конце комнаты, в другом Николаша бесился и говорил брату:

— Дело другое! Ты пришел являться по службе, так иждидайся, покуда адъютант удостоит объявить тебе, будет ли принимать его генерал или нет. Но я частный человек: какое мне дело до адъютантов? Как не найти даже официанта, чтобы доложить! Да вот, кстати, идет один.

И в самом деле, в комнату вошел низенький человек, весьма неприметной наружности, в чрезвычайно коротком сюртуке,

причесанный а la moujik; он держался так прямо, что Затылок его опрокидывался, а борода торчала вверх; руки, вдетые в узкие белые перчатки, висели неподвижно: он всячески старался их выказывать. Николаша сделал несколько шагов к нему и сказал:

— Послушай, человек! Доложи графу, что Прасковья Петровна Пустогородова прислала сына своего: так не угодно ли его сиятельству назначить время, в которое мне можно будет видеться с ним?

Маленькие глаза человека засверкали. Он открыл ужасный рот и показал черные, закоптелые зубы свои. Это был смех, но смех иронический:

— Извините-с, я не человек, а чиновник Нохой, состоящий по особым поручениям при его сиятельстве.

— Простите мне мою ошибку, господин Нохой, и позвольте вас просить научить меня, как и где могу я видеться с графом?

— Я нисколько не обижаюсь вашей ошибкою: это часто случается. Если хотите видеть графа, адресуйтесь к дежурному адъютанту... он обязан доложить его сиятельству.

— Да что ж делать, когда он не хочет?

— Дождаться, покуда ему заблагорассудится. Кто нынче дежурным-то? А! Это Тихобис.

— А другой, в сюртуке?

— Другой... Чеплавкин. Но предупреждаю вас, что ни от одного, ни от другого ничего не добьетесь.

В комнате вельможи послышался звон колокольчика, адъютанты встрепенулись.

— Что засуетились? — спросил у них чиновник Нохой.

— Кажется, дежурного адъютанта, звонит генерал,— сказал Тихобис.

— Где у вас уши? — возразил Нохой,— разве не слышите, что звонили один только раз: следовательно, зовут камердинера; для вас звонится два раза. Вот дельный-то народ — и того не разберут! — И чиновник пожал плечами. Потом прибавил: — Вас тут двое; и ничего не делаете, чтобы доложить графу, господин Пустогородов желает его видеть! Генерал так деликатен и вежлив со своей стороны, а вы заставляете этого господина ждать!

— Ступай доложи сам, — отвечал адъютант в сюртуке. Нохой махнул с презрением рукою и, обращаясь к Николаше, спросил:

— Не намерены ли вы вступить к нам в службу?

— Как же!.. Для этого пришел к генералу: моя мать желает видеться с графом на мой счет.

— В какую же службу вы желаете?

— Разумеется, в гражданскую.

Нохой осмотрел с ног до головы Николашу и сказал:

— Имеете ли вы хорошие аттестаты от места прежнего служения? Надобно вас предупредить, что у нас очень разборчивы в выборе чиновников.

— У меня аттестатов никаких нет; но матушка давно знакома с графом.

— Да у нас граф ничего не значит! — возразил Нохой, улыбаясь. — Директора канцелярии, вот кого нужно просить!.. Я вам

поставлю в пример себя: супруга графа во время его отсутствия от-казала мне от дому своего; я думал, как бы ей отомстить! Прибегнул к директору канцелярии, польстил ему: не прошло полгода и я на-значен состоять по особым поручениям при графе; а она, хочет или не хочет, должна меня принимать, да еще очень ласково.

— Как же вы решились бывать опять в доме, от которого вам раз отказано?

— Помилуйте! В нашем городе почти нет мужчины, которому не было бы отказано от какого-нибудь дома; а есть такие, которым отказано от многих домов.

— Что же делает, по-вашему, тот, кого отчуждают от обще-ственного круга?

— Ничего не делает!.. Разве начнет посещать чаще те дома, где его еще принимают.

— Поздравляю вас с необыкновенно прекрасными обычаями.

— Покорно благодарю, — отвечал Нохой, раздирая рот на-смешливую улыбкою и кланяясь с притворною благодарностью, потом прибавил: — А мы живем себе да поживаем, право не хуже никого!.. Награды хватаем еще лучше других!

Генерал Мешикзебу вошел, за ним линейный казачий офицер, которого мы уже видели. Не обращая внимания на присутствующ-щих, генерал пошел прямо к двери, где прежде сидели адъютанты: тут, однако ж, они стали как вкопанные, руки по швам. Взявшись за ручку замка, но не отворяя двери, генерал сказал:

— Вы, господа, просились у графа участвовать в осенней экс-

педиции; но никто из вас не поедет; отрядные начальники жалуются, что вы приезжаете за наградами, между тем как пользы от вас никакой нет.

Эти слова как варом обдали Тихобиса. Чеплавкин не смутился; он стоял с подобострастием перед генералом Мешикзебу в умиленном положении и самым тихим голосом молвил, картавя:

— Ваше превосходительство! Позвольте просить вашего покровительства!.. Я доселе так несчастливо служил. Позвольте мне ехать в экспедицию.

— Увидим! — отвечал генерал, смягчив голос. — Я доложу об этом графу.

Несколько спустя в комнате вельможи послышался звон колокольчика два раза. Тихобис опрометью бросился туда. Вскоре он вышел и, кланяясь присутствующим, как актер на сцене, благодарящий за рукоплескания, сказал мерным казенным голосом:

— Господа! Граф нынче не принимает, а вам, — прибавил, он, обращаясь к казачьему офицеру, — генерал Мешик-зебу приказал дожидаться здесь.

Пустогородовы пошли домой, Николаша взбешенный, Александр огорченный встречю с Мешикзебу.

После обеда на Кисловодском гулянье кипела публика; все лица процветали здоровьем от сил крепкотворного нарзана. Сад, где обыкновенно собираются посетители, раскинут в теснине гор, из ущельев всегда веет прохлады, упитанная благовонием цветущей липы и других душистых деревьев и растений; густая тень делает это

гулянье приятным даже в самый сильный зной. Горный ручей, быстро и ропотно стремящийся во все протяжении сада, извивается по каменистому руслу. У самого входа бьет из-под земли шипучий, богатырский ключ нарзана¹⁶¹: вода вечно будто кипит, над ключом всегда стоит облако острого газа. В этом саду вы дышите горным, ароматным воздухом, наслаждаетесь прохладой, укрываетесь тенью, утоляете жажду водой целительной. Братья Пустогородовы недолго прогуливались посреди толпы; они желали видеть весь сад и пошли по аллее, тянущейся столь же извилисто, как и ручей. Наконец они дошли до конца ее в густой тенистой группе берез: здесь ручей ниспадает с камня вышиною около сажени. Это место посетители Кисловодска почтили названием каскада.

У водопада в тени деревьев стоит длинная скамья. Оба брата сели на ней и от нечего делать стали разбирать надписи, вырезанные на коре берез. Сознаюсь, и я люблю читать эти надписи: они обыкновенно так же глупы, лицемерны и надменны, как эпитафии на наших кладбищах. Зато они несравненно разнообразнее: здесь увидите порывы отчаяния и восторга, заметки сладких воспоминаний, чувства любви или ненависти, гордости или покорства року. На кладбищах, напротив того, вечные форменные восклицания печали; все выранжированно, приторно и притворно.

Слуга пришел звать братьев Пустогородовых к Прасковье Петровне. Все сидели в своей семье за русским самоваром. Николаша

161 Черкесы называют *нарзан* богатырскою водою: вероятно, от немощных физических сил, получаемых от ее употребления.

говорил, что пора ему отправиться в Тифлис, где, вероятно, будет еще задержан приготовлениями к поездке в Персию. Петр Петрович отпускал его с богом. Прасковья Петровна со вздохом отвечала:

— Если ехать тебе, так конечно отправляйся; но не лучше ли подождать брата, которому также надобно побывать в Тифлисе? Быть может, ему там понравится и он захочет остаться служить в Грузии.

— Нет, матушка! — возразил Александр, — если мне оставаться на службе, так конечно на Кавказе; мне в Грузии делать нечего: какая там служба? Но как вы желаете, чтобы я съездил в Тифлис, то я поеду не прежде вашего выезда отсюда.

— Спасибо тебе! — примолвил старик Пустогородов. Китхен пригорюнилась и стала говорить о своей поездке туда же недели через две. Прасковья Петровна отговаривала ее, прибавляя: «Я к вам так привыкла, что ваше отсутствие было бы ощутительнее для меня даже сыновнего».

Не думаю, чтобы Прасковья Петровна подозревала чувства госпожи фон Альтер к ее любимому сыну: но мы, естественно, любим того, кто нравится любимому нам предмету. Тут, разумеется, должно исключить ревнивых мужей, которые очень неблагоприятны к тем, кто нравится их женам. Притом же Китхен была так мила, так проста в обхождении, так хорошо предугадывала желания Николашиной матери, что нельзя было Прасковье Петровне не любить ее всем сердцем.

Но пора нам обратиться к кисловодской ресторации, кругом

которой горели уже плошки. Окна здания блестят от многочисленных свеч, зажженных в зале. Пора, пора на бал! Покуда весь beau monde¹⁶² одевается, причесывается, охорашивается перед зеркалами, рассмотрите освещенную ресторацию.

Здание невелико; колоннада не тяжела, то и другое в совершенной соразмерности с возвышенностью, на которой оно стоит. Лестница перед фронтоном, которая спускается к главной аллее, очень удачна. Когда ночью ресторация иллюминирована, она делает бесподобный вид, укрываясь в гуще окружающих деревьев. Яркий свет огневой сквозит между свежих листьев кисловодского сада, где зелень, поддерживаемая влажностью воздуха, остается во всей красоте до глубокой осени. Влево главная аллея теряется вдрут во мраке самой густой тени деревьев; это заветное место кажется еще темнее от блеска огней, бросающих свет на близкие клумбы перед ресторациею. Ревнивцы! Вы не любите этой части кисловодской аллеи; здесь — обычай, освященный даже модою, чтобы красавицы, привлекающие взоры во время однообразного контрданса, приходили в эту аллею подышать вечернею прохладой, благоуханием воздуха и отдохнуть от усталости и ослепительного блеска огней. О, вы правы: сколько давно желанных поцелуев срывалось в этой безмолвной и тихой темноте! Сколько нескромных речей, требований произносилось тут шепотом!.. Они незвучны, но страшны для мужниных ушей! Когда жена упорхнет в эту опасную тень, ревни-

162 *Beau monde* (франц.). — высший слой дворянского общества; свет.

вый муж крадется туда же... Но в глуши не рога растут у него; нет... от напряжения слуха вырастают уши. Так зачем же привозить своих жен дышать животворным воздухом Кисловодска и давать им испытать богатырской струи? Вы скажете: «Почему же этот воздух и эта струя не так действуют на нас? Почему же на жен наших они действительнее? Разве в их жилах течет не такая же кровь, как и у нас?» Помните, однако ж, что вы — мужчины, а они — женщины: для вас с самого младенчества были открыты все пути к наслаждениям, для них — совершенно напротив. Вы истощили себя в разврате, они сберегли себя в борьбе с желаниями и страстями. Решите же, кто прав? Но не стану вас обвинять; вы — чада своего века: всякий из вас вольнодумец, либерал для себя и вместе властитель над слабым, строгий судья к ближнему. Скажите, господин фон Альтер, что вам вздумалось, вкусив все наслаждения, испытав губительные следствия распутства, жениться в пятьдесят лет на восемнадцатилетней хорошенькой девочке? Или необходима была жертва к итогу всех тех, которых вы на своем веку соблазнили и обманули? Знайте же, что справедливая судьба, внушив вам истинную страсть к этому милостивому созданию, избрала ее орудием кары за ваши пороки и пресыщение. Пусть так! Но зачем же этой жертвою, этим бичом должна служить непорочная, чистая Китхен? Всё вы виноваты, господин фон Альтер: зачем было вам на ней жениться? С другим мужем она могла бы быть счастлива и остаться чистою; а теперь... Вы, господин фон Альтер, слывете в свете честным человеком: честен ли поступок ваш? Бог вам судья!

В зале все суетились. Музыка играла. Все воображали по крайней мере, что веселятся. Была третья французская кадрили. Николаша и Китхен танцевали вместе. Толпа зрителей разбирала красоту и ловкость приезжих дам; или смеялась над ужимками туземок и над одеждой жен и дочерей офицеров местного гарнизона, старавшихся выказывать себя и свое тряпье, в той мысли, что подражают современной моде. Фон Альтер долго смотрел на танцующие пары, наконец ему надоело, и он, взяв в трактире трубку, отправился курить в сад. Долго ходил он без цели, вслушиваясь в звуки оркестра. Музыка умолкла. Полковник сел на скамью в гуще леса, откуда, никем не замечаемый, мог видеть все происходившее кругом. Он увидел Александра, задумчиво и одиноко бродившего в темной части аллеи; увидел много молодых дам, порхавших мимо и скрывавшихся в темноте. Вдруг он вскакивает с места... Это она! Китхен мелькнула перед его взором. Она беспокойно озиралась кругом, как дикая серна, чующая охотника. Но куда девалась она? Ее не видно. Фон Альтер, обратив все внимание в слух, подкрадывается по тропе в самую гущу леса; сердце его сильно бьется; ему страшно убедиться в том, что душа подозревает. Но во что бы то ни стало он хочет все узнать. Он не видит, куда идет, непрерывно спотыкается, задевает за сучья деревьев. Инстинкт указывает ему дорогу. Вдруг... слышен поцелуй и шепот разговора. Он вслушивается, голос произносит:

— Милый друг!.. Ужасно... целый день быть вместе... и как будто не видеть друг друга... как я люблю тебя!..

Затем еще поцелуй, и опять шепот. Фон Альтер не внимает бо-

лее словам, он приближается как можно тише; дошел... перед ним двое; темнота мешает различать лица, но это женщина и перед ней мужчина; она говорит:

— Помни... я всем жертвую, чтобы тебя прижать к сердцу, тебя поцеловать...

В эту минуту послышался удар и треск сломавшегося чубука. Фон Альтер говорил молодому любовнику:

— Если вы желаете знать, кто вас ударил, милостивый государь, имею честь уведомить, что я полковник такой-то.

Потом, уходя в досаде, он ворчал про себя: «Какая беда! Изломал чубук! С меня сдерут за это рубля три серебром! Впрочем, нужды нет, из обломков сделаю два маленьких дорожных чубука».

Напрасно Николаша уговаривал Китхен войти в залу. Она непременно хотела идти домой. Вся трепеща, она плакала и озиралась кругом, воображая, будто видит кого-то, будто слышит шаги, приближающиеся опять; между тем никого не было. Николаша тщетно представлял ей, что, не возвратись к танцам, она утвердит подозрение мужа, который теперь может только подозревать, не будучи ни в чем уверен. В темноте он не мог различить, кто были любовники. Но госпожа фон Альтер не хотела ничего слушать, перешла речку по набросанным камням, оступилась, замочила ноги и в сильном душевном волнении пришла домой. Николаша, сделав пребольшой крюк по саду, вошел совсем с другой стороны в залу, где начиналась кадрили. Тут, не теряя времени, он подхватил даму и, как будто ни в чем не бывало, уже стоял в кадрили, когда вошел полковник фон

Альтер. Один младший Пустогородов мог заметить, как старый немец, с сильным беспокойством, искал глазами кого-то среди танцевавших и сидевших дам. Осмотрев всех, немец вышел и не возвращался более на бал, но когда мазурка кончилась и стали садиться за ужин, фон Альтер очутился против Николаши.

— Что вашего брата не видно, Николай Петрович? — спросил он.

— Не знаю! Верно ушел к отцу, он не любит балов, не танцует, в карты не играет... не мудрено, что ему скучно, — отвечал Николаша.

Ужинающие спрашивали вина, друг друга потчевали; фон Альтер и Николаша нисколько не отставали от прочих. Начали перебирать красавиц, бывших на бале, оценивать их черты, уборы, стан и движения: кто хвалил одну и смеялся над другой; кто повторял остроумные слова такой-то и рассказывал нелепости, слышанные от другой; смеялись над глупыми выходками, над двусмысленными выражениями; словом, шум за столом был велик. Фон Альтер рассуждал с Николашею о ревности: супруг оправдывал это чувство. Пустогородов доказывал его ничтожность и находил, что умный человек должен быть выше ревности, которая, вкравшись в сердце, унижает его перед самим собою и другими. Соседи двух собеседников вскоре вмешались в разговор, сделавшийся общим.

— Я враг поединков, — говорил полковник, — но всегда оправдаю его, когда он внушен справедливою ревностью: только в таком случае уж должно драться насмерть, чтобы один из соперников не ходил по одной и той же земле с другим.

— А ответственность вы ни во что не ставите? — спросил Николаша.

Что за ответственность! — возразил фон Альтер с жаром. — Когда ревность справедлива, тогда все потеряно... остальным нечего дорожить.

— Нет, я не согласен с вами! — сказал Николаша. — В верности женской я не полагаю еще всего; когда женщины мне изменяли, я им платил тем же: выгода была с моей стороны.

— Вы так судите, потому что еще молоды, не бывали истинно привязаны к женщине; но поживите, иначе заговорите. Я перешел ваши года; спросите, вам скажут, что фон Альтер не терял времени, торопился жить: и точно я был Геркулес; но и я, батюшка, истощился!.. Все мне надоело. Точно так же будет и с вами, если у вас нет сил дожить до моих лет.

— Смотрите, полковник, я могу передать ваши слова Катерине Антоновне... ей не будет приятно, что муж сам сознается в своей старости, — сказал, смеясь, Николаша.

— Не говорите мне о бедной Китхен! Я сделал величайшую глупость, что женился на ней; погубил ее молодость, но не столько виноват я, сколько ее отец. Он требовал этой свадьбы, думая упрочить ею навсегда долголетнюю нашу дружбу. — Тут фон Альтер посмотрел на часы и прибавил: — Однако пора идти домой, завтра мне надо ехать.

— Куда? — спросил Николаша с удивлением, — вы, кажется, располагали пробить здесь несколько времени?

— Я должен ехать в Грузию... вечером получил туда поручение,— отвечал полковник, уходя.

На следующее утро семейство Пустогородовых под председательством Прасковьи Петровны сидело за чайным столом: одно место было пусто; Китхен еще не выходила из своей комнаты: люди говорили, что она почивает.

Доложили о полковнике фон Альтере. Его велено было просить.

— Извините, Прасковья Петровна, что посещаю вас так рано, — сказал полковник, — но я сейчас еду и пришел поблагодарить вас за ласки к моей Китхен. Прошу вас продолжать ваши милости и назидательные наставления.

— Куда же вы отправляетесь?

— С поручением в Грузию, только не в Тифлис; а потому и не беру жены.

— Как это огорчит Катерину Антоновну! Человек, вели доложить ей, что полковник здесь.

Фон Альтер с притворным участием спросил Александра, почему он так рано оставил бал?

— Мне на бале делать нечего, а батюшка был один дома; я с ним провел вечер, — отвечал капитан.

Фон Альтер посмотрел на него недоверчиво.

— Катерина Антоновна не может выйти и просит полковника к себе, — сказал официант.

Китхен сидела на кровати в своем ночном уборе, с глазами,

распухшими от слез и бессонницы; щеки ее рдели; она вся трепетала. Чтобы, однако ж, скрыть сколько возможно свое расстройство, она не приказала поднимать цветных оконных штор. Фон Альтер вошел к ней, как будто ничего не бывало, и сказал:

— Я пришел с тобою проститься, Китхен! Сейчас получил командировку по службе и должен ехать; несколько часов пробуду в Пятигорске, распоряжусь там и оставлю к тебе письмо, в котором обо всем уведомяю; теперь мне некогда. Притом и ты, и я, мы слишком расстроены, чтобы нынче говорить. Прощай.

Китхен, рыдая, встала на цыпочки, обвилась руками кругом шеи полковника и крепко-крепко обнимала его, утирая слезы о грудь мужа. Рыдания, усиливались. Это было сознание вины, голос раскаяния, обет исправления, слезы многозначщие: но можно ли верить слезам виновной жены? Горе тому, кто поверит! Изюм плачущих одна плачет чистосердечно, да и та, когда ресницы высохли, забывает все — и горе и вину свою! Наш стоик поколебался, однако ж, на мгновение; слеза увлажнила его глаза, окруженные морщинками опыта, трудов и времени; он вздохнул и крепко прижал Китхен. Но тут он очнулся: чувства оскорбленного мужа, самолюбие старика опять пробудились, и он, безжалостно и гордо, оторвался от объятий привлекательного, нежного создания. Твердо сказал он роковое «прости» и вышел, оставляя несчастную Китхен почти без чувств от безотчетного страха. Она не постигала слов фон Альтера, не понимала его «прости». Она была не в состоянии рассудить, что человек, когда удаляется от объяснений, ничем не умолим, что нет надежды склонить его к миру.

Фон Альтер возвратился опять к Прасковье Петровне, простился со всеми с истинно немецким хладнокровием и не показав ни малейшего волнения. Строгий наблюдатель, конечно, мог заметить особенную угрюмость во взгляде, когда он в знак прощания жал руку Александра; но и то было мимолетно. Полковник так чистосердечно, казалось, сказал ему:

— Вам, Александр Петрович, желаю счастья, даже такого, какого не могу более желать для себя!

Фон Альтер уехал. Китхен была неутешна; с жаром целовала она руки Прасковьи Петровны; готова была все ей высказать, но говорила только:

— Молю вас! Не покидайте меня!

Старуха ласково журила ее за слезы, хотя сознавалась, что, едва вышедши замуж, нельзя хладнокровно расставаться с мужем, который принужден беспрестанно покидать жену.

— Что ж делать! — повторяла она неутешной Китхен, — Слезами не поможешь, надо быть рассудительнее. Милая Китхен, будь уверена во мне, как в матери!

На следующее утро Китхен все еще плакала и не выходила из своей комнаты. Часов в пять пополудни семейство Пустогородовых село в экипажи и отправилось обратно в Пятигорск. Дорогою тревожные чувства волновали Китхен. «Застану ли *его* там?» — думала она. Бедняжка желала и боялась увидеть своего супруга. Что-то ей напишет он? Горестные предчувствия подавляли душу.

Наконец они в Пятигорске. Как несносно медленно бежали

для Китхен присталые лошади! Вот уже поднимаются на гору, где находилась квартира Прасковьи Петровны. Приехали. На дворе было темно. Госпожа фон Альтер выскакивает из кареты; перебегает улицу; слуга встречает ее на крыльце.

— Полковник здесь?— спрашивает она.

— Никак нет-с! Сегодня в обед изволил выехать.

— Ничего мне не приказал сказать?

— Оставил письмо; оно лежит в вашей комнате. Китхен побежала туда, схватила письмо, кричит:

— Подайте свеч!

Но к чему разоблачать порывы сердечной бури? Пусть несчастная супруга у себя наедине предается всей полноте своих ощущений. Эти минуты целомудренны в высшей степени, святы. Их не должно оскорблять длинным, прозаическим описанием.

Пустогородовы, приехав домой, нашли почту, которая в их отсутствие была получена. Одни читали письма, другие газеты. Николаша отправился тотчас к своим приятелям игрокам: там только и слышны были пересуды насчет полковника фон Альтера, который по приезде с Кислых¹⁶³ провел целые сутки в неистовом распутстве.

На другой день был праздник. Прасковья Петровна собралась поутру к обедне, но до отъезда приказала позвать к себе Александра и отдала ему разные бумаги, касавшиеся до его наследства и полученные с последней почтой. Она уехала. Он заперся в ее кабинете и стал рассматривать наедине все, что получил он от матери.

Вскоре в соседней комнате послышались женские шаги, ры-

163 Кисловодск в разговоре часто называется: *Кислые*.



дания, слезы, и наконец голос Китхен, приказывавший попросить Николая Петровича в гостиную с прибавлением, что ей очень нужно с ним видаться. Затем послышалась походка Николашина, и вскоре раздался его голос.

— Здравствуй, милая Китхен! Все еще плачешь! Это глупо!

— Мой муж меня покинул,— отвечала, рыдая, Китхен. — Вот беда какая!.. В добрый час!.. Пиши ему со мною, я также еду в Грузию на днях.

— Не езди, ради бога, не езди! Я знаю, что тебя туда влечет; хочешь стреляться с моим мужем, отомстить ему за удар...

— Какой вздор! Зачем мне с ним стреляться? Никто кроме тебя не видел этого, а ты не станешь разглашать; фон Альтер еще менее: это значило бы сознаться в том, что он рогоносец; ты не знаешь, как мужа, особливо старики, боятся этого.

— Николаша, прочти его письмо.

— Зачем стану я читать бредни ревнивца! Право, не любопытно!

— Ну, так мне подай совет!.. Помоги!

— Чем помочь? Что могу я?

— О, безжалостный! Жестокий! погубил меня, а теперь отвергает! — Китхен рыдала еще более.

— Я погубил тебя? — Николаша захохотал. — Бедняжка! Я погубил ее, насильно принудил, не правда ли?

Китхен ринулась на пол и, сквозь рыдания, с отчаянием вопияла:

— Спаси меня, Николаша, на коленях молю, спаси меня! Николаша смеялся.

— Ты играешь трагедию, Китхен! — сказал он. — Недостает только крови, сейчас принесу тебе свой кинжал.

Александр, думая сначала, что у них любовное свидание, и не желая мешать брату и не смущать его любезной, притаился в кабинете матери, но тут он не выдержал и вышел к ним.

Николаша, театрално став перед дверью кабинета, воскликнул с насмешкой:

— Брат! Спаситель мой! Завещаю тебе несчастную, неутешную Миньону!

С этими словами он вышел.

— Александр Петрович! — сказала Китхен, — само провидение послало вас сюда... я поручаю себя вам, умоливайте своего брата.

— Садитесь прежде всего, да успокойтесь и расскажите, в чем дело. Но предупреждаю вас, если вы не будете со мною откровенны, это меня оскорбит.

Нечего было делать. Погибшей Китхен мелькнул луч надежды. Она высказала всю правду Александру и подала ему письмо фон Альтера.

Полковник нисколько не обвинял и не оскорблял жены; но просто объявлял ей, что более с нею никогда не встретится и что хочет предаться на некоторое время самому сильному разврату, чтобы свет не мог обвинить ее, а всю вину сложил бы на самого его. Он со-

ветовал жене, как лютеранке, искать разводной, на которую с своей стороны соглашается, утешая себя мыслью, что по крайней мере она напала не на развратника, а на человека истинно к ней привязанного. «Это видно, — писал он, — из всего поведения капитана Пустогородова, известного честностью правил, храбростью и украшенного ранами. Притом он решился лучше перенести кровавую обиду, чем” публично мстью обесславить предмет любви своей».

— Так он принял меня за брата? — спросил Александр, призадумавшись.

— Видно так.

— Благодарен полковнику за его лестное мнение обо мне, но должен сознаться, что в этом случае он ошибается; ни за какую женщину не спустил бы я ему такого поступка.

Полковник оканчивал письмо уведомлением, что он обо всем написал к своему тестю: «Не для того, чтобы обвинить дочь перед отцом, но чтобы оправдать самого себя».

— У меня нет более отца! — сказала Китхен, сильно тронутая последними строками. — Когда я шла замуж не по собственному убеждению, но в угоду родителю, он объявил мне, что я имею место в его сердце, входя в его дом, не иначе как супруга фон Альтера. Без этого звания он мне не отец.

— Это, быть может, только одни слова; на деле он себя покажет иначе.

— Нет, Александр Петрович! Его самолюбие будет слишком оскорблено мыслью, что он не сумел выбрать мужа для дочери, он

будет опасаться всеобщего обвинения и вся желчь его падет на меня одну.

— Я пойду, Катерина Антоновна, переговорю с братом; будьте уверены, из признания к вашему доверию я сделаю все в вашу пользу, что только от меня зависит.

Мы уже видели, что госпожа фон Альтер нравилась Александру. Теперь он чувствовал, что сделался необходим для нее, и решился успокоить ее.

— Ну, как ты, брат, отделался от этой неотвязчивой? — спросил Николаша, когда Александр вошел к нему.

— Не шути ею, Николаша. Бедная Китхен в затруднительном положении; оставленная мужем, она не надеется и на своего отца.

— В самом деле? — сказал Николаша, задумавшись; потом прибавил: — Что же делать!

— Помочь ей.

— Чем же?

Братья думали, толковали. Наконец, после долгих прений, — причем Николаша передал брату слышанное о распутстве фон Альтера в проезд его через Пятигорск, — решили, что сам он должен рассказать об этом матери и открыть причину внезапного отъезда фон Альтера и намерение его никогда не возвращаться к жене. Решено и сделано.

Разумеется, Прасковья Петровна пожурила Николашу, прочла ему длинную проповедь о нравственности, об осторожности, с которою молодые жены должны вести себя, и кончила тем, что просит совета своего мужа — принять ли ей Китхен к себе.

Петр Петрович ежедневно поправлялся; он был весел и в хорошем расположении духа; все были уверены, что он с радостью примет предложение жены. Вышло, однако ж, не совсем так. Старик, хоть и не препятствовал, однако очень сухо и как будто поневоле дал на это свое согласие. Это удивило Прасковью Петровну. Петр Петрович не любил Китхен за явное предпочтение, которое она оказывала его младшему сыну, тем более, что старик никогда не жаловал Николаши, а с той поры, как имел под глазами обоих братьев, младший казался ему глупым и скучным, несносным по баловству и самоволию. Прасковья Петровна спрашивала у мужа, отчего ему как будто не хочется впустить Китхен в свой дом (супружеский этикет требует, чтобы жена говорила мужу; *твой дом*). Петр Петрович отвечал:

— И тут вижу я пристрастие твое к Николаше. Эта молодая бабенка занялась твоим любимцем, самым пустым малым, потому и ты уж не знаешь цены ей. О, я имею также любимца! Александра! Следственно зол на нее, что она смеет не обращать на него внимания.

— Так ты не хочешь, чтобы она была у нас в доме?

— Мне все равно! — отвечал старик.

Прасковья Петровна пришла в свою комнату и послала за Александром. После разных предварений она объявила свое горе: что Китхен находится в весьма неприятном положении и отец его нехотя соглашается принять ее к себе.

— Но упросите батюшку, — сказал с жаром Александр.

— Это твое дело. — И Прасковья Петровна рассказала сыну

весь разговор с мужем. Нетрудно было Александру выпросить у отца, чего ему желалось. В тот же вечер госпоже фон Альтер был предложен радушный приют в семействе Пустогородовых, который она с благодарностью приняла.

Спустя несколько дней Николаша отправился в Тифлис, чтобы оттуда пуститься в Персию. Александр получил приказание прибыть в тот же город. Виною этого была его матушка, которая все еще не желала его отставки и надеялась, что веселая, как уверяли, тифлисская жизнь придаст ему охоту остаться там на службе. Наконец в половине августа старики отправили Александра в Закавказье, а сами поехали с Китхен обратно в Москву.

Госпожа фон Альтер, прощаясь с Александром, благодарила его с глубоким достоинством за все, что он для нее сделал, и за великодушие, с каким даже не хотел разуверить ее мужа в его ошибке. Александр доказывал, что это вовсе не есть великодушие, но от презрения к людскому мнению и клевете, на которые опыт научил его не обращать внимания. Петр Петрович чистосердечно плакал, прощаясь с сыном. Прасковья Петровна тоже. Отъезжающие пожелали друг другу благополучного пути и расстались.

IV

Змиевская станция

*Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.*

Глинка

Здоровье Петра Петровича шло как нельзя лучше. Это весьма понятно: он должен был поневоле соблюдать диету. Если желаете знать, почему поневоле, стоит вам выехать из Пятигорска в то время, когда курс лечения кончился и все посетители разъезжаются; тогда испытаете не только невольную диету, но и самый голод, потому что вы должны проскакать огромное пространство, где нет ничего, кроме грубых и пьяных станционных смотрителей, наводящих тошноту на тощий желудок. Вместо приветствия, не давая времени вылезть из экипажа, они встречают вас словами: «Лошадей нет, все в разъезде». Если же станция не в степи, а в деревне, так прибавляют: «Извольте ехать на квартиру, лошади еще не скоро будут». Горе вам, когда вздумаете отвечать на это хоть одно слово! Наберетесь такой брани, какой, быть может, во всю жизнь не слышали. Любопытно за-

глянуть в жалобную книгу по этому тракту. Тут найдете совершенно новую, неподражаемую литературу. Наконец, продержав вас целые сутки на станции, запрягут лошадей, которые так называются только у них, а в словарях известны более под названием кляч. Медленно отправляетесь вы на них по грязной и топкой дороге и едете верст двадцать пять целых шесть часов, не встретя ни одного жилья.

Впрочем, Петр Петрович довольно скоро проехал расстояние с небольшим в пятьсот верст. На двенадцатый день, утром, он закупил в Аксае стерлядей и чего мог найти и в час пополудни восседал за обедом на Змиевской станции. Вопреки увещаниям жены, он обедался прежирным обедом до третьего часа; потом кушал кофе на крыльце станционного дома; потом с удовольствием пресыщения поглаживал рукою по брюшку и весело глядел на божий мир.

Послышался колокольчик. Вмиг, тройка влетела во двор: коренная, коротко запряженная, пристяжные в польских шлейках вместо хомутов выходили вполтела вперед коренной. Два колокольчика на пестрой дуге, лошади все в мыле, новая крепкая телега все показывало, какого рода был проезжий. Лихой ямщик, в краоной рубахе, с фуражкой, обращенною козырьком к затылку, подтвердил эти догадки, когда закричал, останавливая тройку:

— Курьерских!

Магическое слово на станциях! Не успел проезжий, сбросив шинель, с видом сильной усталости вылезть из повозки, а ямщик поехать на рысях проваживать тройку, как на почтовом дворе все закипело. Из избы высыпал целый рой ямщиков, кто с мазальни-

цею, кто с хомутом на плече. Пока мазали повозку и надевали хомуты на лошадей, проезжий потянулся, зевнул и пошел на крыльцо станционного дома. Трудно было разобрать черты его лица, покрытые густым слоем пыли; сюртук был на нем адъютантский; на груди висела сумка. Он вежливо поклонился Петру Петровичу. Смотритель, достегивая сюртук, встретил его на крыльце и, покинув свой грубый вид, сказал:

— Позвольте вашу подорожную?

Адъютант расстегнул сумку, вынул подорожную и, отдавая смотрителю, спросил:

— Нет ли здесь квасу? Вели мне подать напиток.

— Извините-с, кроме воды ничего нет! — отвечал смотритель, развертывая подорожную. Прочитав ее, он закричал: — Живо курьерских запрягать! — и вышел записать проезжающего.

— Не угодно ли вам вина? — спросил Петр Петрович.

— Покорнейше благодарю. Натощак голова разболится.

— Так милости просим покушать; мы только что из-за стола: славный обед удался!

— Много вам обязан; но, во-первых, это задержит меня, во-вторых, будет клонить ко сну: а этого-то ямщикам и нужно!

— По крайней мере выкушайте кофе?

— Это с благодарностью приму.

Петр Петрович приказал подать кофе; между тем он уговаривал офицера отобедать..

— Право, не могу! — отвечал адъютант, — я уже и так потерял

много времени на Военно-Грузинской дороге, по милости завала.

— Как, завал? — спросил Петр Петрович.

— Да, на днях снег обрушился с вершины Казбека и завалил Дарьяльское ущелье, по которому лежит дорога.

— И много навалило снегу?

— Не один снег: тут и лед и камни, целые скалы сорвало, все смешалось вместе и завалило ущелье версты на четыре; вышиною сажень на восемь или на десять. Завал остановил на несколько часов течение Терека.

— А случались ли по дороге проезжие?

— Были, и погибали.

— Их, вероятно, вырывают здесь, как в Швейцарии? — Нет, этого невозможно, потому что завал слишком глубок. Притом же, кто может знать, на каком именно месте погибли они. Когда, года через два, завал довольно стает и его расчистят, тогда найдут остатки смолотых экипажей, людей и лошадей.

— Вы не встречали в Тифлисе Пустогородова?

— Которого? Я видел там двух, одного военного, другого путешественника.

— Военного.

— Александр Петрович по приезде в Тифлис подал немедленно в отпуск и в отставку, вслед за тем он не устоял против тамошнего климата и занемог желчною горячкою. Когда я выехал, он еще был опасен.

— Прасковья Петровна! Поди сюда! — закричал старик в

сильном волнении. На крыльцо вышла пожилая женщина, он сказал ей встревоженным голосом: — Александр ведь болен горячкою!.. Вот господин офицер знает его.

Адъютант поклонился Прасковье Петровне и, на ее вопрос, повторил сказанное.

— А не видали ли вы другого Пустогородова, — спросила она, — что он делает?

— Как же! Я с ним познакомился, он уехал в Персию.

— Покинул больного брата?

— Он выехал, когда еще не приезжал Александр Петрович. Полковник фон Альтер, который ненавидит капитана Пустогородова и большой приятель с Николаем Петровичем, ускорил свой отъезд в Персию; будучи снабжен всем нужным для путешествия по той стране, он уехал вместе с меньшим братом, чтобы избежать встречи со старшим.

— Надолго ли поехал полковник фон Альтер в Персию? — спросила Китхен, стоявшая у дверей.

— Не могу вам определительно сказать; но думаю, что он не возвратится. Я слышал от Николая Петровича, что он намерен вступить в персидскую артиллерию, куда охотно принимаются иностранцы для обучения туземцев; а как он прусский подданный, то ему будет это легко. Говорят, полковник фон Альтер огорчен какими-то семейными обстоятельствами.

Вышедший на крыльцо станционный смотритель с подорожною прервал разговор.

— Староста, бери прогоны! — закричал адъютант.

— Я их получаю-с, — сказал смотритель.

— Знать не хочу: по правилам почтовой езды старосте отдаются прогоны.

— Все равно-с, как вам угодно. Ямщик без шапки подошел к адъютанту.

— Сколько следует прогонных денег?

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал ямщик, почесывая голову; потом, поклонясь, сказал: — Поберегите, ваше сиятельство, лошадок.

— Вот я сейчас поберегу тебе бороду! — гневно возразил адъютант. — Сколько следует на тройку прогонов? Говори!

Мужик наконец вымолвил. Адъютант вынул кошелек и отсчитывал деньги. Между тем смотритель, кашлянув раза два, сказал запинаясь:

— Смею доложить-с, староста не виноват; они напуганы-с: на днях проехал фельдъегерь, они, дураки-с, взяли с него прогоны: тройка вся легла-с, а ямщик еще не отдохнет-с от побоев.

— Всякий делает как знает; кто в деле, тот и в ответе! — отвечал адъютант, отдавая прогоны.

— Пословица говорит-с: отвага кандалы трет, отвага мед пьет-с,— заметил смотритель.

— Ваше сиятельство! Поклажи было в повозке — чемодан, сабля, ковер, шинель, всего пять штук? — доложил староста.

— Так! — отвечал адъютант. — Переплет-то хорош ли? Чоки подвязаны ли?

- Все исправно, ваше превосходительство!
- Подай огня закурить трубку.
- Позвольте у вас спросить, — сказал смотритель адъютанту, — все ли в Грузии благополучно?
- В каком отношении?
- То есть, в рассуждении заразы-с, чумы-с, как мы попросту ее называем-с.
- Нравственная чума все сильна; но болезней нет.
- А мы слышали-с, половину народу вымерло-с. Ну, а на линии благополучно-с?
- Опять в каком отношении?
- Насчет черкесов-с? Слухи носились, будто Ставрополь взят-с.
- По крайней мере, я там менял лошадей не у черкеса, а у чистого русского.
- Стало быть-с, все вздор! Смее спросить, скоро ли фельдъегерь проедет-с?
- Этого я не знаю! Мне до них дела нет!
- Адъютант закурил трубку об уголек, поблагодарил Петра Петровича, влез в повозку и, медленно натягивая на плечи шинель, сказал:
- Пошел!
- Коренная взвилась на дыбы, пристяжные кинулись вперед, и тройка дружно подхватила; густое облако пыли закрубилось вслед за нею и скрыло курьера из виду: только колокольчик слышался все слабее и слабее, наконец совсем замолк.

Что же случилось со всеми действующими лицами, с которыми мы познакомились? — спросите вы.

Не знаю! Никого нет более на Кавказе, а Хромой бес¹⁶⁴ мой отказывается подсматривать в других странах. Можно было бы удовлетворить ваше любопытство еще какой-нибудь выдумкой, но я ненавижу ложь и вымышлять больше не намерен. Довольно того, что в моем романе все лица небывалые и никогда не существовавшие. Поэтому и кончу эпиграфом, которым начал свою повесть:

Не любо — не слушай, А лгать не мешай!

164 *Хромой бес* — персонаж одноименного романа французского писателя А. Лесажа (название и композиция которого были заимствованы им у испанского писателя Л. Белеса де Гевары). Хромой бес в романе Лесажа, неся своего героя по воздуху, показывал ему внизу, на земле, все людские пороки и тайны.

Заведующая редакцией *Л. И. Хохлова*
Редакторы *В. С. Колесников, Е. В. Панаско.*
Художественный редактор *В. А. Каретко.*
Технический редактор *А. С. Бернارد.*
Корректор *В. М. Воронкина*

ИБ № 1696

Сдано в набор 25.11.85. Подписано в печать 07.03.86. ВГ79588.
Формат 84X108 1/33 Бумага тип. №3. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,6. Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 50000 экз. Заказ № 3278. Изд. № 265. Цена 1 р. 30 к. Ставропольское укрупненное книжное издательство, 355105, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3. Краевая укрупненная типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ставропольского крайисполкома, 355106, г. Ставрополь, ул. Артема, 18.